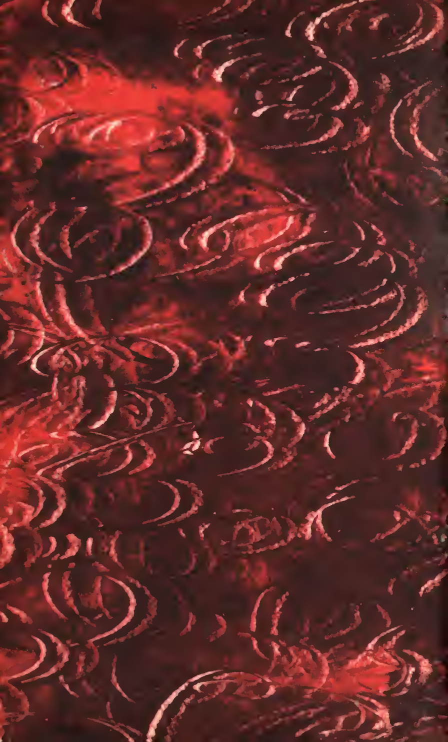
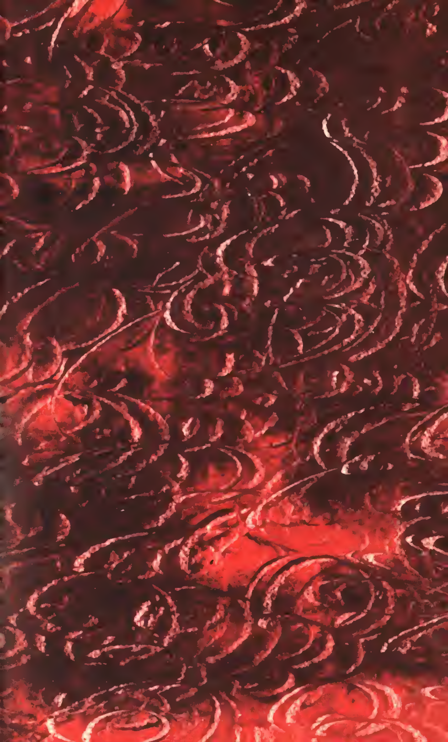
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ





ИХЛ

Издательство
«Художественная
литература»
Москва 1969

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

трилогия

в двух
томах

Издательство «Художественная литература»

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

том второй

книга
третья

Хмурое
утро



москва 1969

Р 1
Т 52

Текст печатается по изданию:
Алексей Толстой, Собрание сочинений
в десяти томах, т. 6,
ГИХЛ, М. 1959.

Художник
Р. АЛЕЕВ

7—3—1
19—69

книга третья

Хмурое утро



Жить победителями или умереть со славой...
(Святослав)

1

У костра сидели двое — мужчина и женщина. В спину им дул из степной балки холодный ветер, посвистывая в давно осыпавшихся стеблях пшеницы. Женщина подобрала ноги под юбку, засунула кисти рук в рукава драпового пальто. Из-под вязаного платка, опущенного на глаза ее, только был виден пряменький нос и упрямо сложенные губы.

Огонь костра был не велик, горели сухие лепешки навоза, которые мужчина давеча подобрал — несколько охапок — в балке у водопоя. Было нехорошо, что усиливался ветер.

— Красоты природы, конечно, много приятнее воспринимать под трещание камина, грустя у окошечка... Ах, боже мой, тоска, тоска степная...

Мужчина проговорил это не громко, ехидно, с удовольствием. Женщина повернула к нему подбородок, но не разжала губ, не ответила. Она устала от долгого пути, от голода и оттого, что этот человек очень много говорил и с каким-то самодовольством угадывал ее самые сокровенные мысли. Слегка закинув голову, она глядела из-под опущенного платка на тусклый, за едва различимыми холмами, осенний закат, — он протянулся узкой щелью и уже не озарял пустынной и бездомной степи.

— Будем сейчас печь картошечку, Дарья Дмитриевна, для веселия души и тела... Боже мой, что бы вы без меня делали?

Он нагнулся и стал выбирать коровьи лепешки поплотнее, — вертел их и так и сяк, осторожно клал на угли. Часть углей отгреб и под них стал закапывать несколько картофелин, доставая их из глубоких карманов бекеши. У него было красноватое, невероятно хитрое — скорее даже лукавое — лицо, с мясистым, на конце приплюснутым носом, скудно растущая бородка, растрепанные усы, причмокивающие губы.

— Думаю я о вас, Дарья Дмитриевна, дикости в вас мало, цепкости мало, а цивилизация-то поверхностная, душенька... Яблочко вы румяное, сладкое, но недозрелое...

Он говорил это, возясь с картошками, — давеча, когда проходили мимо степного хутора, он украл их на огороде. Мясистый нос его, залоснившийся от жара костра, мудро́ и хитро́ подергивал ноздрей. Человека звали Кузьма Кузьмич Нефедов. Он мучительно надоедал Даше разглагольствованиями и угадыванием мыслей.

Знакомство их произошло несколько дней назад, в поезде, тащившемся по фантастическому расписанию и маршруту и спущенном белыми казаками под откос.

Задний вагон, в котором ехала Даша, остался на рельсах, но по нему резанули из пулемета, и все, кто там находился, кинулись в степь, так как, по обычаю того времени, надо было ожидать ограбления и расправы с пассажирами.

Этот Кузьма Кузьмич еще в вагоне присматривался к Даше, — чем-то она ему пришлась по вкусу, хотя никак не склонялась на откровенные беседы. Теперь, на рассвете, в пустынной степи, Даша сама схватилась за него. Положение было отчаянное: там, где под откосом лежали вагоны, была слышна стрельба и крики, потом разгорелось пламя, погнав угрюмые тени от старых репейников и высохших кустиков полыни, подернутых инеем. Куда было идти в тысячеверстную даль?

Кузьма Кузьмич так примерно рассуждал, шагая рядом с Дашей в сторону, откуда из зеленеющего рассвета тянуло запахом печного дыма. «Вы мало того, что испуганы, вы, красавица, несчастны, как мне сдается. Я же, несмотря на многочисленные превратности, никогда не знал ни несчастья, ни — паче того — скуки... Был попом, за вольнодумство расстрижен и заточен в монастырь. И вот брожу «меж двор», как в старину

говорили. Если человеку для счастья нужна непременно теплая постелька, да тихая лампа, да за спиной еще полка с книгами, — такой не узнает счастья... Для такого оно всегда — завтра, а в один злосчастный день нет ни завтра, ни постельки. Для такого — вечное увы... Вот я иду по степи, ноздри мои слышат запах печеного хлеба, — значит, в той стороне хутор, услышим скоро, как забрешут собаки. Боже мой! Видишь, как занимается рассвет! Рядом — спутник в ангельском виде, стонущий, вызывающий меня на милосердие, на желание топотать копытами. Кто же я? — счастливейший человек. Мешочек с солью всегда у меня в кармане. Картошку всегда стяну с огорода. Что дальше? — пестрый мир, где столкновение страстей... Много, много я, Дарья Дмитриевна, рассуждал над судьбами нашей интеллигенции. Не русское это все, должен вам сказать... Вот и сдунуло ее ветром, вот и — увы! — пустое место... А я, расстрига, иду играючись и долго еще намерен озорничать...»

Без него бы Даша пропала. Он же не терялся ни в каких случаях. Когда на восходе солнца они добрели до хутора, стоящего в голой степи, без единого деревца, с опустевшим конским загоном, с обгоревшей крышей глинобитного двора, — их встретил у колодца седой злой казак с берданкой. Сверкая из-под надвинутых бровей бешено светлыми глазами, закричал: «Уходите!» Кузьма Кузьмич живо оплел этого старика: «Нашел поживу, дедушка, ах, ах, земля родная!.. Бежим день и ночь от революции, ноги прибили, язык от жажды треснул, сделай милость — застрели, все равно идти некуда». Старик оказался не страшен и даже слезлив. Сыновья его были мобилизованы в корпус Мамонтова, две снохи ушли с хутора в станицу. Земли он нынче не пахал. Проходили красные — мобилизовали коня. Проходили белые — мобилизовали домашнюю птицу. Вот он и сидит один на хуторе, с краюшкой прозеленевшего хлеба, да трет прошлогодний табак...

Здесь отдохнули и в ночь пошли дальше, держа направление на Царицын, откуда легче всего было пробраться к югу. Шли ночью, днем спали, — чаще всего в прошлогодних ометах. Населенных мест Кузьма Кузьмич избегал. Глядя однажды с мелового холма на станицу, раскинувшую привольно белые хаты по сторонам длинного пруда, он говорил:

— В массе человек в иаше время может быть опасен, особенно для тех, кто сам не знает, чего хочет. Непонятно это и подозрительно: не знать, чего хотеть. Русский человек горяч, Дарья Дмитриевна, самонадеян и сил своих не рассчитывает. Задайте ему задачу, — кажется, сверх сил, но богатую задачу, — за это в ноги поклонится... А вы спуститесь в станицу, с вами заговорят пытливо. Что вы ответите? — интеллигентка! Что у вас ничего не решено, так-таки ничего, ни по одному параграфу...

— Слушайте, отстаньте от меня, — тихо сказала Даша.

Сколько она ни крепилась, — от самолюбия и иеохоты, — все же Кузьма Кузьмич повыспросил у нее почти все: об отце, докторе Булавине, о муже, красном командире Иване Ильиче Телегине, о сестре Кате, «прелестной, кроткой, благородиой». Однажды, иа склоне ясного дня, Даша, хорошо выспавшись в соломе, пошла к речке, помылась, причесала волосы, свалявшиеся под вязаным платком, потом поела, повеселела и неожиданно сама, без расспросов рассказала:

— ...Видите, как все это вышло... У отца в Самаре я больше жить не могла... Вы меня считаете паразиткой. Но — видите ли — о самой себе я гораздо худшего мнения, — чем вы... Но я не могу чувствовать себя приниженной, последней из всех...

— Понятно, — причмокнув, ответил Кузьма Кузьмич.

— Ничего вам не понятно... — Даша прищурилась на огонь. — Мой муж рисковал жизнью, чтобы только на минутку увидеть меня. Он сильный, мужественный, человек окончательных решений... Ну, а я? Стоит из-за такой цацы рисковать жизнью? Вот после этого свиданья я и билась головой о подоконник. Я возненавидела отца... Потому что он во всем виноват... Что за смешной и ничтожный человек! Я решила уехать в Екатеринослав, разыскать сестру, Катю, — она бы поняла, она бы мне помогла: умная, чуткая, как струнка, моя Катя. Не усмехайтесь, пожалуйста, — я должна делать обыкновенное, благородное и нужное, вот чего я хочу... Но я же не знаю, с чего начать? Только вы мне сейчас не разглагольствуйте про революцию...

— А я, душенька, и не собираюсь разглагольствовать, слушаю внимательно и сердечно сочувствую.

— Ну, сердечно, — это вы оставьте... В это время Красная Армия подошла к Самаре... Правительство бежало, — очень было гнусно... Отец потребовал, чтобы я ехала с ним. Был у нас тогда разговор, — проявили себя во всей красе — он и я... Отец послал за стражниками: «Будешь, милая моя, повешена!» Конечно, никто не явился, все уже бежало... Отец с одним портфелем выскочил на улицу, а я в окошко докрикивала ему последние слова... Ни одного человека нельзя так ненавидеть, как отца! Ну, а потом — с головой в платок, — на диван и реветь! И на этом отрезана вся моя прошлая жизнь...

Так они шли по степи, мимо возбужденных гражданской войной сел и станиц, почти не встречаясь с людьми и не зная, что в этих местах разворачивались кровопролитные события: семидесятипятитысячная армия Всевеликого Войска Донского, после августовских неудач, во второй раз шла на окружение Царицына.

Ковыряя в золе картошку, Кузьма Кузьмич говорил:

— Если вы очень утомлены, Дарья Дмитриевна, можно эту ночь передохнуть, над нами не каплет. Только стойбище выбрали неудачное. Ветерок из оврага нам спать не даст. Лучше поплетемтесь-ка потихоньку под звездами. До чего хорош мир! — Он поднял хитрое красное лицо, будто проверяя: все ли в порядке в небесном хозяйстве? — Разве это не чудо из чудес, душенька: вот ползут две букашки по вселенной, пытливым умом наблюдая смену явлений, одно удивительнее другого, делая выводы, ни к чему нас не обязывающие, утоляя голод и жажду, не насилуя своей совести... Нет, не торопитесь поскорее окончить путешествие.

Он достал из кармана мешочек с солью, побросал на ладони картошку, дуя на пальцы, разломил ее и подал Даше.

— Я прочел огромную массу книг, и этот груз лежал во мне безо всякой системы. Революция освободила меня из монастырской тюрьмы и не слишком ласково швырнула в жизнь. В удостоверении личности, выданном мне одним умнейшим человеком — саратовским начальником районной милиции, у которого я просидел недельки две под арестом, — проставлено им собственноручно: профессия — паразит, образование — лженаучное, убеждения — беспринципный. И вот, Дарья Дмитриевна, когда я очутился с одним мешочком соли в кармане,

абсолютно свободный, я понял, что такое чудо жизни. Бесполезные знания, загромождавшие мою память, начали отсеиваться, и многие оказались полезными даже в смысле меновой стоимости... Например — изучение человеческой ладони, или хиромантия, — этой науке, исключительно, я обязан постоянным пополнением моего солевого запаса.

Даша не слушала его. Оттого ли, что ветер бездомной тоской тоненько посвистывал в стеблях пшеницы, — ей очень хотелось плакать, и она все отворачивалась, глядя на тусклый закат. Безнадежность охватывала ее от того бесконечного пространства, по которому предстояло пройти в поисках Ивана Ильича, в поисках Кати, в поисках самой себя. Наверно, в прежнее время Даша нашла бы даже усладу, пронзительно жалея себя, такую беспомощную, маленькую, заброшенную в холодной степи... Нет, нет!.. Взяв у Кузьмы Кузьмича картошку, она жевала ее, глотая вместе со слезами... Вспоминала слова из Катиного письма, полученного еще тогда, в Петрограде: «Прошлое погибло, погибло навсегда, Даша».

— Помимо полнейшей оторванности от жизни, — бесцельная торопливость, ерничество — один из пороков нашей интеллигенции, Дарья Дмитриевна... Вы когда-нибудь наблюдали, как ходят люди свободной профессии, — какой-нибудь либерал топочет козьими ножками в нетерпении, точно его жжет... Куда, зачем?..

Этот несносный человек все говорил, говорил, бахвалился.

— Нет, надо идти, конечно, пойдемте, — сказала Даша, изо всей силы затягивая вязаный платок на шее. Кузьма Кузьмич пытливо взглянул на нее. В это время в непроглядной тени оврага блеснуло несколько вспышек и раскатились выстрелы...

Едва только раздались первые выстрелы, — ожила безлюдная степь, над которой уже смыкалась в далеких тучах щель заката. Даша, держась за концы платка, даже не успела вскочить. Кузьма Кузьмич с торопливостью начал затаптывать костер, но ветер сильнее подхватил и погнал искры. Они озарили мчавшихся всадников. Нагибаясь к гривам, они хлестали коней, уходя от выстрелов из оврага.

Все пронеслось, и все стихло. Только отчаянно билось Дашино сердце. Из оврага что-то начали кричать — и тотчас повалили оттуда вооруженные люди. Они двигались настороженно, растянувшись по степи. Ближайший свернул к костру, крикнул ломающимся молодым голосом: «Эй, кто такие?» Кузьма Кузьмич поднял руки над головой, с готовностью растопырив пальцы. Подошел юноша в солдатской шинели. «Вы что тут делаете?» Темнобровое лицо его, готовое на любое мгновенное решение, поворачивалось к этим людям у костра. «Разведчики? Белые?» И, не дожидаясь, он ткнул Кузьму Кузьмича прикладом: «Давай, давай, расскажешь по дороге...»

— Да мы, собственно...

— Что, собственно! Не видишь, что мы в бою!..

Кузьма Кузьмич, не протестуя далее, зашагал вместе с Дашей под конвоем. Пришлось почти бежать, так быстро двигался отряд. Совсем уже в темноте подошли к соломенным крышам, где у прудочка фыркали кони среди распряженных телег. Какой-то человек остановил отряд окриком. Бойцы окружили его, заговорили:

— Отступили. Невозможно ничего сделать. Жмут, гады, с флангов... Вот тут совсем неподалеку в балочке — напоролись на разъезд.

— Драпнули, хороши, — насмешливо сказал тот, кого окружили бойцы. — Где ваш командир?

— Где командир? Эй, командир, Иван!.. Иди скорей, командующий полком зовет, — раздались голоса.

Из темноты появился высокий сутуловатый человек:

— Все в порядке, товарищ командир полка, потерь нет.

— Размести посты, выставь охранение, бойцов накормить, огня не зажигать, после придешь в хату.

Люди разошлись. Хутор как будто опустел, только слышалась негромкая команда и окрики часовых в темноте. Потом и эти голоса затихли. Ветер шелестел соломой на крыше, подвывал в голых ветвях ивы на берегу прудка. К Даше и Кузьме Кузьмичу подошел тот же молодой красноармеец. При свете звезд, разгоревшихся над хутором, его лицо было худощавое, бледное, с темными бровями. Вглядываясь, Даша подумала, что это — девушка... «Идите за мной, — сурово сказал он и

повел их в хату. — Обождите в сенях, сядьте тут на что-нибудь».

Он отворил и затворил за собой дверь. За ней слышался грубовато-низкий бубнящий голос командира отряда. Это длилось так долго и однообразно, что Даша привалилась головой к плечу Кузьмы Кузьмича. «Ничего, выпутаемся», — шепнул он. Дверь опять отворилась, и красноармеец, нащупав рукою обоих сидящих, повторил: «Идите за мной». Он вывел их на двор и, оглядываясь, куда бы запереть пленников, указал на низенький амбарчик, придавленный соломенной крышей. На нем была сорвана дверь. Даша и Кузьма Кузьмич зашли внутрь, красноармеец уселся на высоком пороге, не выпуская винтовки. В амбарчике пахло мукой и мышами. Даша сказала с тихим отчаянием:

— Можно сесть рядом с вами, я боюсь мышей.

Он неохотно подвинулся, и она села рядом на пороге. Красноармеец вдруг зевнул сладко, по-ребячьи, покосился на Дашу:

— Значит — разведчики?

— Слушайте, товарищ, — Кузьма Кузьмич из темноты придвинулся к нему, — позвольте вам объяснить...

— После расскажешь.

— Мы же мирные обыватели, бежавшие...

— Эге, мирные... Это как же так — мирные? Где это вы мир нашли?

Даша, прислонившись затылком к дверной обочине, глядя на темнобровое, красивое лицо этого человека, с тонким очертанием приподнятого носа, маленького припухлого рта, нежного подбородка, — неожиданно спросила:

— Как вас зовут?

— Это к делу не относится.

— Вы — женщина?

— Вам от этого легче не станет.

На том разговор бы и кончился, но Даша не могла оторвать глаз от этого чудного лица.

— Почему вы разговариваете со мной, как с врагом? — тихо спросила она. — Вы же меня не знаете. Зачем заранее предполагать, что я — враг? Я такая же русская женщина, как и вы... Наверно, только больше вашего страдала...

— Как это — русская?.. Откуда это — русское?..

Буржуи, — с запинкой и от этого нахмурясь, проговорил красноармеец.

У Даши раздвинулись губы. Порывисто, как все было в ней, она придвинулась и поцеловала его в шершаво-горячую щеку. Этого красноармеец не ждал и заморгал ресницами на Дашу... Поднялся, подхватил винтовку, отошел, перекинул ружейный ремень через плечо.

— Это вы оставьте, — сказал угрожающе. — Это вам, гражданка, не поможет...

— Что, что мне поможет? — страстно ответила Даша. — Вы вот нашли, что делать, а я не нашла... Я без памяти убежала от той жизни. Убежала за своим счастьем... И мне завидно... Я бы тоже так — перетянула ремнем шинель!

Она так взволновалась, что откинула с головы платок, изо всей силы стискивала в кулачках его концы.

— У вас все ясно, все просто... Вы за что воюете? Чтобы женщина без слез могла смотреть на эти звезды... Я тоже хочу такого счастья...

Она говорила, и он слушал, не пытаясь ее остановить, смущенный этой непонятной страстностью. В это время из хаты вышел ротный командир и пробасил:

— А ну, Агриппина, давай сюда гадов.

Командир полка, с широко расставленными блестящими глазами, с трубкой в зубах, и ротный командир, обветренный, как кора, — оба в шинелях и картузах, — сидели в хате у стола, положив локти перед огоньком светильни. Ротный велел остановившимся у двери Даше и Кузьме Кузьмичу подойти ближе.

— Почему были в степи в расположении войск?

Глаза его уставились не куда-нибудь, а прямо в их глаза. От этого взгляда Даша вдруг изнемогла, прошелестела сухими губами:

— Он расскажет. Можно — я сяду?

Она села, держась за края лавки, и глядела на огонек, плавающий в глиняном черепке. Кузьма Кузьмич, причмокивая, переступая с ноги на ногу, начал рассказывать о том, как он подобрал в степи Дарью Дмитриевну и как они шли к Дону, размышляя преимущественно о высоких материях. Об этой стороне их путешествия он заговорил подробно, захлебываясь, торопясь, чтобы его не перебили. Но командиры за столом сидели, как две глыбы.

— Великое дело, граждане командиры, мыслить большими категориями. Что хочу сказать? Спасибо революции за то, что оторвала нас от унылых мелочей. Богоравное существо, человек, предназначенный к совершению высоких задач, — как Орфей струнами лиры оживлять камни и усмирять бешенство дикой природы, — человек этот при коптящем ночнике муслил кредитки и ум, как бы ловчее объегорить соседа... Спасибо вам, — разбили убогое житие, будь ему нелегкая память... Муслить больше стало нечего, хочешь не хочешь — перестраивайся на высокие темы... В доказательство моей искренности — вот... (Он вытащил мешочек с солью.) Вот единственная моя собственность, больше мне ничего не надо, остальное или прошу, или ворую. Но, граждане командиры, хочу с вами поспорить... Боретесь вы счастья ради человека, а человека-то часто забываете, он у вас пропадает между строк. Не отрывайте революции от человека, не делайте из нее умозрительной философии, ибо философия — дым: приняв чудный облик, он исчезает... Вот чем объяснимо мое участие в судьбе этой женщины: в ней я перелистываю увлекательную и поэтическую повесть, как, впрочем, и в каждом человеке, если подойти к нему с любопытством, с жаждой... Ведь это вселенная ходит перед вами в драной бекеше и в опорках.

— Хитро загнуто, — пустив дымок, сказал командир полка.

— А ну, покажите документы, — вслед за ним сказал ротный. Взяв у Кузьмы Кузьмича и Даши паспорта, он придвинул светильню и низко нагнулся, мусоля палец, осторожно перелистывая паспортные книжки. Командир полка изредка тяжело вздыхал, посасывая обгоревшую трубочку, которая дымила у него под усами уже пятый год войны.

— Кто ваш отец? — спросил ротный у Даши.

— Доктор Булавин.

— Это, что же, не министр бывшего самарского правительства?

— Да.

Ротный взглянул на командира полка и протянул ему Дашин паспорт. Хмурясь, спросил у Кузьмы Кузьмича:

— Вы, что же, сами — из жеребячьего сословия?

Кузьма Кузьмич, будто давно ожидая этого вопроса, с восторгом зашаркал опорками:

— Дважды был изгоняем из семинарии — за осквернение пищи и за сочинение вольнодумных куплетов. Отец мой, саратовский благочинный, дважды отеческой рукой спускал мне шкуру со спины. Дальнейший послужной список приложен при паспорте...

Не слушая его, ротный покосился на Дашу:

— Тяжелое ваше дело... Придется вам рассказать всю правду. — Он сморщился и закряхтел, листая паспорт. — Это еще, пожалуй, может вас выручить. Да, тяжелое дело.

Даша молча глядела на него расширенными глазами. Тогда Агриппина, стоявшая у двери, сказала с упрямством:

— Иван, ей можно верить, я с ней говорила...

Ротный, подняв большой нос, уставился на Агриппину. Командир полка усмехнулся. Кузьма Кузьмич часто-часто закивал красным, веселым лицом. Ротный проговорил медленно:

— Это — где мы, на посиделках? (Кудрявые усы командира полка запрыгали, глаза сощурились.) Красноармеец Чебрец, на каком основании встреваете в допрос?..

Агриппина даже задышала от злости; не будь здесь командира полка, она бы не задумалась, ответила ротному, как баба на перелазе... Но он пробасил:

— Красноармеец Чебрец, выдь за дверь.

Агриппина только полыхнула темными глазами, стукнула прикладом, поджав губы, вышла из хаты. Ротный, сопя, полез в карман за табаком.

— Так, значит, и тут успели, агитировали?..

Опустив голову, Даша ответила:

— Я прошу мне верить. Если не верите, — мне незачем говорить. Мой отец, Булавин, ваш враг, он и мой враг... Он хотел меня казнить, я убежала из Самары...

Ротный развел большими руками перед светильней.

— Гражданка, как же вам верить, вы же сказки рассказываете.

Тогда командир полка вынул трубочку изо рта, обтер ее об рукав и сказал солидно:

— Не горячись, Гора, она, может, дело говорит...

Ваша фамилия Телегина? (Даша — чуть слышно: «Да».) Имя, отчество вашего мужа помните?

— Иван Ильич.

— Штабс-капитан царской службы?

— Кажется... Да...

— Был ротным командиром в Одиннадцатой красной армии?

— Вы его знаете?

Даша кинулась к столу, щеки ее залил румянец; только что сидела увядшая, мертвая, — расцвела:

— Я видела Ивана в последний раз, когда он под выстрелами бежал по крышам... Вот как это было...

— А вы сядьте, успокойтесь, — сказал командир полка. — Знаю Ивана Ильича, вместе были в германской войне, вместе ушли из плена. Мельшин моя фамилия, Петр Николаевич, может, он вам поминал когда-нибудь? И в Красной Армии его хорошо знают. — Он повернулся к ротному: — Жинка твоя правильнее тебя этот орешек раскусила. — И — Даше: — Отдохните, завтра поговорим. Вы тут можете устроиться. Выйдете в сени, там будет кухня. Спите спокойно.

Даша и за ней Кузьма Кузьмич, — которого командиры как будто перестали замечать, — вошли через сени в тепло натопленную пустую кухню. Кузьма Кузьмич посоветовал Даше залезть на печь: «Косточки прогреете, в одну ночь за неделю отоспитесь. Дайте-ка я вас, душенька, подсажу...»

Даша с трудом влезла на печь, размотала платок, подложила его под щеку, прикрылась пальто, подобрала ноги. Здесь было хорошо, пахло теплыми кирпичами, хлебным дымком. Тыркал сверчок, неизменный сожитель. Он-то и не давал Даше заснуть сразу: сон только пленкой покрывал ее, сверчок — тырк, тырк — простегивал ее сон серой строчкой...

То ей представлялось, что стучит метроном, она сидит у рояля, в оцепенении опустив руки. От ожидания сердце тревожно бьется, но не шаги любимого, обожаемого, — снова слышно тырканье сверчка — стежка за стежкой.

«Какой покой, какой покой, — повторял в ней голос... — Вернулась на родину, бедная Даша... Но ты же никогда не знала родины, Даша, Даша... Ах, не мешайте мне... Ну конечно, это дирижер стучит костяной палочкой, сейчас раздастся музыка...» И снова — тырк, тырк...

Кузьма Кузьмич пристроился на лавке под печкой и тоже не мог сразу заснуть, — причмокивая, бормотал:

— Поверили, поверили... Простые сердцем... На их месте я бы так скоро не поверил, — почему? Сам себя не знаешь, темен человек... Поверили — сильные люди всегда просты... В этом их сила. Теперь-то уж нам паспорт дан, — поверили. Ну да, вам нужен смышленый человек? Революции он нужен? Нужен... Вот вам — я... Дарья Дмитриевна... Я спрашиваю — революции нужен смышленый человек?..

2

Иван Ильич Телегин, после военных операций под Самарой, получил новое назначение.

Десятая красная армия в августовских боях под Царицыном израсходовала и без того скудное боевое снаряжение. На запросы и требования — снабдить Царицын всем необходимым перед неминуемым новым наступлением донской армии, Высший военный совет республики отвечал с крайней медлительностью и неохотой. Но в Москве сидел боевой товарищ командарма Ворошилова, посланный туда со специальной задачей — толкать и прошибать непонятную медлительность и писарскую волокиту снабженческих учреждений Высшего военного совета. Ему удавалось перебрасывать кое-что для царицынского фронта.

Ивану Ильичу было поручено погрузить в Нижнем на буксирный пароход ящики со снаряжением и две пушки и доставить их в Царицын. Снова, как этим летом, как много лет тому назад, он плыл по ленивой, необъятно могущественной пустынной Волге. Низенький коричневый буксир шлепал колесами по безветренной воде. Впереди всегда виднелся берег, будто там и кончалась река, — за широким поворотом открывалась новая даль, глубокая и ясная под осенним солнцем. В эти месяцы Волга была очищена от белых, все же пароход держался подальше от берегов, где над крутизной раскидывалось потемневшими срубами большое село, или на лысом бугре сквозь золотую листву виднелась колоколенка, откуда удобно резануть из пулемета.

Десять балтийских моряков балагурили на корме около пушки. Там же обычно полеживал на боку и Иван Ильич, — то охая и обмирая, то до слез хохоча над их рассказами. Слушатель он был простой, доверчивый, а моряку другого и не нужно: только гляди ему в рот.

Ежедневно самый молодой из моряков, комсомолец Шарыгин, высокий и степенный, шел к судовому колоколу и бил аврал: все наверх! Моряки садились в круг, из люка вылезал машинист, старичок, потерявший в революцию, говорят, не малые деньги; высовывался до пояса из люка кочегар, неуживчивый, озлобленный человек; из камбуза, вытирая руки, появлялась женщина-кок. Шарыгин садился на свернутый канат, самоуверенным голосом начинал просветительную беседу. За молодостью лет он не успел много прочитать, но успел понять главное. Под матросской шапочкой носил он темные кудри, были у него светлые красивые глаза, и только подгадил нос — маленький, торчком, попавший, казалось, совсем из другой организации.

Задача его была нелегкая. Моряки понимали революцию как люди, давно оторванные от своего хозяйства, от горемычной сохи, от рыбацкой лодки на Поморье. Прошли они тяжелую флотскую службу; когда настал час, — выкинули офицеров за борт и подняли флаг всемирной революции. Мир они видали, обегали его. Это была вещь широкая, понятная морской душе. Раньше все могущество моряка было в сундучке. Теперь нет и сундучка, теперь хозяйство моряка — винтовка, пулеметная лента да весь мир... Будь сейчас времена Степана Разина, каждый бы из них, загнув на ухо шапку с алым верхом, пошел бы — во весь размах души — вольно гулять по необъятным просторам, оставляя позади себя зарево до самого неба... «Эй, царские, боярские холопы, горе-несчастье, голь кабацкая, дели землю, дели злато, — все твое, живи!..» Пролетарская революция потребовала от них программы более сложной, потребовала ограничения размаху чувств.

— Революция, товарищи, это — наука,— самоуверенным голосом говорил им Шарыгин. — У тебя хоть семь пядей во лбу — не превзошел ее, и ты всегда сделаешь ошибку. А что такое ошибка? Лучше ты отца с матерью зарежь: ошибка приведет тебя к буржуазной точке зре-

ния, как мышь в мышеловку, — влетел и сиди, грызи хвост, все твои заслуги зачеркнуты и ты — враг...

Моряки ничего на это не могли возразить, — без науки и корабля не поведешь, не то что справиться с этакой контрреволюцией. Разве кто-нибудь, обхватив татуированными могучими руками колено, спрашивал:

— Хорошо, ты вот на что ответь: без таланта и печь в бане не сложишь, без таланта тесто у бабы не взойдет. Нужно это?

Шарыгин отвечал:

— Видите, товарищи, куда загибает Латугин? Талант — это вещь, нам свойственная, это вещь опасная. Она может человека привести к буржуазному анархизму, к индивидуализму...

— У, понес, — безнадежно махал на него рукой Латугин. — Ты сперва эти слова разжуй, да проглоти, да до ветру ими сходи, тогда и употребляй...

А кочегар сердито хрипел из люка:

— Талант, талант! Ногти насандалит, штаны — клешем, на шее — цепочки... Видали вашего брата... Талант!

Тогда среди моряков поднимался ропот. Кочегар, прохрипев насчет того, что «вам бы годиков десять попотеть у кочегарки», от греха скрывался в машинное отделение. Шарыгин бесстрастно улаживал грозно возникающую зыбь. «Действительно, — говорил он, — есть среди нас такие товарищи с насандаленными ногтями, но это отброс. Они добром не кончат. Есть и зараженные эсерами. Но вся масса моряков беззаветно отдала себя революции. Про талант надо забыть, его надо подчинить. Гулять будем после, кто жив останется. Я лично — не рассчитываю...»

Шарыгин встряхивал кудрями. Некоторое время было слышно, как журчала вода под кормой. Суровость слов хорошо действовала на слушателей. Русский человек падок до всего праздничного: гулять — так вволю, чтобы шапку потерять; биться — так уж не оглядываясь, бешено. Смерть страшна в будни, в дождь без просвета, — в горячем бою, в большом деле смерть ожесточает, тут русский человек не робок, лишь бы чувствовать, что жизнь горяча, как в праздник; а шлепнет тебя вражеская пуля, налетел на сверкнувший клинок, — значит, споткнулся, в широкой степи раскинул руки-ноги.

захмелела навек голова от вина, крепче которого нет на свете.

Морякам нравились эти слова Шарыгина, что живым он быть не рассчитывает. И они прощали ему и книжную речь, и юношескую самоуверенность, и даже вздернутый носишко его казался подходящим. А он рассказывал о хлебной монополии, о классовой борьбе в деревне, о мировой революции. Сизоусый машинист, полузакрыв глаза, сложив пальцы на животе, кивал утвердительно, особенно в тех местах, когда Шарыгин, сбиваясь с мысли, начинал выражаться туманно. Женщина-кок, Анисья Назарова, взятая в прошлый рейс в Астрахани, никогда не садилась с мужчинами, стояла в сторонке, глядя на уплывающие берега. Истощенное страданиями молодое лицо ее, с выпуклым лбом, с красивыми пепельными волосами, окрученными косой вокруг головы, было покойно и бесстрастно, лишь иногда в горле ее с трудом катился клубок.

Телегин также принимал участие в этих беседах, — рассказывая про военные дела, чертил мелом на палубе расположение фронтов.

— Контрреволюция, как видите, товарищи, задумана по единому плану: окружить центральную Россию, отрезать ее от снабжения хлебом и топливом и сдавить. Контрреволюция поднимается на окраинах, на тучных землях. На Кубани, например, полтора миллиона казаков и столько же — крестьян-арендаторов. Между ними вражда не на живот, а на смерть. Деникин это отлично учел и с горстью офицеров-добровольцев смело кинулся в самое пекло, — разгромил стотысячную армию прохвоста Сорокина, которого в самом начале надо было расстрелять за анархию и дикую жажду предательства, — и сейчас Деникин создает себе крепкий тыл, помогая казакам вырезать красных на Кубани. Деникин умный и опасный враг.

Моряки глядели на Телегина, ноздри у них раздувались, синие жилы проступали под смуглой кожей. А машинист все кивал: «Так, так...»

— У атамана Краснова задача много у́же, — потому что казаков за границы Дона поднять трудно. Знаете поговорку: потому казак гладок, что поел — да на бок. Казак удал, когда дерется за свою хату. Но зато красновская контрреволюция в настоящее время для нас

опаснее всех. Если мы будем оттеснены от Волги и потеряем Царицын, Краснов и Деникин соединятся со всей сибирской контрреволюцией. На наше счастье, между Красновым и Деникиным договоренности полной нет. Донцы называют добровольцев «странствующими музыкантами», а добровольцы донцов — «немецкими проститутками»... Но этим нечего утешаться. Плану контрреволюции мы должны противопоставить свой большой план, а это, в первую голову, правильная организация Красной Армии, без партизанщины на колесах...

Шарыгин, ревниво поглядывая на Телегина, вставлял:

— Вот это правильно... Итак, товарищи, мы вертаемся к тому, с чего я начал... Что ж такое революционная дисциплина?..

В одну из таких бесед Анисья Назарова, неожиданно протянув перед собой, как слепая, руку, сказала ровным голосом, но таким значительным, что все обернулись к ней и стали слушать:

— Извините, товарищи, что я вам скажу... Вот про такие дела я вам расскажу...

Рано утром, чуть завиднелось, Анисья Назарова пошла доить корову. Но только открыла теплый хлев, откуда из темноты просительно замычала Буренка, — послышались выстрелы из степи. Анисья поставила ведро, поправила на голове платок. Сердце у нее билось, и, когда пошла к калитке, ноги обмякли. Все же она приоткрыла калитку, — по станичной улице бежали люди за тачанкой, на ходу влезая в нее. Выстрелы теперь слышались ближе и чаще, и со стороны степи, и со стороны пруда, и с одного конца широкой улицы, и с другого. Тачанка с товарищами из станичного Совета не успела скрыться, — ее окружили верхоконные. Они крутились, как собаки, когда рвут собаку, стреляли и рубили шашками.

Анисья закрыла калитку, перекрестилась и пошла было за ведром, но вдруг ахнула и кинулась в хату, где спали дети — Петруша и Анюта. Гладя их по головкам, шепча на ухо, она разбудила их, одела и повела на двор за коровий сарай, где стояла скирда кизяков, сложенная высоким муравейником, внутри пустая. Анисья разобрала несколько кизячных плиток и велела детям залезть в скирду и там сидеть, не подавать голоса.

Теперь вся улица гудела под конскими копытами, раздавались окрики, звякало оружие. Наконец в ворота Анисьиного двора начали бить прикладом: «Отворяй!» И когда Анисья открыла, ее схватили двое станичников, горячих от самогона. «Где Сенька Назаров, где муж, говори — шлепнем на месте». А муж Анисьи — не казак, иногородний — был в Красной Армии, и она даже не знала, жив ли он теперь. Так она и сказала, что не знает, где муж, — летом какие-то люди его увели. Бросив трепать Анисью, казаки вошли в хату, там все перевернули, переломали и, выйдя, опять схватили Анисью, поволокли на улицу к станичному Совету, где прежде жил атаман.

Солнце уже было высоко, а станица стояла с закрытыми ставнями и воротами,— будто и не просыпалась. Только перед Советом крутились станичники на конях и подходили пешие, ведя связанных, иных избитых в кровь, крестьян и казаков. Потом узналось, что брали по списку, всех, кто еще весной голосовал за Советскую власть.

В атаманской избе сидел непроспанный офицер с нашитой на рукаве мертвой головой и двумя костями. И рядом с ним — хорошо всем известный хорунжий Змиев, полгода тому назад бежавший из станицы. О нем все и думать забыли, а он — вот он, с висячими усами, налитой, здоровый, красный, как медь. Когда Анисью впихнули в избу, хорунжий кричал арестованным, — а их под охраной стояло здесь более полусотни:

— Краснопузая сволочь, помогла вам Советская власть? Ну-ка рассказывайте теперь, чему вас научили московские комиссары?..

Офицер, глядя в список, говорил тихо каждому, кого выталкивали к столу:

— Имя, фамилию признаешь? Так. Сочувствуешь большевикам? Нет? Голосовал в мае месяце? Нет? Значит, врешь. Всыпать. Следующий, казак Родионов. — И поднимал бледные, пегие, как у овцы, глаза: — Стать по форме, глядеть на меня! Был делегатом на крестьянском съезде? Нет? Агитировал за Советы? Опять нет? Значит, врешь полевому суду. Налево! Следующего...

Станичники подхватывали людей и, столкнув с крыльца, валили на землю, сдергивали шаровары, заголяли, один садился на дергающиеся ноги, другой коленями прижимал голову, и еще двое, вытащив из винтовок шомпола, били лежащего, — со свистом, наотмашь.

Офицер не мог уже разговаривать тихим голосом,— так страшно выли и кричали люди за окнами. Экзекуцию обступила толпа конных и пеших станичников из налетевшего отряда и тех из местного казачества, кто выскакивал из хаты навстречу отряду, крича: «Христос воскресе!..» Они тоже орали и матерились: «Бей до кости! Бей до последней крови! Будут знать Советскую власть!»

Наконец в атаманской избе остались только Анисья и молоденькая учительница. Она приехала в станицу по своей охоте, все старалась просветить местных жителей: собирала женщин, читала им Пушкина и Льва Толстого, с детишками ловила жуков, — это в такие-то времена ловить жуков!

Хорунжий Змиев закричал на нее:

— Встать! Жидовская морда!

Учительница встала, некоторое время беззвучно трясла губами.

— Я не еврейка, вы это хорошо знаете, Змиев... И если бы даже была еврейкой, — не вижу в этом преступления...

— Давно в Коммунистической партии? — спросил офицер.

— Я не коммунистка. Я люблю детей и считаю долгом учить их грамоте... В станице девяносто процентов не умеющих читать и писать, вы представляете...

— Представляю, — сказал офицер. — А вот мы вас сейчас выпорем.

Она побелела, попятилась. Хорунжий заорал на нее: «Раздевайся!» Хорошенькое личико ее задрожало, она начала расстегивать клетчатое пальтишко, стащила его, как во сне...

— Слушайте, слушайте! — и замахала на офицера рукой. — Да что вы, что вы! — А за окном кто-то нестерпимо затянул истошным голосом. А хорунжий все свое: «Снимай панталоны, стерва!»

— Мерзавец! — крикнула ему учительница, и глаза ее загорелись, лицо залилось гневным румянцем. — Расстреливайте меня, звери, чудовища. Вам это так не пройдет...

Тогда хорунжий схватил ее, приподнял и грохнул об пол. Два станичника задрали юбку, прижали ей голову и ноги, офицер не спеша вылез из-за стола, взял у ка-

зака плеть, на серое лицо его наползла усмешка. Занеся плеть, он сильно ударил девушку по стыдному месту; хорунжий, перегнувшись со стула, громко сказал: «Раз!» Офицер не спеша сек, она молчала... «Двадцать пять, довольно с тебя, — сказал он и бросил плеть. — Иди теперь, жалуйся на меня окружному атаману». Она лежала, как мертвая.

Станичники подняли ее и унесли в сени. Очередь дошла до Анисьи. Офицер, подтягивая кавказский поясок, только мотнул головой на дверь. Анисья, обезумев от ненависти, начала выбиваться, — когда ее потащили, хватала за волосы, выламывалась, кусала руки, била коленками. Вырвалась и, простоволосая, ободранная, сама кинулась на станичников и потеряла сознание, когда ее ударили по голове. Ей спустили кожу со спины шомполами и бросили у крыльца, — должно быть, думали, что скверная баба кончилась.

Карательный отряд ротмистра Немешаева навел в станице порядок, поставил атамана, нагрузил несколько подвод печеным хлебом, салом и кое-каким реквизированным барахлом и ушел. Весь день станица стояла тихая, — не топили печей, не выпускали скотину. А ночью занялось несколько иногородних дворов, в том числе запылал Анисьин двор.

Соседи побоялись тушить пожар, потому что, когда показался первый огонь на краю станицы, туда поскакало несколько казаков и были слышны выстрелы. Анисьин двор сгорел дотла. Только наутро соседи спохватились: а где же ее дети? Дети Анисьи, Петруша и Анюта, сидевшие до ночи в кизяковой скирде, и корова, овцы, птица — сгорели все.

Добрые люди подобрали Анисью, стонущую в беспамятстве у атаманова крыльца, положили ее у себя и выходили. Когда, спустя несколько недель, она стала понимать, — рассказали ей про детей. В станице Анисье делать больше было нечего, — так она и сказала добрым людям. Была уже осень. От мужа — никаких вестей. Жить ей не хотелось. Она ушла, — от станицы к станице, побираясь под окнами. Добралась до железной дороги и попала наконец в Астрахань, где ее взяли на пароход коком, потому что в прошлый рейс кок сошел на берег и не вернулся.

. . . .

Такой случай из своей жизни рассказала Анисья Назарова.

— Спасибо вам, товарищи, — сказала она, — узнайте мое горе, спасибо вам...

Вытерла передником глаза и ушла в камбуз. Моряки, обхватив жиловатыми руками колени, нахмурясь, долго еще молчали. Иван Ильич отошел и лег в сторонке. Сдерживая вздохи, думал: «Вот встречаешь человека и проходишь мимо рассеянно, а он перед тобой, как целое царство в дымящихся развалинах...»

Понемногу от впечатлений рассказа этой женщины он перекинулся к своим огорчениям, — их он глубоко прятал от всех, от самого себя в первую очередь. Мало у него было надежды когда-нибудь еще раз встретиться с Дашей. Правда, человек живуч, ни один зверь не вынесет таких ран, таких бедствий. Но ведь пространство-то какое! Где теперь искать Дашу в потоке миллионов, хлынувших на восток. Старый дурень, доктор Булавин, чего доброго, еще махнет с ней за границу.

Покачивая головой, вздыхая от жалости, он вспоминал Дашины пристрастия к душевному комфорту, к изяществу, ее холодноватую пылкость, как кипение ледяного вина. «Не по силам ей было, не по силам... Выращена в теплице, и — на вот тебе — подул такой мировой сквознячище... Бедная, бедная, тогда в Питере, после смерти ребенка, отказывалась жить, — угасала в холодных сумерках...»

О том, что случилось с ней после Питера, Иван Ильич знал только по наспех прочитанному ее письму. Несомненно, Даша много пережила после Питера, многое поняла... С какою страстью тогда, спасая его от сыщиков, подтащила к окошку: «Верна буду тебе до смерти. Беги, беги...» Запах ее тонких русых волос, когда прильнула к нему, Иван Ильич не забыл и никогда не забудет. Странная, чудная, обожаемая женщина... «Ну, что ж, на том и покончим с воспоминаниями...»

Погода начала портиться. Волга потемнела, с севера поднялись грядами скучные, холодные тучи, засвистел ветер в тросах низенькой мачты. Не пришвартовываясь, проплыли Камышин, захолустный деревянный городок с оголенными садами на холмах. Сейчас же за Камышином начинался царицынский фронт.

3

Насыщенные холодом тучи ползли над Царицыном, ветер подхватывал пыль, вихрями застилал деревянные домишки, — они тесно и кое-как — то задом к реке, то передом — вместе с нужниками и заводами громоздились на сыпучих обрывах. Иван Ильич пробирался вверх по крутой улице, где булыжники были выворочены дождевыми потоками. На набережной, на скрипящих пристанях, и здесь, в городе, не видно было ни души. И только на площади, где сквозь пыль проступала серая громада кафедрального собора, он встретил вооруженный отряд. Одетые кто во что горазд, шли молодые и пожилые, с остервенением отворачиваясь от ветра.

Впереди шагала худая сердитая старуха в красноармейском картузе и так же, как и все, с винтовкой через плечо. Когда она поравнялась, Иван Ильич спросил у нее, где находится штаб. Старуха свирепо покосилась на него, не ответила, и весь отряд торопливо прошел, заволокся пылью.

Ивану Ильичу нужно было явиться в штаб армии, рапортовать о прибытии парохода с огнеприпасами и передать накладную. Но, черт его знает, где искать этот штаб! Заколоченные магазины, нежилые окна да гремящие железом, вот-вот готовые сорваться вывески. Внезапно Иван Ильич налетел на какого-то военного с повязанной рукой — тот болезненно потянул воздух через зубы и шепотом выругался. Иван Ильич, извинившись, спросил его все о том же. И тут только увидел, что перед ним — Сапожков, Сергей Сергеевич, его бывший командир полка.

— Ну, что ты носишься, как очумелый, — сказал Сапожков. — Ну, здравствуй. — Иван Ильич примерился было обхватить, обнять его. Сапожков отстранился. — Ну брось, в самом деле, держись спокойно. Ты откуда взялся?

— Да, понимаешь, пароход сюда пригнал.

— Вот чудак — жив! Щеки от здоровья лопаются!.. Вот — порода расейская! Тебе штаб нужен? Так вот это и есть штаб. Где остановился-то? Нигде, конечно. Ладно, я тебя подожду.

Он вместе с Телегиным зашел в подъезд каменного

купеческого дома и указал на втором этаже штабные комнаты.

— Ванька, я жду, смотри...

Иван Ильич видал штабы и у Сорокина, и в армиях Южного фронта, где никогда не найдешь нужную тебе дверь, — все врут, будто уговорились, всюду табачный дым, паническая трескотня машинисток, шнырянье из двери в дверь значительных адъютантов в галифе с крыльями. Здесь было тихо. Он сразу нашел нужную дверь. У пыльного окна, едва пропускавшего свет, сидел дежурный; он поднял костлявое малярийное лицо и, не мигая красными веками, уставился на Телегина.

— Никого нет, штаб на фронте, — ответил он.

— Разрешите связаться с командующим, — груз надо сдать срочно.

Дежурный, с легкостью истаявшего от бессоницы человека, приподнялся и поглядел в окно. Там кто-то подъехал.

— Подождите, — сказал он тихо и продолжал раскладывать на несколько кучек донесения и рапорты, иные написанные такими карандашными загогулинами, что из их содержания можно было понять одно лишь только величие простой и мужественной души.

Вошли двое. Один — в смушковой бекеше, с биноклем через шею и с тяжелой, на сыромятной портупее, кавалерийской шашкой. Другой — в длинной солдатской шинели, в теплой шапке с наушниками, какие носят питерские рабочие, и без оружия. Лица у обоих были темны от пыли. Дежурный сказал:

— Прямой провод на Москву исправлен.

Тот, кто был в смушковой бекеше, моложавый, с круглыми карими веселыми глазами, сразу остановился: «Вот это — отлично!» Другой, в шинели, закиданной землей, вынул платок, отер худощавое лицо, смахнул — сколько возможно — пыль с черных усов, и Телегин почувствовал на себе пристальный взгляд его блестевших глаз с приподнятыми нижними веками.

— Товарищ к вам с рапортом, — сказал дежурный.

Иван Ильич первый раз видел этих людей, не знал — кто они такие, и несколько замялся. Дежурный наклонился к нему:

— Говорите, товарищ, это военсовет фронта.

Телегин вынул документы и рапортовал. Услышав, что им только что пришвартован пароход с огнеприпасами, эти люди переглянулись. Тот, кто был в шинели, взял накладную, другой из-за его плеча с жадностью бегал по ней зрачками, и даже губы его маленького рта шевелились, повторяя цифры количества патронов, снарядов, пулеметных лент...

— Сколько у вас команды на пароходе? — спросил человек в шинели.

— Десять балтийских моряков и два полевых орудия.

Они опять переглянулись.

— Заполните анкету,— опять сказал тот же.— К семнадцати часам будьте со всей командой в распоряжении командующего фронтом. — Нетропливым движением он завертел сухо визжавшую ручку телефонного аппарата, соединился с кем-то, вполголоса сказал несколько слов и положил трубку. — Товарищ дежурный, организуйте немедленно как можно больше ломовых подвод. Для разгрузки мобилизуйте рабочих с орудийного завода. Проверьте исполнение и скажите мне.

Оба человека ушли в соседнюю комнату. Дежурный принялся накручивать телефон и сдавленным голосом повторять: «Транспортый отдел... Товарища Иванова. Нет такого? Убит? Давайте другого дежурного. Говорит штаб фронта...» Иван Ильич сел заполнять анкету. Дело было ясное: явиться к командующему, — значит, прямо в окопы. Иван Ильич разленился на пароходе и вот сейчас, поскрипывая цепляющимся за бумагу пером, ,чувствовал знакомое, столько раз повторявшееся за эти годы волевое движение, когда все, что есть в человеке покойного, теплого, бытового, охраняющего свою жизнь, свое счастьице, со вздохом отодвигается, и невидимым разводящим становится другой Иван Ильич — упрощенный, жесткий, волевой.

До пяти часов оставалось много времени. Телегин передал анкету и вышел в коридор. Сапожков быстро поднялся с деревянного дивана.

— Освободился? Пойдем, приткнемся куда-нибудь.

Он с усмешкой глядел на затуманенного Телегина. Сапожков был все тот же: неспокойный, напряженный, как будто знающий что-то такое, чего другие не знают, только внешне сильно сдал — розовое лицо его стало маленькое, как у моложавого старичка. Телегин

объяснил, что — вот такое дело — надо бежать на пристань, собрать команду, выгружать ящики...

— Жаль. Ну, что ж, пойдем на пристань. Я три месяца молчал, Ваня, дошел до того, что в госпитале едва не начал писать «Записки бывшего интеллигента»... И не пью, брат, забыл...

Сапожков весь был потрясен встречей с Иваном Ильичом. Они вышли. Ветер погнал их по улице — вниз к потемневшей Волге, махающей длинными пенными волнами.

— Где полк, Сергей Сергеевич? Каким образом ты от него отбился?

— От нашего полка остались рожки да ножки. Нет больше такого полка в Одиннадцатой армии.

Телегин молча, с ужасом, взглянул на него. Сапожков начал рассказывать, прикрываясь рукой от пыли:

— Кончились мы на хуторе Беспокойном. Известна тебе трагедия Одиннадцатой армии? Главком Сорокин натворил таких дел, — мало ему трех казней, сукиному коту. Скрыл от армии приказ царицынского военсовета — пробиться на соединение с Десятой армией. Одна дивизия Жлобы выполнила приказ и повернула на Царицын, и то потому только, что Дмитрия Жлобу он хотел расстрелять и объявил вне закона. Представляешь: от Минеральных Вод мы отрезаны, от Ставрополя, где гибнет таманская армия, — отрезаны. Огнеприпасы Сорокин в панике бросил еще в Тихорецкой... Справа на нас нажимает конница Шкуро, слева — конница Врангеля. И мы уходим на восток, в безводную степь... От полка моего осталась одна рота. Спим на ходу, лишь бы оторваться от противника, пробираемся балочками, жрать нечего, воды нет, ледяной ветер, — будь она проклята, эта степь! Были случаи — человек и конь окоченеют, и засыпает их песком, как скифским курганом... Добрались до хутора Беспокойного, — ни души, ни куренка, даже собак увели казачишки. А хаты, понимаешь, не заперты, — нараспашку... Ребята и давай пить молоко. Понимаешь? Начали кататься по земле, да уж поздно, — в живых осталось десятка три душ... И тут нас на утренней зоречке, как полагается, окружили с пулеметами и кончили...

Слушая его, Иван Ильич шел все шибче, покуда не споткнулся.

— Ну, а ты как же?

— Черт его знает. Подвезло... Ранили меня в самом начале, — в руку, нерв, что ли какой-то задело, — потерял сознание... Многое я с того часа начал пересматривать... Покуда валялся кверху воронкой,— бойцы, оказывается, перевязали мне руку, отнесли к омету, закидали соломой... В такой обстановке, видишь ты, позаботились... Утверждаю: нашего народа мы не знаем и никогда не знали... Иван Бунин пишет, что это — дикий зверь, а Мережковский, что это — хам, да еще грядущий... Помнишь, мы в вагоне ночью разговаривали? Я был пьян, но я ничего не забываю. В чем была ошибка: философия-то, логика-то корректируются, как стрельба, видимой целью, глубоким познанием жизненных столкновений... Революция — это тебе не Эммануил Кант!

— Сергей Сергеевич, ну а дальше что было?..

— Дальше-то... Ночью вылез я из соломы. На хуторе орут песни, — значит, победители уже пьяны. Наткнулся на изувеченный труп, на другой, — все ясно... Поймал лошаденку, ушел в степь, где провел несколько мучительных дней... Подобрал меня конный отряд Буденного, — есть у них в Сальских степях такой всадник... Доставили меня на станцию Куберле и, значит, — сюда. Здесь околачиваюсь в госпитале... Послужной список, документы — все осталось на гумне, в бекеше... Помнишь мою бекешу? Такой теперь не построишь...

— Слушай, и Гымза там же погиб?

— Гымзу мы давно потеряли, вместе с обозом, у него сыпняк был жестокий...

— Жалко Гымзу.

— Всех жалко, Иван... А впрочем, вру, не жалостью это называется... Привык я к полку, неудобно как-то одному оставаться в живых... Места себе не нахожу, Иван... Ходил в штаб — просить роту хотя бы... Вполне их понимаю, человек я им неизвестный, один воинский билет на руках... Ты уж меня в штабе аттестуй, пожалуйста...

— Ну, о чем говорить, Сергей Сергеевич...

— Хотя самое лучшее — бери меня в отряд, честное слово. Хоть помощником, хоть связистом... Вот сталкивает нас судьба... Помнишь, как у тебя на квартире стихи писали, пугали буржуев? Ничто не проходит даром, все отзывается: пошалил и забыл, — смотришь —

а ты уже стоишь перед грандиознейшей картиной, так что волосы встают торчком. Слушай, а помнишь, как я нашел тебя в сарае у немцев? Вот был налет, вот была рубка! Я еще тогда шашку сломал... Это очень хорошо, что мы опять вместе... В тебе, Иван, есть какое-то непроворотимое здоровье... Привязался я, что ли, к тебе... Слушай, а где твоя жена?

Разговаривать им дальше не пришлось. Их перегнали ломовые телеги, рысью прогромыхавшие вниз к пристани.

. . . .

За городскими крышами сквозь вихри пыли проступал закат, огромный и мрачный, насыщая кровавой силой ползущие тучи. Над Волгой закрутился редкий снег. Нагруженные телеги, охраняемые вооруженными рабочими, давно уехали. Набережная опустела. Пароход отошел от конторки и, не зажигая огней, пришвартовывался где-то ниже по течению.

Моряки в перепоясанных бушлатах, с гранатами, с вещевыми мешками, с винтовками сидели на конторке за ветром, — не курили, помалкивали. Из рассказов рабочих им уже было известно, что делалось в этом пустынном городе, озаренном мутно-кровавым закатом. Дела тут были невеселые.

Иван Ильич ждал конных упряжек для выгруженных орудий, с тревогой посматривал на часы, несколько раз звонил в штаб. Выяснилось: упряжки уже высланы, отряду приказано идти вместе с орудиями прямо на вокзал. Преодолевая наваливающийся на дверь ветер, он вышел на палубу конторки. Перед ним стояла Анисья Назарова.

— Вы зачем здесь?

Она молчала, поджав губы; под его взглядом опустила голову. Ветхая, заплатанная шаль, видимо, единственная защита от стужи, была повязана у нее на плечах, за спиной — дерюжный мешок.

— Нет, нет, нет, — сказал Иван Ильич, — ступайте на пароход, Анисья, вы мне в отряде не нужны...

Покуда по сходням скатывали пушки на песок да возились с упряжками, — тучи угасли, и река слилась с потемневшими берегами. Отряд тронулся в город, понукая лошаденок, впряженных в орудия. К Ивану Ильичу подошел Шарыгин и — вполголоса:

— Что нам с Анисьей-то делать? Товарищи просят оставить при отряде...

Сейчас же, отделившись от колеса орудия, к Ивану Ильичу с другой стороны подошел Латугин.

— Товарищ командир, она вроде нам как мамаша. В таких делах, — фронт, знаешь, — добежать, принести чего-нибудь, рубашечку простирнуть... Да она воинственная, только так, с виду тиха. Пристала и пристала, как собачонка, что ты сделаешь...

Анисья оказалась тут же, позади Ивана Ильича, — она шла за отрядом все так же — с опущенной головой. Шарыгин сказал:

— Определим ее сестрой милосердной, без квалификации... Милое дело...

Иван Ильич кивнул: «Правильно, я и сам хотел ее оставить». Латугин побежал опять к орудийному колесу, ухватился за него, гаркнул на лошаденок, выбивавшихся в гору из последних сил: «Но, добрые, вывози!» Песок, сорванный с откоса, обрушился на отряд, закрутился, как бешеный. Наконец колеса покатились по улице. В едва различимых домишках не светилось ни одно окно; страшно выли провода на столбах да громыхали вывески. Иван Ильич шел и усмехался... «Вот получил урок, шлепнули по носу: эй, командир, невнимателен к людям... Правильно, ничего не скажешь... От Нижнего до Царицына валялся на боку, развесив уши, и не полюбопытствовал: каковы они, эти балагуры... Видишь ты — шагают вразвалку, ветер задирает ленточки на шапочках... Почему Анисьино горе, жалкую судьбу ее, они, не сговариваясь, вдруг связали со своей судьбой, да еще в такой час, когда приказано покинуть легкое житье на пароходе и сквозь песчаные ледяные вихри идти черт знает в какую тьму, — драться и умирать?.. Храбрецы, что ли, особенные? Нет, как будто, — самые обыкновенные люди... Да, неважный ты командир, Иван Ильич... Серый человек... Тот хорош командир, кто при самых тяжелых обстоятельствах держит в памяти сложную душу каждого бойца, доверенного тебе...»

Давешний разговор с Сергеем Сергеевичем и этот, как будто незначительный, случай с Анисьей очень взволновали Ивана Ильича. Первым делом он обрушился на самого себя и корил себя в эгоизме, байбачестве, невнимательности, серости... В такое время он, видите ли,

разъел себе щеки, — даже Сергей Сергеевич это заметил... Так размышляя, Иван Ильич поймал себя еще на одной мысли, — ему вдруг стало жарко, и сердце на секунду будто окунулось в блаженство, — во всем этом подтягивании себя была и тайная мысль: вернуть Дашину былую влюбленность... Но он только фыркнул в налетевший из-за угла пыльный вихрь и отогнал эти совершенно уже неуместные мысли.

На вокзале Иван Ильич получил приказ: немедленно погрузить орудия и выступить на артиллерийские позиции в район станции Воропоново. Приказ передал ему комендант — рослый детина с черными, как мартовская ночь, страшными глазами и пышной растительностью на щеках, вроде бакенбард. Иван Ильич несколько растерялся, начал объяснять, что он не артиллерист, а пехотинец, и не может взять на себя ответственность командовать батареей. Комендант сказал тихо и угрожающе:

— Товарищ, вам понятен приказ?

— Понятен. Но я объясняю же вам, товарищ...

— В данный момент командование не нуждается в ваших объяснениях. Вы намерены выполнить приказ?

«Ох, ты, черт, как тут разговаривают», — подумал Иван Ильич и невольно подбросил руку к козырьку: «Слушаюсь», — повернулся и пошел на пути...

В этом городе были совсем не похожие ни на что порядки. На вокзалах, например, в иных городах, если нужно пройти куда-нибудь, — шагай через лежащих вповалку переодетых буржуев, дезертиров, мужиков и баб с мешками, откуда торчит петушиный хвост либо сопит поросенок. Здесь было пусто, даже подметено, хотя пыль, гонимая ветром через разбитые окна, густо устилала плакаты на стенах и давно покинутый буфетчиком прилавок. Здесь и разговаривали по-особенному — коротко, предостерегающе, точно положив палец на гашетку.

Иван Ильич без лишней беготни и без крику быстро получил паровоз и наряд на погрузку. Позвонил в штаб о Сапожкове, и оттуда ответили: «Хорошо, берите его на свою ответственность...» Команда уже грузила орудия на две платформы под раскачивающимися фонарями. Иван Ильич стоял и всматривался в лица моряков.

Вот Гагин, новгородец, с глубокими морщинами жесткого лица, с черными волосами, падающими из-под бескозырки — «Беспощадный» — на лоб до бровей; вот помор Байков, с широкой, будто подвешенной к маленькому лицу, забитой пылью бородой, с круглой головой, крепкий, как орех, — балагур и запивоха. Все девять товарищей ухватились за колеса пушки, вкатывая ее по круто поставленным доскам, а Байков то тут присядет, то с другой стороны взглянет: «Идет, идет, ребята, поднажми, давай...» Кто-то даже пхнул его коленкой: «Да берись ты сам, чудо морское...»

Вот нижегородец, из керженских лесов, Латугин, с широким, дерзким лицом, ястребиным, должно быть, перебитым в драке, носом, среднего роста, силач, умница, опасный в ссоре и «ужасно лютый» до женского сословия... Вот — Задуйвитер...

— Иван Ильич, — к нему подошел Шарыгин, — вы знаете, где это Воропоново?

— Ничего я тут не знаю.

— Да вот тут же, рядом, под самым Царицыном, — здесь и фронт... Белые, говорят, так и ломят... Артиллерии — сила, и танки, и самолеты... Да за войском еще тысяч сто мародеров-казаков едут на телегах.

Шарыгин говорил тихо и возбужденно, синие глаза его блестели, улыбаясь, красивые губы дрожали. Иван Ильич нахмурился:

— Вы что, в серьезных боях еще не бывали, Шарыгин? — У того вспыхнуло лицо, и краска перелилась на маленький нос, он так и остался красным. — Мой совет: поменьше слушайте разных разговоров... Все это паника... Вы позаботились о продовольствии отряда?

— Есть! — Шарыгин подкинул ладонь к бескозырке, чего никогда обычно не делал. Лицо у него просветлело. Парень был хороший, чересчур впечатлительный, — но ничего, обломается. Иван Ильич пошел к товарному вагону, который прицепляли сзади платформ с пушками. По перрону бежал возбужденный Сапожков, с мешком и шашкой под мышкой...

— Иван, устроил?

— В порядке, Сергей Сергеевич... Грузись.

Сапожков полез в товарный вагон. Там, в углу, на матросском барахлишке, уже сидела Анисья.

Неподалеку от Воропонова — станции Западной железной дороги — еще до света орудия были выгружены и установлены в расположении одного из артиллерийских дивизионов. Здесь Телегин и его отряд узнали, что дела на фронте очень тяжелые. Под Воропоновом строилась линия укреплений, она шла полуподковой всего в каких-нибудь десяти верстах от Царицына, начинаясь на севере, у станции Гумрак, и кончаясь у Сарепты — на юге от Царицына. Эта дуга укреплений была последней защитой. В тылу за ней тянулась невысокая гряда холмов и дальше — покатая равнина до самого города. Отступать можно было только в Волгу, в ледяные волны.

Вчерашний ветер разогнал тучи, свалил их за краем степи в непроницаемый мрак. Поднялось негреющее солнце. На плоской бурой равнине копошилось множество людей; одни кидали землю, другие вбивали колья, тянули колючую проволоку, укладывали мешки с песком. Со стороны Царицына подъезжали товарные составы, выгружались люди, разбредались, исчезали под землей. Другие вылезали из складок земли и устало брели к станции. Было похоже, что сюда призвано на работы — хочешь или не хочешь — все население города, способное держать лопату...

Одна из таких партий, десятка в полтора разношерстных граждан обоего пола, подошла к расположению телегинской батареи; их привел маленький старенький военный инженер.

— Граждане! — осипшим голосом крикнул он, высовывая седые усы из толсто замотанного верблюжьего шарфа. — Ваша задача проста: мне нужно поднять бруствер до четырнадцати вершков, берите землю отсюда и бросайте сюда, до отметки на колышке... Разойдитесь на шаг и — дружно за работу!

Он ободрительно похлопал лиловыми от холода маленькими руками и бодро полез из выемки. Граждане проводили его взглядами, полными возмущения. Одна из женщин затрясла круглым лицом ему вдогонку:

— Стыдитесь, Григорий Григорьевич, стыдитесь!

Остальные продолжали стоять, держа лопаты так, будто именно эти лопаты и были гнусными орудиями пролетарской диктатуры. Только один — кадыкастый, большегубый юноша, которому было очень интересно

попасть на боевые позиции, — принялся было ковырять землю, но на него сейчас же зашипели:

— Стыдно, Петя, перестаньте сию же минуту...

И все заговорили, обращаясь к человеку с желтым нервным лицом, стоявшему до этого закрыв глаза, слегка покачиваясь; форменное пальто на нем — ведомства народного просвещения — было демонстративно подпоясано веревкой.

— Ну вы-то что же молчали, Степан Алексеевич? Мы выбрали вас... Мы ждем от вас...

Он мученически поднял веки, щека его дернулась тиком:

— Я буду говорить, господа, но буду говорить не с Григорием Григорьевичем. Мы все должны надеть траур по нашем Григории Григорьевиче...

В это время с бруствера полетели комья, над выемкой появилась лошадиная морда, катающая в зубах удила, и сверху, с седла, перегнулся широкий, краснощекий, бородатый всадник в кубанской шапке. Прищуря глаза, он спросил насмешливо:

— Ну что ж, граждане, не можете договориться — чи работать, чи нет?

Тогда нервный Степан Алексеевич, в пальто, подпоясанном веревкой, выступил несколько вперед и, задрав голову к всаднику, ответил ему с убедительной мягкостью, как говорят с детьми на уроках:

— Товарищ, вы здесь старший начальник, насколько я понимаю... («Эге», — всадник весело кивнул и рукой в перчатке похлопал коня, сторожившегося над обрывом.) Товарищ, от имени нашей группы, насильственно мобилизованной сегодня ночью на основании каких-то никому не ведомых списков, выражаем наш категорический протест...

— Эге, — повторил, но уже с угрозой, бородатый всадник.

— Да, мы протестуем! — Голос у Степана Алексеевича сорвался вверх. — Вы принуждаете людей, не приспособленных к физическому труду, рыть для вас окопы... Ведь это же худшие времена самоуправства!.. Вы совершаете насилие!..

Обе щеки у него задергались, он закрыл глаза, так как сказал слишком много, и замотал поднятым желтым лицом... Всадник глядел на него, прищурясь, — большие

ноздри у него задрожали, рот сложился твердо, прямой, как разрез. Он слез с лошади, соскочил в выемку и, отряхнув одним ударом кавалерийские штаны, сказал:

— Совершенно точно: мы вас принуждаем оборонять Царицын, если вы не желаете добровольно. Почему же это вас возмущает?.. А ну-ка, дайте лопату кто-нибудь.

Он, не глядя, протянул большую руку в коричневой перчатке, и та же полная, круглолицая женщина торопливо подала ему лопату и уже все время не сводила с него изумленных глаз.

— Зачем нам ссориться, это же чистое недоразумение. — Он вонзил лопату, подхватил землю и сильно кинул ее наверх, на бруствер. — Мы воюем, вы нам подсобляете, враг у нас один... Казачки же никого не пощадят, — с меня сдерут кожу, а вас перепорют поголовно, а которых порубят шашками...

От него, как от печи, дышало здоровьем и силой. Кинув несколько лопат, он быстро оглянул стоящих: «А ну, — хлопнул по плечу кадыкастого юношу и другого — миловидного, глуповатого, с соломенными ресницами, — а ну, покажем, как надо работать». Они, смущенно улыбаясь, начали копать и кидать; за ними, пожав плечами, взялось за лопаты еще несколько человек. Круглолицая дама сказала: «Ну, позвольте уж и я», — и споткнулась о лопату. Бородатый командир сейчас же подхватил ее и, должно быть, сильно тиснул, — она раскраснелась и повеселела. Степан Алексеевич рисковал остаться в одиночестве.

— Позвольте, позвольте, — сказал он высоким голосом, — но революция и — насилие, товарищи! Революция прежде всего отвергает всякое насилие.

— Революция, — раскатисто ответил бородатый начальник, — революция осуществляет насилие над врагами трудящихся, и сама осуществляется через это насилие... Понятно?

— Позвольте, позвольте... Это антиморально...

— Пролетариат только для того и совершает над вами насилие, чтобы освободить весь мир от насилия...

— Позвольте, позвольте...

— Нет, — твердо сказал начальник, — не позволю, вы начинаете озорничать, это саботаж, берите лопату... То-

варищи, я, значит, могу надеяться — к одиннадцати часам бруствер будет готов. В добрый час, до свиданья...

Моряки, слушая издали этот разговор, помирали со смеху. Когда начальник артиллерии Десятой армии уехал, они пошли к интеллигенции — подсобить, чтобы у них не остыл энтузиазм.

4

Полк Петра Николаевича Мельшина вместе со всей дивизией отходил по левой стороне Дона, день и ночь отбиваясь от передовых частей второй колонны хорошо снаряженной и сформированной по-регулярному донской армии. У Мельшина в полку люди были измотаны боями и ночными переходами, без горячей еды, без сна и отдыха. Красновские казаки хорошо знали каждый овраг, каждую водомоину в этих степях и оттесняли противника в такие места, где было удобно его атаковать. На рассвете их стрелковые части начинали перестрелку, отвлекая внимание, а конные сотни пробирались оврагами и балочками во фланги и неожиданно накидывались с яростью, свистом, воем.

Мельшин говорил бойцам: «Выдержка, товарищи, — это главное. Единодушие — это наша сила. Нам эти укусы не страшны. Мы знаем, за что сражаемся, смерть нам легка. А казак удал, да жаден,— ему добыча нужна, жизни он терять не хочет, и больше всего ему жаль коня».

Рота Ивана Горы шла в арьергарде, прикрывая обоз, где на каждой телеге лежали раненые. Оставить их было нельзя и негде: станичники в плен не брали, — уцелевших после боя всех, на ком красная звезда, раздевали донага и рубили — и с верха и пешие; натешась, отъезжали, оглядываясь на страшно разрубленные трупы, вытирали клинки о конскую гриву.

Ни в какие времена на Дону не слыхали такой бешеной ненависти, какая поднялась в богатых станицах Вешенской, Курмоярской, Есауловской, Потемкинской, Нижне-Чирской, Усть-Медведицкой... Туда приезжали агитаторы из Новочеркасска, а в иные станицы — и сам атаман Краснов; колокольным звоном собирали «Круг спасения Дона» и, по старинному обычаю снимая шапки и кланяясь, звали казачество наточить шашки и вдеть

ногу в стремя: «Настал твой час, вставай, вольный Дон... Грозной казацкой тучей двинемся на Царицын, уничтожим проклятое гнездо коммунистов, выметем с Дона красную заразу... Не хотят они, чтобы Дон жил богато и весело! Хотят они увести наши табуны и стада, земли наши отдать пришлым тульским да орловским мужикам, жен наших валять по своим постелям, а вас, — станичники, богатыри, соль земли Донской, — послать в шахты навечно... Не дайте ободрать храмы божии, постойте за алтарь нашей родины. Не пожалейте жизней... А уж атаман Всевеликого Войска Донского отдаст вам Царицын на три дня и три ночи».

Ротный командир Иван Гора, длинный и сутуловатый, с лицом, почерневшим от бессонницы, привык, за эти дни к маячившим на краю степи верхоконным казакам, узнал их повадки и не клал цепь без толку, велел бойцам идти не оборачиваясь.

Впереди двигался обоз — тесно, ось к оси; позади шла цепь тяжелой развалкой — ободравшиеся, осунувшиеся, глядящие под ноги бойцы. Последним шагал Иван Гора, как опоенный. Еще полгода тому назад был он могучим человеком, но сказывалось ранение в голову, когда этим летом на продразверстке его рубили топором в сарае, сказывалась контузия, полученная в бою под Лихой. Он то бодрился, то на ходу начинал задремывать; перед мутнеющими глазами выплывало какое-нибудь приятное воспоминание, — люди в летних сумерках сидят на бревнах, над головами летает мышь... Или — зеленый подорожник, на нем ситцевая подушка, на ней смеющаяся Агриппина... Он гнал эти мечты, приостанавливался, поправляя на плече винтовку, разевал тяжелые веки, оглядывал идущих людей, телеги с мотающимися ранеными, ровную выгоревшую степь, плывущую ему в душу, — шаром по ней кати, ни деревца, ни телеграфного столба, плывет бурая, бесцветная, тоскливая, покачивается... Споткнувшись, встряхивал носом... Эх, хорошо сейчас идти за телегой, положив руку на грядку, — минутку подремать, передвигая ноги!

— Вот — опять! Съезжаются на краю степи малюсенькие всадники, и оттуда — выстрелы, и пули посвистывают, как безвинные.

— Приободрись, товарищи, внимание! Эй, в обозе, не спать!..

В обозе ехала Агриппина, жена его, раненная в руку. Там же за одной из телег шли Даша и Кузьма Кузьмич.

В темноте начались протяжные крики. Обоз остановился. Даша сейчас же привалилась к обочине телеги, положила голову на руки. Сквозь забытье она слышала, как подошел Иван Гора и негромко заговорил с Агриппиной, сидевшей в той же телеге:

— Покурить бы, с ног валюсь.

— Почему остановились?

— До пяти часов — отдых.

— Кто тебе сказал?

— Проезжал вестовой.

— Положи ко мне головушку, Ванюша, поспи.

— Ну да, поспи. Он тебе поспит. Ребята наши — как где стоял, там и повалился... Ты чего не спишь, Гапа, рука болит?

— Болит.

Телега слабо заскрипела, — он привлек к себе Агриппину. Глубоко, как усталая лошадь, вздохнул.

— Вестовой говорит: ох, и силы у него переправляется через Дон под Калачом да под Нижне-Чирской! За полками идут попы с хоругвями, везут бочки с водкой. Казаки летят в атаки пьяные, чистые мясники...

— Поешь хлебца, Ванюша.

Он медленно начал жевать. С трудом глотая, неясно проговорил:

— Мы у самого Дона. Неподалеку здесь должен быть паром, казаки его на ту сторону угнали. Вот из-за этого остановка, пожалуй.

Телегу опять качнуло, — Иван Гора отвалился и ушел, тяжело топая. Все затихло — и люди и лошади. Даша дышала носом в рукав... Все бы, все отдала за такую минуту суровой ласки с любимым человеком. Завистливое, ревнивое сердце! О чем раньше думала? Чего ждала? Любимый, дорогой был рядом, — просмотрела, потеряла навек... Зови теперь, кричи: Иван Ильич, Ваня, Ванюша...

...Дашу разбудил Кузьма Кузьмич. Она лежала, уткнувшись под телегой. Слышались выстрелы. Занималась зеленая заря. Было так холодно, что Даша, стуча зубами, задышала на пальцы.

— Дарья Дмитриевна, берите сумку скорее, идем, раненые есть...

Выстрелы раздавались внизу по реке, гулкие в утренней тишине. Даша с трудом поднялась, она совсем отупела от короткого сна на холодной земле. Кузьма Кузьмич поправил на ней санитарную повязку, побежал вперед, вернулся:

— Переступайте, душенька, бодрее... Наши тут, неподалеку... Не слышите — где-то стонет? Нет?

Забегая, он останавливался, вытягивая шею, всматривался. Даша не обращала внимания на его суетливость, только было противно, что он так трусит...

— Душенька, пригибайтесь, слышите — пульки посвистывают?

Все это он выдумывал, — не стонали раненые, и пули не свистели. Свет зари разгорался. Впереди виднелась белая пелена, будто река вышла из берегов. Это над рекой и по голым прибрежным тальникам лежал густой, низкий осенний туман. В нем, как в молоке, по пояс стоял Иван Гора. Подальше — боец в высокой шапке и — другой и третий, видные по пояс. Они глядели на правый — высокий — берег Дона, куда не доходил туман. Там, за черными зарослями, поднималось в безветрии множество дымков.

Увидел их и Кузьма Кузьмич, — будто захлебнувшись от восторга, раскрыл глаза:

— Смотрите, смотрите, Дарья Дмитриевна, что делается! Это же грабить приехали за армией — сто тысяч телег... Это же Батый, кочевники, половцы!.. Видите, видите — кони распряженные, телеги... Видите — у костров лежат — бородатые, с ножами за голенищами... Да глядите же, Дарья Дмитриевна, один раз в жизни такое приснится...

Даша не видела ни телег, ни коней, ни станичников, лежащих у костров... Все же ей стало жутко... Иван Гора обернулся и рукой показал им, чтобы присели в туман. Кузьма Кузьмич, будто впиваясь в страницу какой-то удивительной повести, забормотал:

— Это показать бы да нашей интеллигенции. А? Это — сон нерассказанный... Вот тебе, конституции захотели! Русским народом управлять захотели... Ай, ай, ай... Побасенки про него складывали — и терпеливенький-то, и ленивенький-то, и богоносный-то... Ай, ай, ай... А он вон какой... По пояс в тумане стоит, грозен и умен, всю судьбу свою понимает, очи вперил в половецкие

полчища... Тут такие силища подпоясались, натянули рукавицы, — ни в одной истории еще не написано...

Внезапно оборвалась вдалеке ружейная и пулеметная стрельба. Кузьма Кузьмич споткнулся на полуслове. Стоящий впереди Иван Гора повернул голову. Ниже по реке раздались два глухих взрыва, и сейчас же там начало разливаться в тумане мутное пунцовое зарево. Донеслись отдаленные крики, и — снова зачастили выстрелы.

— Ей-богу, паром подожгли наши на том берегу, — Кузьма Кузьмич высовывал голову из тумана, — ох, резня там сейчас, ох, резня!

Иван Гора и цепь его бойцов, нагнувшись, побежали к берегу и скрылись в зарослях. Заря широко полыхала над степью. Туман, редея, шевелился и рвался между голыми ветками тальника. Там, под берегом, под покровом тумана, на реке внезапно раздались такие страшные крики, что Даша прижала кулаки к ушам, Кузьма Кузьмич лег ничком.

Удары, лязг, выстрелы, вопли, плеск воды, разрывы ручных гранат.

Затем из зарослей появился Иван Гора. Он шел, заглатывая воздух, тяжело отдуваясь. На голове его не было фуражки, зато в руке он нес два казацких картуза с красными околышками. Подойдя к Даше, сказал:

— Пришлю носилки, и вы бегите к воде, — перевязать надо двоих товарищей...

Он взглянул на картузы, один из них бросил, другой порывисто надвинул на лоб.

— Обойти нас хотели, сволочи, на лодках... Идите, не бойтесь, там всех кончили...

5

Шумели берега Дона между станицами Нижне-Чирской и Калачом, — по трем плавучим мостам, на паромах и лодках переправлялись конные и пешие полки Всевеликого Войска Донского. В походном строю шли конные сотни в новых мундирах, в заломленных бескозырках с выпущенными, по обычаю, на лоб чубиками, воспетыми в песнях. Пестрели флажки на пиках, брыз-

гала меж мостовыми досками вода из-под копыт молодых коней, боязливо косившихся на серый Дон.

Плыли поперек реки длинные лодки, нагруженные пехотинцами — безбородой молодежью; разинув рты, озирались они на невиданное скопление казаков, коней, телег; выпрыгивали из лодок в воду, карабкались на обрывистый берег, строились — ружье к ноге, — срывали шапки; дьяконы со взвевающимися космами звероподобно ревели, звякая кадилами, протопопы, подобные золотым колоколам, в ризах с пышными розами, благословляли воинство.

На кургане — впереди полковников и конвойцев — стоял под своим знаменем командующий, генерал Мамонтов, наблюдая за переправой. Он был хорошо виден всем, как влитый, в походном казачьем черном бешмете, на серебристом коне, царапающем копытом курган. Войска проходили с песнями, гремели литавры, в воздух подлетали конские хвосты бунчуков. На востоке бурой степи, заволоченной пылью идущих войск, перекатывался пушечный гром.

Командующий, подняв руку с висящей нагайкой, заслонился от солнца, глядя, как плыли аэропланы со слегка откинутыми назад крыльями, он сосчитал их и следил, покуда они, снижаясь, не ушли за горизонт. Мимо кургана прошли только что сгруженные с парохода тяжелые гаубицы, их щиты и стволы были размалеваны изломанными линиями, упряжки разномастных, мохноногих, низких, косматых лошадей проскакали тяжелым галопом, бородатые ездовые, лихачествуя, били их плетями. Еще не осела пыль — пошли танки, огромные, из клепаных листов, с задранными носами гусеничных передач. Он сосчитал их — десять стальных чудовищ, чтобы давить красную сволочь на улицах Царицына. Он рысью съехал с кургана и поскакал вдоль берега, знаменосец — за ним, на полкорпуса позади, осеняя его треплющимся черно-сизым знаменем.

Подходили и грузились в лодки новые войска, плыли паромы с возами сена и всякого войскового добра. Близ переправ стояли телеги, брички, большие фуры, на которых возят снопы с поля. Около них спокойно постаивали в ожидании переправы, похаживали почтенные станичники, иные закусывали, сидя у костров. Это были посланные станицами к своим частям — сотням и

полкам — торговые казаки. Они вели хозяйство, брали добычу — будь то деньги, скот, хлеб, фураж или всякие нужные вещи — одежда, одеяла, тюфяки-перины, зеркала, оружие; из этой добычи снабжали свои сотни фуражом и довольствием, если надобно — одеждой и оружием, а все остальное переписывали, укладывали на воза и с подростками или бабами отправляли в станицы.

Мамонтов проехал хутор Рычков, где половина дворов была сожжена и гумна чернели от пепла, и свернул вдоль железнодорожного полотна, дожидаясь, когда с правой стороны Дона подойдет бронепоезд.

Донская армия, численностью в двенадцать конных и восемь пехотных дивизий, наступала пятью колоннами.

Все пять колонн двигались стремительным маршем к последней черте оборонных укреплений Царицына. Десятая красная армия, потерявшая связь с северными и южными частями, отступала, уплотняясь на все более сужающемся фронте. Ее пять дивизий малого состава расходовали последние пули и последние силы.

Высший военный совет республики, который должен был оказать в эти дни решительную помощь Десятой армии, был парализован тайным, хорошо замаскированным предательством, — оно выражалось в крайней медлительности всех движений и в том, что царицынские дела истолковывались как второстепенные, ничего не решающие, а настроение царицынского военсовета — паническим.

Царицыну было предоставлено отбиваться от казаков своими силами.

В эти дни военсовет Десятой отдал два приказа: первый — угнать из Царицына на север все пароходы, баржи, лодки и паромы, дабы не было и мысли об отступлений войск на левый берег Волги, и — второй — по армии: с занимаемых позиций не отступать до распоряжения; отступившие подлежат расстрелу.

На батарее Телегина первая половина дня прошла спокойно. Грохотало где-то за горизонтом, но равнина была безлюдна. Моряки копали убежище. Анисья, ни-

кого не спрашивая, ушла на станцию и часа через три вернулась с двумя мешками, — едва донесла: хлебушко и арбузы. Постелила опростанные мешки на землю между пушками, нарезала хлеб, разрезала каждый арбуз на четыре части: «Ешьте!..» И сама стала в стороне, скромная, удовлетворенная, глядя, как голодные моряки уписывают арбузы. Моряки, не вытирая щек, ели, похваливали:

— Ай да Анисья!

— Дорогого стоит такую найти.

— Моря обегаешь...

Степенный и ревнивый ко всякому разговору Шарыгин сказал:

— С инициативой она, вот что дорого. — Моряки, подняв головы от арбузных ломтей, враз загрохотали. Он нахмурился, встал, взял лопату. — Предлагаю, товарищи, вырыть для Анисьи отдельное убежище, таких товарищей надо беречь, товарищи...

Моряки отсмеялись и вырыли позади батареи в овражке небольшой окопчик для Анисьи, — отсиживаться на случай обстрела. Делать больше было нечего. Сотня снарядов, выгруженных с парохода, рядками уложена около пушек. Винтовки протерты. Сапожков наладил связь с командным пунктом дивизиона. Моряки разлеглись в котловане, на солнцепеке. Теперь жалуй к нам, генерал Мамонтов.

Иван Ильич сидел на лафете, вертел, поламывая, сухой стебель. Иван Ильич не размахивался на какие-нибудь большие рассуждения, ему дорог был этот маленький мирок людей, сошедшихся из разных концов земли, не похожих друг на друга и так дружно соединивших судьбы свои. Вон — Сергей Сергеевич, уж, кажется, никаким клеем его ни с кем не склеишь, вечно ощетинен всеми мыслями, — сразу всем стал нужен; сразу обжился, устроился у колеса и посапывает. Шарыгин, — честолюбец, парень небольшого ума, но упорный, с ясной душой без светотени, — тихо спит на боку, подсунув кулак под щеку. Задуйвитер вельможно раскинулся на песке, подставив солнцу грубо сделанное, красивое лицо: мужик хитрый, смелый, расчетливый — жив будет, вернется домой хозяином. Другой богатырь, из керженских лесов, Латугин, могуче всхрапывает, прикрыв лицо бескозыркой, — этот много сложнее, без хитрости, — она ему

ни к чему, — он еще сам не знает, в какое небо карабкается с наганом и ручной гранатой...

Двенадцать человек вверили Ивану Ильичу свою жизнь. Военсовет поручил ему батарею в такой ответственный момент... Правда, он кое-что смыслил в математике, но все же следовало твердо заявить, что батареей он командовать не должен...

— Послушай, Гагин, кто-нибудь из вас умеет вычислять эти самые углы прицела? Дальномера-то у нас нет...

Гагин, стоявший на приступке, откуда через бруствер глядел в степь, обернулся.

— Дальномер? — мрачно переспросил он и уставился на Телегина черным взором. — А зачем тебе дальномер? Угол, прицел нам по телефону скажут с командного пункта.

— Ага, правильно...

— Углы, прицелы, дистанционные трубки — это мы все умеем, не в этом дело, товарищ Телегин... Бой будет страшный, без дальномеров, на злость... Кишки на руку наматывай, а бей до последнего снаряда, вот о чем думай... Иди-ка сюда, я тебе покажу.

Телегин взобрался к нему на приступку. Артиллерийская канонада усилилась, как будто приблизилась, горизонт на западе и на юге заволокло дымной мглой. Следя за пальцем Гагина, он различал на равнине ползущие с севера кучки людей и вереницы телег.

— Наши бегут, — сказал Гагин и кивнул на огромный дым, поднимающийся грибом на юге, в стороне Сарепты. — Я давно гляжу: по этому курсу тысячи, тысячи пробежали... Разрывы видишь? А давеча их не было. Из тяжелых бьет. Наутро жди сюда генерала.

Иван Ильич еще раз осмотрел хозяйство батареи. Пересчитал снаряды, патроны, — их приходилось всего по две обоймы на винтовку. Его особенно тревожило, что батарея была оголена. Саженях в двухстах отсюда виднелись свежевырытые окопчики, но в них не замечалось никакого движения, — части красных войск проходили гораздо дальше. Он присел около Сапожкова, — лицо Сергея Сергеевича было сморщенное, будто сон для него тоже не был легок.

— Сергей Сергеевич, извини, я тебя потревожу... Свяжи меня с командиром дивизиона...

Сапожков открыл мутные глаза:

— Зачем? Указания даны — не стрелять. Когда надо, скажут... Чего ты волнуешься? — Он подтянулся к колесу, зевнул, но явно притворно. — Лег бы, выспался — самое знаменитое.

Иван Ильич вернулся на приступку и долго стоял неподвижно, положив руки на бруствер. Огромное темно-оранжевое солнце садилось во мглу, поднятую где-то за горизонтом копытами бесчисленных казачьих полков. Ночная тень надвигалась на равнину, — больше уже нельзя было различить на ней движения войск. Ниже ясной вечерней звезды небо в закате стало прикидываться фантастической страной у зеленого моря, там строились китайские башни, одна отделилась и поплыла, превратилась в коня с двумя головами, стала женщиной и заломила руки...

Казалось: только вылезти из котлована — и, перебирая ногами, как бывает во сне, долетишь до этой дивной страны. Для чего же нибудь она показывается, что-нибудь она значит для тебя в час смертного боя?..

— Эх, черная галка, сизая полянка, — сказал Сергей Сергеевич, положив ему руку на спину, — это же чистый идеализм, Ванька, пялить глаза на картинки... Махорочки свернем? В госпитале украл пачку, берегу — покурить перед смертью...

Он, как всегда, говорил насмешливо, хотя в горьких морщинах у рта, в несвежих глазах затаилась тоска. Свернули, закурили: Телегин — не затягиваясь, Сапожков — вдыхая дым со всхлипом.

— Ты что похоронную-то запел? — тихо спросил Телегин.

— Смерти стал бояться... Пули в голову боюсь; в другое место — не убьет, а в голову боюсь. Голова — не мишень, для другого сделана. Мыслей своих жалко...

— Все мы боимся, Сергей Сергеевич, — думать об этом только не следует...

— А ты когда-нибудь интересовался моими мыслями? Сапожков — анархист, Сапожков спирт хлещет, — вот что ты знаешь... Тебя я, как стеклянного, вижу до последней извилинки, от тебя живым людям я передам записочку, а ты от меня записочки не передашь... И это очень жаль... Эх, завидую я тебе, Ванька.

— Чего же, собственно, мне завидовать?

— Ты — на ладошке: долг, преданная любовь и самокритика. Честнейший служака и добрейший парень. И жена тебя будет обожать, когда перебесится. И потому еще тебе жизнь легка, что ты старомодный тип...

— Вот спасибо за аттестацию.

— А я, Ванька, жалею, что тогда летом Гымза меня не расстрелял... Революции ждали, дрожа от нетерпения... Вышвырнули в мир кучу идей: вот он — золотой век философии, высшей свободы! И — катастрофа, катастрофа самая ужасная, распротак твою разэдак...

Он шлепнул себя ладонью по глазам так, что фуражка съехала на затылок.

— Хотел по этому поводу сделать сообщение человечеству — никак не меньшей аудитории, — сообщение исключительно злое, и не для пользы, — к черту ее, — а для зла... Но рукописи нет, не написал еще... Извиняюсь...

Было уже темно. По горизонту разгорались пожары, дымно-багровые зарева вскидывались все выше и шире, в особенности на юге, в стороне Сарепты. Горели хутора, освещая путь быстро наступающему врагу. Телегин слушал теперь одним ухом, — далеко, прямо на западе, как будто змеи высовывали светящиеся головы из-за горизонта, поднимались зеленые ракеты по три враз.

Сергей Сергеевич, упрямо не желая замечать всей этой иллюминации, говорил вздрагивающим голосом, от которого Ивана Ильича нет-нет да продирали мурашки.

— Или мы живем только для того, чтобы есть? Тогда пускай пуля размозжит мне башку, и мой мозг, который я совершенно ошибочно считал равновеликим всей вселенной, разлетится, как пузырь из мыльной пены... Жизнь, видишь ли, это цикл углерода, плюс цикл азота, плюс еще какой-то дряни... Из молекул простых создаются сложные, очень сложные, затем — ужасно сложные... Затем — крак! Углерод, азот и прочая дрянь начинают распадаться до простейшего состояния. И все. И все, Ванька... При чем же тут революция?

— Что ты несешь, Сергей Сергеевич? Революция именно и поднимает человека над обыденщиной...

— Оставь меня в покое! Да я и не с тобой разговариваю, много ты понимаешь в революции. Она кончена... Она раздавлена, — гляди вперед носа... Советская Рос-

сия уже сейчас — в пределах до Ивана Грозного... Скоро все дороги будут белы от костей.. И будут торжествовать циклы углерода и азота — вот те самые, что придут сюда утром на конях...

Телегин молчал, стоя прямо, руки за спиной, — в темноте трудно было разобрать его лицо, красноватое от зарева.

— Иван... Жить стоит только ради фантастического будущего, великой и окончательной свободы, когда каждому человеку никто и ничто не мешает сознавать себя равновеликим всей вселенной... Сколько вечеров мы разговаривали об этом с моими ребятами! Звезды были над нами те же, что при великом Гомере. Костры горели те же, что освещали путь сквозь тысячелетия. Ребята слушали о будущем и верили мне, в глазах их отсвечивали звезды, и на боевых штыках отсвечивал огонь костров... Они все лежат в степях... Мой полк я не привел к победе... Значит, обманул!

Справа, шагах в полутораста, послышался сторожевой окрик и затем негромкий разговор. Телегин обернулся, всматриваясь, — должно быть, к Гагину, стоящему с той стороны в охранении, кто-то подошел из своих.

— Иван, а если это будущее — только волшебная сказка, рассказанная в российских глухих степях? Если оно не состоится? Если так, тогда в мир входит ужас. — Сапожков вплотную придвинулся и заговорил шепотом: — Ужас пришел, никто по-настоящему еще не верит этому. Ужас только примеряется к силе сопротивления. Четыре года истребления человечества — пустяки в сравнении с тем, что готовится. Истребление революции у нас и во всем мире — вот основное... И тогда — всеобщая, поголовная мобилизация личностей, — обритые лбы и жестянки на руке... И над серым пепелищем мира — раздутый, торжествующий ужас... Так лучше уж я сразу погибну от горячего удара казацкой шашки...

— Да, Сергей Сергеевич, тебе надо отдохнуть, полечиться, — сказал Телегин.

— Другого ответа от тебя и не ждал!..

В котлован спустился Гагин вместе с каким-то высоким сутуловатым военным. Телегин несказанно обрадовался — кончить невыносимо тяжелый разговор. Подошедший человек, весь облепленный грязью, с оторван-

ной полой шинели и почему-то в казацком картузе, сказал так густо, точно он неделю просидел по шею в болоте.

— Здорово, товарищ командир, ну, как у вас дела, снаряды имеются?

— Здорово, — ответил Телегин, — а вы кто такие?

— Качалинского полка — рота, приказано перед вами занять позицию. Я командир.

— Очень приятно. А я тревожился, — окопчики-то вырыты, а охраны-то у нас нет...

— Вот мы их и заняли. Мы тут раненых привезли, грузим в эшелон. У коменданта хлеба хотел попросить, говорит — весь, утром будет... Легко сказать — утром, — рота третий день не ела... У вас-то нет? Хоть по кусочку, запах-то его услыхать... Завтра бы отдали... А то можем коровенку вам подарить.

— Иван Ильич... — Телегин обернулся, Анисья, как тень, подошла и слушала. — Хлебушка я на три дня запасла, — можно им дать... Завтра опять достану...

Телегин усмехнулся:

— Хорошо, выдайте товарищу ротному четыре каравая...

Ротный не ждал, что так легко дадут ему хлеб. «Ну? — спросил. — Вот спасибо». И, взяв принесенные Анисьей хлебы — плотно под обе руки, засовестился сразу уйти с ними. Подошли моряки, поеживаясь со сна и разглядывая такого запачканного и ободранного человека. Он стал им говорить про подвиги полка, десять дней выходившего из окружения, не потерявшего ни одного орудия, ни одной телеги с ранеными, но рассказывал до того отрывочно и неясно, что кое-кто из моряков, махнув рукой, отошел.

Латугин сказал, холодно глядя на него:

— Ты выспись, тогда расскажешь... А вот не знаешь ли, почему там яркое освещение? — И он протянул ладонь в сторону Сарепты.

— Знаю, — ответил Иван Гора, — на вокзале встретил одного человека оттуда... Генерал Денисов штурмует Сарепту. Говорит — в германскую войну такого огня не было, артиллерия начисто метет. Казачьи лавы напускают из оврагов, ну, — ужас, — аж бороды у них в пене... Ну, такое крошево, — живых не берут... От морозовской дивизии половина осталась. А он — видишь ты —

к Волге жмет, чтоб ему промеж Сарептой и Чапурниками к Волге выскочить, — тогда аминь!

Он кивнул морякам и полез из котлована, Телегин спросил его:

— Кто у вас командует полком?

Иван Гора ответил уже из темноты:

— Мельшин Петр Николаевич...

6

Под натиском пятой колонны всю ночь и следующий день морозовская дивизия медленно отступала к Сарепте и к приозерному селу Чапурники. Сотни трупов лежали на равнине. Генерал Денисов не давал красным перевести дыхания. За каждой отбитой атакой немедленно начиналась новая. Над окопами лопалась и визжала шрапнель; землю сотрясали взрывы, бойцов заваливало вихрями земли. Смолкали казачьи пушки, бойцы высовывали из окопа лица, искаженные злобой, болью, вымазанные кровью...

Из-за холмов, из оврагов появились густые кучи всадников, на скаку раскидывались лавой, — пыль у них курилась под копытами... Крутя клинками, визжали они, по древнему татарскому обычаю. Дрогни тут, побеги хоть один боец в ужасе перед налетающей лавой рыжих грудастых коней и черных всадников, вытянувшихся над гривами в стремительном движении — поскорее напоить горячей кровью клинок, — цепь бойцов сбита, зарублена, затоптана...

Фланги морозовцев, прижатые к садам Сарепты и к гумнам села Чапурники, держались стойко, но центр прогибался к Волге, — так же неумолимо, как разгибаются мускулы руки, когда навалившаяся тяжесть свыше силы. Начдив, вместе с комиссаром, адъютантом и вестовыми, сидевшими на корточках у поваленных верховых лошадей, находился здесь же, в центре, на передовых линиях. Убитых и раненых он замещал все более жидкими пополнениями, снимаемыми с флангов. Но резервов он не требовал у командарма: в Царицыне взять больше было нечего.

Там сегодня утром на главной линии обороны случилось несчастье: два полка, Первый и Второй крестьян-

ские, мобилизованные по хуторам и ближним селам, неожиданно вылезли из окопов и, подняв над головами винтовки, пошли сдаваться в плен белым. В штабе Первого полка несколько командиров, собравшись у походной кухни, окружили полкового комиссара и коммунистов и в упор расстреляли их. В тот же час и во Втором полку были застрелены командир, комиссар и несколько коммунистов. Только две роты не поддались провокации и открыли огонь по изменникам, бегущим в плен с белыми флагами. Цепи мамонтовцев, издали увидев эти толпы, приняли их за атакующих и открыли отчаянную стрельбу по ним. Остатки двух крестьянских полков, заметавшись, бросая оружие, повернули назад. Их окружили и увели. Фронт почти на пять верст оказался открытым.

В Царицыне тревожно заревели гудки на оружейном, механическом и всех лесопильных заводах. Коммунисты, посланные военсоветом, обходя цеха, говорили:

— Товарищи, бросайте работу, берите оружие, спасай фронт.

Рабочие — а на заводах оставались пожилые, каленые да подростки — бросали работу, прятали инструменты, останавливали станки, гасили горны и бежали в пакгаузы, где хранилось их именное оружие. За воротами строились и шли на вокзал.

Из окраинных домишек выбегали жены и матери, совали им в руки узелки с едой, и много женщин шло за нестройно шагающими отрядами до вокзала, и многие провожали дальше, до самых позиций. И там матери и жены долго еще стояли на буграх, покуда не подъехал командарм и, прикладывая руку к душе, жалостно просил идти домой, потому что здесь они не нужны и даже мешают, — изображая собой на буграх отлично различимую цель для наводчиков мамонтовской артиллерии.

Еще до конца дня три тысячи царицынских рабочих заслонили прорыв на фронте, куда уже начали вливаться белые, и с тяжелыми для себя потерями отбросили их.

Это было в часы, когда морозовская дивизия выдерживала небывалый по отчаянности натиск кавалерии и пехоты. Центр дивизии был оттеснен почти к самой Волге. Снаряды уже рвались на улицах Сарепты. Село Ча-

пурники занялось, и пламя гуляло по соломенным крышам, горели камыши по берегам плоского степного озера.

Начдив оглядывал в бинокль равнину. Солнце было уже на ущербе. Он видел, как съезжались и разъезжались казачьи сотни, перестраиваясь открыто и нагло. Опытным глазом он определил по бойкости коней, что это — свежие части, готовившиеся к последней атаке. Видимо, к закату солнца уже вся морозовская дивизия пойдет суровым маршем по полям истории во главе со своим начдивом.

Он опустил бинокль, вынул почерневшую трубочку, не спеша насыпал в нее щепоть саратовской махорки, стал искать спичек, хлопая себя по карманам шинели. Спичек не было. Он поглядел направо и налево, — в нескольких шагах впереди него лежали перед накиданными кучками земли бойцы: у одного расплывалось на боку по суконной рубахе черное пятно, другой хрипел, как дурной, трясь щекой о ложе винтовки.

Начдив осторожно бросил трубочку на землю, она закатилась в полынь. Снова взялся за бинокль. И руки его невольно задрожали...

На юго-западе были видны новые огромные скопления конницы... Она откуда-то взялась, пока он набивал трубочку... Много тысяч всадников выезжало из-за холмов, поднимая пыль, озаренную косым солнцем. Этакая силища одним махом сомнет и потопчет!.. Начдив на мгновение оторвался от бинокля. В окопах все замерло, все насторожилось, бойцы поднялись, стоя во весь рост, сжимая винтовки. Начдив не успел раскрыть и рта, чтобы сказать им горячее слово, — издалека докатился грохот орудий. Начдив снова прилип к биноклю. Что за чертовщина! Десятка два разрывов взметнулось на равнине вблизи съезжающихся казачьих сотен... Казачьи сотни на рысях быстро разворачивались в лаву, — в ее гуще плеснуло атаманское знамя. Казаки поворачивали навстречу этим мчавшимся с холмов конным массам... Плотная казачья лава, ощетиненная пиками, пятилась, строилась и враз послала коней, — две лавы, эта и та, с холмов, сближались и сошлись... Огромная туча пыли встала над этим местом...

Начдив повел биноклем ближе и увидел, как панически поднимаются залегшие цепи пластунов...

«Эге, — сказал сам себе начдив, — значит, вот почему предвоенсовета так нажимал по телефону, чтоб нам держаться до последней крови... Так то ж подошла Стальная дивизия Дмитрия Жлобы...»

Вслед за конницей, налетевшей на казаков, поднялись из-за холмов густые ряды стрелковых цепей Стальной дивизии. А дальше, на самом горизонте, уже виднелись сквозь пыль — верблюды, телеги, толпы народа. Это были огромные обозы дивизии, тащившей за собой, как вскоре выяснилось, десятки тысяч пудов пшеницы, бочки со спиртом, сотни беженцев, стада коров и овец...

Много казаков легло в этом бою. Разбитая белая конница ушла на запад, пехота, заметавшись между цепями Стальной дивизии и морозовцами, частью была побита, частью сдалась. Когда все кончилось, — а бой длился около часу, — начдив сел на коня и шагом поехал по равнине, усеянной павшими людьми и конями. Еще кое-где дымилась земля и стонали неподобранные раненые. Навстречу начдиву выехала группа всадников. Передний из них, одетый по-кубански, с газырями, с большим кинжалом на животе и башлыком за плечами, загорячил вороного коня, подскакал к начдиву и, осадив, сказал резким повелительным голосом:

— Бывайте здоровы, товарищ, с кем я говорю?

— Вы говорите с начальником морозовско-донской дивизии, здравствуйте, товарищ, а вы кто будете?

— Кто буду я? — усмехаясь, ответил всадник. — Вглядись. Буду я тот самый, кого главком Одиннадцатой объявил вне закона и хотел расстрелять в Невинномысской, а я — видишь — пришел в Царицын, да, кажется, вовремя.

Начдиву не слишком понравилась такая длинная и хвастливая речь; нахмурясь, он сказал:

— Значит, вы будете Дмитрий Жлоба...

— Так будто меня звали с детства. А ну, укажи, — где мне здесь поговорить по телефону с военсоветом.

— Я уже говорил, военсовету все известно.

— А на что мне, что ты говорил, мой голос пускай послушают, — надменно ответил Дмитрий Жлоба и так толкнул коня, что вороной жеребец сиганул, как бешеный.

7

Тогда же, поздно вечером, Иван Ильич послал полковнику Мельшину записку: «Петр Николаевич, я здесь, очень хочу тебя видеть...» Мельшин ответил с тем же посланным: «Очень рад, управлюсь — приду, много есть чего порассказать... Между прочим, здесь твоя...»

Но карандаш ли у него сломался, или писал впотьмах, только Иван Ильич не разобрал последних слов, хотя и сжег несколько спичек...

Мельшин так и не пришел. После полуночи степь начала освещаться ракетами. На батарее был получен приказ — приготовиться.

— Ну вот, товарищи, надо считать, что начинается,— сказал Иван Ильич команде. — Значит, давайте стараться, чтобы уж ни один снаряд не разорвался даром... И еще, значит, вам известен приказ командарма, чтобы без особого распоряжения ни на шаг не отступать. В бою всякое бывает, значит... («Вот черт, — подумал, — что ко мне привязалось это «значит».) В пятнадцатом году у нас в тылу ставили пулеметы, генералы не надеялись, что мужичок всю кровь отдаст за царя-батюшку... Хотя, надо сказать, уж как, бывало, в окопах честят Николашку, а Россия все-таки своя... Страшнее русских штыковых атак ничего в ту войну не было...

— Командир, ты чего нам поешь-то? — вдруг сипло спросил Латугин. — К чему? Ну?

Иван Ильич, — будто не услышав это:

— Нынче за нашей спиной пулеметов нет... Страшнее смерти для каждого из нас — продать революцию, значит — чтоб своя шкура осталась без дырок... Вот как надо понимать приказ командарма: чтобы не ослабеть в решающий час, когда земля закипит под тобой. Говорят, есть люди без страха, — пустое это... Страх живет, головочку поднимает, — а ты ему головочку сверни... Позор сильнее страха. А говорю я к тому, товарищ Латугин, что у нас есть товарищи, еще не испытавшие себя в серьезных боях... И есть товарищи с больными нервами... Бывает, самый опытный человек вдруг растерялся... Так вот, если я, командир, ослабел, скажем, пошел с батареи, — приказываю застрелить меня на месте... И я, со своей стороны, застрелю такого, значит... Ну, вот и все... Курить до света запрещаю...

Он опять кашлянул и некоторое время шагал позади орудий. Хотел сказать много, а как-то не вышло...

— Разговаривать не запрещаю, товарищи...

— Товарищ Телегин, — позвал опять Латугин, и Иван Ильич подошел к нему, заложив за спину руки. — Вот еще до военной службы походил я по людям... Гол и бос и неуживчив — и на пристанях грузчиком, и по купцам дрова рубил, нужники чистил, у архиерея был конюхом, да поругался с его преосвященством из-за пустых щей... С ворами одно время связался... Всего видал! Ох, и дурак же был, драчун; бивали меня пьяного, мало сказать, что до полусмерти...

— Из-за баб, надо понимать,— сказал Байков, и слабый свет далеко лопнувшей ракеты осветил его мелкие зубы в густой бороде...

— Из-за баб тоже бивали... Не к тому речь. А вот к чему: ты, товарищ Телегин, нам не то сказал, — вокруг да около, а не самую суть... Революционный долг, — ну, что ж, правильно. А вот почему долг этот мы на себя приняли добровольно? Вот ты на это ответь? Не можешь? Другую пищу ел. А нас в трех щелоках вываривали, душу из нас вытряхивали — уж, кажется, ни одно животное такого безобразия не вытерпит... Да ты бы на нашем месте давно, как мерин, губу повесил и тянул хомут. Постой, не обижайся, мы разговариваем по-человечески. Почему моя мать всю жизнь шаталась по людям? Чем она хуже королевы греческой?

— Ой, загнул! — опять перебил Байков. — В тринадцатом году мы королеву греческую видали в Афинах, чего ж ты ее вспомнил?..

— Почему мой батька жил как свинья и пришибли его стражники в поле да еще плюнули? Почему звание мое — сукин сын?

— Так не годится,— проговорил Шарыгин, приподнимаясь с колен, — сидел он на своем месте у снарядов.— Латугин, неорганизованный разговор ведешь. При чем тут — сукин сын, при чем — королева греческая? Это все надстройка. А суть в классовой борьбе. Ты должен себя определить — кто ты: пролетарий или ты деклассированный элемент...

— А ну тебя к черту! Я царь природы,— крикнул ему Латугин. — Понятно это тебе или ты еще молод?.. Прочел я одну книжку, там сказано: человек — царь при-

роды. Вот отчего я стою у этого орудия. Жив в нас царь природы. Долг, долг, страх, страх! Я в господа бога тарарахну сегодня очередь, не то что по генералу Мамонтову, — вот тебе и надстройка! Зубами хрящи буду перегрызать...

— Тихо, товарищи! — крикнул из перекрытия Сергей Сергеевич, сидевший у полевого телефона. — Сообщаю: под Сарептой у нас большой успех. Разбиты два полка кавалерии и полк пластунов, полторы тысячи убиты, восемьсот пленных...

Слух об успехе под Сарептой облетел фронт. Одна из частей Десятой армии, отрезанная наступлением пятой колонны, — конная бригада Буденного, — пробивалась в то время из Сальских степей на Царицын. Поход был тяжелый, и люди и кони притомились. А когда на одном из полустанков нечаянно удалось соединиться по телефону со штабом морозовцев и чей-то веселый голос, пересыпая речь крепкой солью приговорок, гаркнул в трубку: «Так что же вы спите, не знаете, что под Сарептой изрубили в собачье крошево две кавалерийских дивизии гадов, приходите пленных считать...» — услышав про такое знаменитое дело, хотя бы даже и сильно преувеличенное, бригада оставила под охраной свои обозы и стоверстным маршем пошла на север — навстречу гадам генерала Денисова.

Но успех под Сарептой все же был местный, и на главных царицынских позициях не стало от этого легче, а стало труднее. Мамонтов со всей быстротой учел счастливый случай с двумя крестьянскими полками, в ночь перестроил штурмовые колонны и с зарей все напряжение атак перенес на этот наиболее уязвимый пятиверстный участок фронта, жидко заслоненный рабочими дружинами.

Равнину, по которой наступал цвет донского войска, прорезали с запада на восток два огромных глубоких оврага, — они пересекали фронт и тянулись до самого города. По ним-то казачья конница стала подбираться вплотную к красным окопам. Вся равнина, как муравейниками, была покрыта кучечками земли: это ползла пехота. Перед нею взад и вперед слепыми гусеницами двигались огромные танки. Аэропланы кружились над батареями, над вереницами обозов, тянущихся по степи из

Царицына и в Царицын, сбрасывали небольшие грушевидные бомбы, рвущиеся с ужасающей силой.

Бронепоезд Мамонтова дымил на горизонте. Справа и слева от него вся степь полнилась телегами станичников. Теснясь ось к оси, они двигались вплотную за войсками. Торговым казакам уже был виден город с куполами, фабричными трубами и дымами пожаров на окраинах. Ох, и глаза ж горели под насупленными бровями у этих дымом, салом и дегтем пропахших людей.

Над степью, надавливая воздух, неслись снаряды и с грохотом опоясывали красные укрепления взметающимися и падающими фонтанами земли. Из глубоких оврагов, с визгом выносилась конница и, не глядя ни на что, шла через проволоки на окопы с такой пьяной яростью, что иного казака уже шлепнула пуля и в глазах — смертная тьма, а он все еще на скаку режет воздух шашкой, покуда не завалится в седле и, вскинув руки, будто от бешеного смеха, покатится с шарахнувшегося коня.

Пехотные цепи, подползая, кидались вперед. У красных окопов мешались в схватке конные и пешие. Мамонтов в этот день всем казакам приказал повязать белые ленточки на околыши фуражек, чтобы сгоряча свои не рубили своих. И тем страшнее, упорнее был бой, что с обеих сторон дрались русские люди... Одни — за неведомую новую жизнь, другие — за то, чтоб старое стояло нерушимо.

И каждый раз волны атак отливали, отброшенные красными бронелетучками. Эти оборудованные наспех на царицынских заводах бронепоезда, — из двух бензиновых цистерн или из двух товарных платформ с паровозом посредине, — курсировали по окружной дороге частью впереди, частью позади фронта. С пулеметами и пушками они врезались порой в самую гущу свалки. Выжимая из старых паровозов-кукушек последние силы, они сквозь взрывы, в облаках пара из простреленных паровозных боков, носились по развороченным путям, развозя в окопы воду, хлеб и огнеприпасы.

— Ложись!

Рядом рвануло так, что свет потемнел и тело вдавило, и сейчас же по спинам, по головам, обхваченным руками, забарабанили падающие комья.

— К орудию... По местам! — кричал Телегин, вскакивая и смутно сквозь пыль различая задранную одним колесом кверху пушку и людей, злобно подскочивших к ней... «Все целы — Латугин, Байков, Гагин, Задуйвитер... нет Шарыгина... здесь... цел... Второе орудие в порядке, — Печенкин, Власов, Иванов... головой мотает...»

— Левее, шесть восемьдесят, прицел шесть ноль, батарея, огонь! — хрипел Сапожков, высовываясь с телефонной трубкой из завалившегося прикрытия.

Кашляя пылью, Телегин повторял команду. Шарыгин кидал снаряд Байкову, тот осматривал взрыватель и перебрасывал заряжавшему — Гагину, Задуйвитер откидывал замок, Латугин, устанавливая наводку, поднимал руку.

— Огонь...

Стволы орудий дергались, снаряды уносились... Торопливые движения людей замирали, как в остановленной киноленте... Так и есть, — снова метнулась свирепая тень — молния в землю, рядом.

— Ложись!

И все повторялось — грохот, вихрь земли, удушье... Злоба была такая, — жилы, кажется, лопнут... Но что можно было сделать, когда с той стороны снарядов не жалели, а здесь оставалось их — счетом, и на дивизионном наблюдательном пункте сидел слепой черт, не мог как следует нащупать тяжелую батарею...

На этот раз ранило Латугина. Он сидел, скрипя зубами. Около него мягко и проворно двигалась Анисья, — непонятно, куда она пряталась, откуда появлялась, — живо стащила с него бушлат, тельник, перевязала плечо. «Батюшка, — сказала она, присев на корточки перед его глазами, — батюшка, пойдем, я сведу на пункт». Он, голый по пояс, окровавленный, ощеренный, будто действительно грыз хрящи, оттолкнул Анисью, кинулся к орудию.

Наконец случилось то, чего нестерпимо ждала злоба, томившая всех уже много часов с начала этого неравного артиллерийского поединка. Сапожков только что сообщил на запрос командиру дивизиона о количестве оставшихся снарядов и ждал ответа; грязные слезы из воспаленных глаз его ползли по лицу, время от времени он отнимал от уха телефонную чашку и дул в нее. В самом воздухе внезапно что-то произошло: наступила

тишина и загудела в ушных перепонках. Телегин, обеспокоенный, полез животом на бруствер, и — как раз вовремя... Началась решительная всеобщая атака. Простым глазом можно было различить темные массы казачьей кавалерии и пехоты и кое-где среди них — блеск золотых хоругвей, — это подвезенные на автомобилях попы благословляли войско в открытом поле, на виду у красных батарей...

Моряки тоже вылезли — животами на бруствер. Дышали тяжело. Байков сказал, чтобы насмешить:

— Эх, по ангелам прямой бы наводкой.

Никто не засмеялся. Латугин сказал резко, повелительно:

— Командир, давай выкатывать орудия на открытое, — что мы тут, как крысы, в яме...

— Без упряжек не справиться, Латугин.

— Справимся...

— Не смеешь, не смеешь ты в бою спорить с командиром, это анархия, — закричал Шарыгин до того неожиданно, некрасиво, по-ребячьему, что моряки угрюмо оглянулись на него. Он схватил в обе горсти песку и начал тереть себе лицо изо всей силы. Вернулся на место, на номер, и стал неподвижно, только большие ресницы его дрожали над натертыми щеками.

Телегин слез с бруствера, подошел к пушке, тронул ее за колесо.

— Латугин внес правильное предложение, товарищи... На всякий случай давайте-ка здесь раскидаем землю.

Моряки, до этого следившие за его движениями, молча кинулись к лопатам и начали раскидывать уступ в котловане в том месте, где легче всего можно вытащить орудие на открытое место.

— Телегин, — надрывая осипшее горло, закричал Сапожков, — Телегин, командир спрашивает — возможно ли своими силами выкатить орудия на открытое?

— Ответь: возможно.

Телегин сказал это спокойно и уверенно. Латугин, работая лопатой, хотя нестерпимо жгло и ломило раненое плечо и кровь сочилась сквозь повязку, толкнул локтем Байкова:

— Люблю антилигентов. А?

Байков ответил:

— Поучатся еще решетом воду носить, кое-чему у мужика и научатся.

Внезапно тишина разодралась грохотом ураганного огня. Телегин кинулся к брустверу. Равнина вся наполнилась движущимися войсками. Справа — наперерез им — по невысокому полотну, завывая, дымя, выбрасывая ржавые дымки, неслись бронелетучки прославившегося в этот день командира Алябьева. Внимание Ивана Ильича было сосредоточено на ближайшем прикрытии — роте качалинского полка, лежавшей за проволокой даже не в окопах, а в ямках. Только что им повезли бочку с водой. Лошадь забилась, повернула, опрокинула бочку и умчалась с передками. Телегин увидел вчерашнего чудака-верзилу Ивана Гору. Он, точно вприсядку, бегал на карачках вдоль окопов,— должно быть, раздавал патроны — по последней обойме на стрелка...

Левее расположения роты (и телегинской батареи), ближе, чем в полуверсте, залегал тот самый овраг, прорезавший фронт до самого города. Весь день овраг был под обстрелом, и казачьи лавы выносились из него далеко отсюда. Сейчас Иван Ильич, следя за особенной тревогой бойцов Ивана Горы, понял, что казаки непременно должны пробраться оврагом поглубже — атаковать окопы с тылу и батарею с фланга и наделать неприятностей. Так и случилось...

Из оврага, совсем близ укреплений, вынеслись всадники, раскинулись, — часть их стала поворачивать в тыл Ивану Горе, другие мчались на батарею. Телегин кинулся к орудиям. Моряки, сопя и матерясь, вытаскивали пушку из котлована на бугор, колеса ее увязли в песке.

— Казаки! — как можно спокойнее сказал Телегин.— Навались! — И схватился за колесо так, что затрещала спина. — Живо, картечь!

Уже слышался казачий дикий визг, точно с них с живых драли кожу. Гагин лег под лафет и приподнял его на плечах: «Давай дружно!» Пушку выдернули из песка, и она уже стояла на бугре, криво завалясь, опустив дуло. Гагин взял в большие руки снаряд и, будто даже не спеша, всадил его в орудие. Всадников тридцать, нагнувшись к гривам, крутя шашками, скакало на батарею. Когда навстречу им вылетело длинное пламя и визгнула картечь, — несколько лошадей взвилось, другие

повернули, но десяток всадников, не в силах сдержать коней, вылетел на бугор.

Тут-то и разрядилась накипевшая злоба. Голый по пояс Латугин, хрипло вскрикнув, первый кинулся с кривым кинжалом-бебутом и всадил его под наборный пояс в черный казачий бешмет... Задуйвитер попал под коня, с досадой распорол ему брюхо и, не успел всадник соскользнуть на землю, ударил и его бебутом. Гагин, уклонясь от удара шашки, схватился в обнимку с дюжим хорунжим, — новгородец с донцом, — стащил его с коня, опрокинул и закостенел на нем. Другие из команды, стоя за прикрытием орудия, стреляли из карабинов. Телегин замедленно-спокойно, как всегда у него бывало в таких происшествиях (переживания начинались потом уже, задним числом), нажимал гашетку револьвера, закрытого на предохранитель. Схватка была коротка, четверо казаков осталось лежать на бугре, двое, спешенных, побежали было и упали под выстрелами.

Последняя атака отхлынула так же, как прежние в этот день. Не удалось прорвать красный фронт, — лишь в одном, самом уязвимом, месте цепи пластунов глубоко вклинились между двумя красными дивизиями. Наступал вечер. Раскалились жерла пушек, примахались кони, отупела злоба у конницы, и пехоту все труднее стало поднимать из-за прикрытий. Бой окончился, затихали выстрелы на опустевшей равнине, где лишь ползали санитары, подбирая раненых.

На батареи и в окопы потянулись бочки с водой и телеги с хлебом и арбузами, — на обратном пути они захватывали раненых. Потери во всех частях Десятой армии были ужасающие. Но страшнее потерь было то, что за этот день пришлось израсходовать все резервы, — город ничего уже больше дать не мог.

В классный вагон, стоявший позади станции Воропоново, вернулся командарм. Он медленно слез с коня, взглянул на подошедших к нему начальника артиллерии армии — того рослого, румяного, бородатого человека, приезжавшего разговаривать с интеллигенцией на телегинскую батарею, — на взбудораженного, похожего на студента, вернувшегося с баррикад начальника бронепоездов Алябьева. Оба товарища ответили ему на взгляд улыбками: они рады были его возвращению с передовых линий, где командарму пришлось несколько раз

в этот день участвовать в штыковых атаках. Бекеша его была прострелена, и ложе карабина, висевшего на плече, раздроблено.

Командарм пошел в салон-вагон и там попросил воды. Он выпил несколько кружек и попросил папиросу. Закурил, — сухие глаза его затуманились, он положил папиросу на край стола, придвинул к себе листки сводок и наклонился над ними. Да... Потери тяжелы, чрезмерно тяжелы, и огнеприпасов на завтра оставалось мало, отчаянно мало. Он развернул карту, и все трое нагнулись над ней. Командарм медленно повел огрызком карандаша линию, — она лишь кое-где изломилась за этот день, но незначительно, а под Сарептой далеко даже загнулась к белым; но на том участке, где вчера произошла неприятность с крестьянскими полками, линия фронта круто поворачивала к Царицыну. Все медленнее двигался карандаш командарма. «А ну-ка, — сказал он, — проверим еще...» Сводки были точны. Карандаш остановился в семи верстах от Царицына, как раз по руслу оврага, и так же круто повернул обратно, к западу. Получался клин. Командарм бросил карандаш на карту и тылом ладони ударил по этому клину:

— Это все решает.

Начальник артиллерии, насупясь в бороду и отведя глаза, сказал упрямо:

— Берусь сгрызть этот клин, подкинь за ночь снарядов.

Начальник бронепоездов сказал:

— Настроение в частях боевое: поедят, поспят часок-другой, — выдержим.

— Выдержать мало, — ответил командарм, — надо разбить, а линия фронта для этого неблагоприятна. Скажи, паровоз прицеплен? Ладно, я еду... — Он сидел еще с минуту, скованный усталостью, поднялся и обнял за плечи товарищей:

— Ну, счастливо...

Начальник артиллерии и начальник бронепоездов вернулись на наблюдательный пункт, на одиноко торчащую железнодорожную водокачку, которую весь день усиленно обстреливали с земли и воздуха. Поднявшись наверх, где помещались телефоны, они нашли принесенный

им ужин: два ломтя черствого хлеба и на двоих половину недозрелого арбуза. Начальник артиллерии был человек полнокровный и жизнерадостный, и такой скудный рацион его огорчил.

— Дрянь арбуз, — говорил он, стоя у отверстия, проломанного в кирпичной стене, — если арбуз режут ножиком, это уже не арбуз, — арбуз нужно колоть кулаком. — Выплевывая косточки, прищуриваясь, он поглядывал на равнину, видную, как на ладони, под закатным солнцем. — Горячих галушек миску, вот это было бы сытно. А как ты думаешь, Василий, ведь похоже на то, что в ночь будет приказ — отступить...

— То есть как отступить? Отдать окружную дорогу? Да ты в уме?

— А ты был в уме, когда допустил прорыв, — чего дремали твои бронелетучки?

Начальник артиллерии, разговаривая, нет-нет да и подносил к глазу два раздвинутых пальца или вынимал из кармана спичечную коробку и, держа ее в вытянутой руке, определял углы и дистанции с точностью до полусотни шагов.

— Да у них же саперы специально шли за цепями и успели подорвать путь в десяти местах.

— И все-таки клина нельзя было допустить, — упрямо повторил начальник артиллерии. — Слушай, взгляника, ты ничего не замечаешь?

Только острый, наметанный глаз мог бы заметить, что на бурой равнине, уходящей на запад, не было безлюдно и спокойно, но происходило какое-то осторожное движение. Все неровности земли, все бугорки, похожие на тысячи муравьиных куч, отбрасывали длинные тени, и некоторые из этих теней медленно перемещались.

— Сменяются цепи, — сказал начальник артиллерии. — Ползут, красавцы... Возьми-ка бинокль... Замечаешь, как будто поблескивают полосочки?..

— Вижу ясно... Офицерские погоны...

— Это понятно, что офицерские погоны поблескивают... Ух, как поползли, мать честная, гляди, как пауки!.. Что-то много офицерских погонов... Других и не видно...

— Да, странно...

— Третьего дня Сталин предупреждал, чтоб мы этого ждали... Вот, пожалуй, они самые и есть...

Алябьев взглянул на него. Снял картуз, провел ногтями по черепу, взъерошив слипшиеся от пота волосы, серые глаза его погасли, он опустил голову.

— Да, — сказал, — понятно, почему они так рано сегодня успокоились... Этого надо было ждать... Это будет трудно...

Он быстро сел к телефону и начал названивать. Затем надвинул картуз и скатился по винтовой лестнице.

Начальник артиллерии наблюдал за равниной, покуда не село солнце. Тогда он позвонил в военсовет и сказал тихо и внятно в трубку:

— На фронте офицерская бригада сменяет пластунов, товарищ Сталин.

На это ему ответили:

— Знаю. Скоро ждите пакет.

Действительно, скоро послышался треск мотоцикла. По скрипучей лестнице затопали шаги, в люк едва пролез мужчина, весь в черной коже. Начальник артиллерии был не мал ростом, а этот мотоциклист — навис над ним:

— Где здесь начальник артиллерии армии?

И, услышав: «Это я», — мотоциклист потребовал еще и удостоверение, чиркнул спичку и читал, покуда она не догорела до ногтей. Тогда только он с величайшей подозрительностью вручил пакет и затопал вниз.

В пакете лежала половинка четвертушки желтой бугристой бумаги, на ней рукой предвоенсовета было написано:

«Приказываю вам в ночь до рассвета сосредоточить все («все» было подчеркнуто) наличие артиллерии и боеприпасов на пятиверстном участке в районе Воропоново — Садовая. Передвижение произвести по возможности незаметно для врага».

Начальник артиллерии читал и перечитывал неожиданный и страшный приказ. Он был более чем рискован, выполнение его — неимоверно трудно, он означал: сосредоточить на крошечном участке (в районе прорыва) все двадцать семь батарей — двести орудий... А если противник не пожелает полезть именно на это место, а ударит правее, или левее, или, что еще опаснее, — по флангам, на Сарепту и Гумрак? Тогда — окружение, разгром!..

В глубоком душевном расстройстве начальник артиллерии сел к телефонам и начал вызывать командиров

дивизионов, давая им указания — по каким дорогам идти и в какие места передвигать все огромное и громоздкое хозяйство: тысячи людей, коней, двуколок, телег, палаток — все это надо было нагрузить, отправить, передвинуть, разгрузить, поставить на место, окопать орудия, протянуть проволоку, и все это — за несколько часов до рассвета.

Не отрываясь от телефона, он крикнул вниз, чтобы принесли фонарь да сказали бы всем вестовым — держать коней наготове. Расстегнув ворот суконной рубахи, поглаживая начисто обритую голову, он диктовал короткие приказы. Вестовые, получая их, скатывались с водокачки, кидались на коней и мчались в ночь. Начальник артиллерии был хитер, — он велел, чтобы на местах расположения батарей — после того как они снимутся — разожгли бы костры, не слишком большие, а такие, чтоб огонь горел натурально, — нехай враг думает, что красные в студеную ночь греют у огня свои босые ноги.

Еще раз перечтя приказ, он размыслил, что не годится совсем обнажать фланги, и решил все же оставить под Сарептой и Гумраком тридцать орудий. Когда командиры дивизионов ответили ему, что упряжки на местах, снаряды и санитарное хозяйство погружены и костры, как приказано, запалили кое-где, — начальник артиллерии сел в старенький автомобиль, ходивший на смеси спирта и керосина и гремевший кузовом, как цыганская телега, и поехал в Царицын, в штаб.

Он прогромыхал по темному и пустынному городу, остановился у купеческого особняка, взбежал по неосвещенной лестнице на второй этаж и вошел в большую комнату с готическими окнами и дубовым потолком, освещенную лишь двумя свечами: одна стояла на длинном столе, заваленном бумагами, другую высоко в руке держал командарм, — он стоял у стены перед картой. Рядом с ним председатель военсовета цветным карандашом намечал расположение войск для боя на завтра.

Хотя в комнате были только эти двое старших товарищей — друзей, — начальник артиллерии со всей военной выправкой подошел, остановился и рапортовал о предварительном исполнении приказа. Командарм опустил свечу и повернулся к нему. Предвоенсовета отошел от карты и сел у стола.

— Двадцать батарей до рассвета будут передвинуты на лобовой участок, — сказал ему начальник артиллерии, — семь батарей я оставил на флангах, под Сарептой и Гумраком.

Предвоенсовета, зажигавший трубку, отмахнул от лица дым и спросил тихо и сурово:

— Какие фланги? При чем тут Сарепта и Гумрак? В приказе о флангах не говорится ни слова, — вы не поняли приказа.

— Никак нет, я понял приказ.

— В приказе сказано (нижние веки у него дрогнули и глаза сузились), — в приказе сказано ясно: сосредоточить на лобовом участке всю артиллерию, всю до последней пушки.

Начальник артиллерии взглянул на командарма, но тот тоже глядел на него серьезно и предостерегающе.

— Товарищи,— горячо заговорил начальник артиллерии, — ведь этот приказ — ставка на жизнь и на смерть.

— Так, — подтвердил предвоенсовета.

— Так, — сказал командарм.

— Ну, что из того, что на лобовом участке мы соберем мощный кулак да начисто обнажим фланги? Где уверенность, что белые полезут именно на лобовой участок? А если поведут бой в другом месте? Одной пехоте атак не выдержать, пехота вымоталась за сегодняшний день. А снова перестраивать батареи будет уже поздно... Вот чего я боюсь... Бронелетучки нам уже не подмога, пехоту все равно придется оттянуть за ночь от окружной дороги... Вот чего я боюсь.

— Не бояться! — Предвоенсовета стукнул пальцем в стол один и другой раз. — Не бояться! Не колебаться! Неужели вам не ясно, что белые все силы должны бросить завтра именно на лобовой участок... Это неумолимо продиктовано всей обстановкой вчерашних боевых операций. Их серьезнейшая неудача под Сарептой,— сунуться туда во второй раз они уже не захотят, им известно движение бригады Буденного в тыл пятой колонны. Их вчерашний успех на центральном участке — удачное вклинение в наш фронт. Наконец, вся выгодность плацдарма под Воропоново — Садовая, — овраги и кратчайшее расстояние до Царицына. Вы сами сообщили мне о смене пластунов офицерской бригадой. Делайте отсюда вывод. Офицерская бригада — это двенадцать тысяч

добровольцев, кадровых офицеров, умеющих драться. Мамонтов не станет бросать такую часть для демонстрации... У нас все основания быть уверенными в атаке на лобовой участок.

— Вечерняя сводка подтверждает это, — сказал командарм, — белые сняли с южного и северного направлений четырнадцать или пятнадцать полков и передвигают их грунтом... Это — не считая офицерской бригады...

— Таким образом, — сказал предвоенсовета, — противник сам для себя создает обстановку, в которой — если мы без колебаний будем решительны и смелы — он сам подставит нам для разгрома свои главные силы. И наша задача завтра — не отразить атаку, а уничтожить ядро донской армии...

Начальник артиллерии широко усмехнулся, сел, стукнул себя кулаком по колену.

— Смело! — сказал.— Смело! Возражать нечего. Так я ж ему такую баню устрою, аж до самого Дону будет бежать без памяти.

Предвоенсовета придвинул свечу к трехверстной карте, и начальник артиллерии начал давать разъяснения, как он намерен расположить батареи, — тесно, ось к оси, в сколько ярусов.

— Не закапывайся в землю, — сказал ему командарм, — ставь орудия на открытых буграх. Пехоту придвинем вплотную к батареям. Иди звони командирам.

Через несколько минут на всем сорокаверстном фронте началось молчаливое и торопливое движение. По темной равнине, над которой вызвездило небо и Млечный Путь мерцал так, как бывает только в редкие осенние ночи, мчались конные упряжки с пушками и гаубицами, ползли — по восемь пар коней — тяжелые орудия, вскачь проносились телеги и двуколки. Незаметно снимались и отступали пехотные части, уплотняясь на суженном полукольце обороны.

На седой от инея равнине горнисты заиграли зорю, поднимая на бой казачьи полки. Выкатилось солнце из-за волжских степей. Загремели вдали орудия. Застучали пулеметы. Красный фронт молчал, он был весь в тени, против солнца. Всем батареям было сказано: ждать сигнала — четырех высоких взрывов шрапнели.

Атака белых началась ураганным огнем с линии горизонта. Все живое прилегло, поджалось, притаилось,

каждая кочка, каждая ямка стала защитой. Сквозь грохот слышался иногда дикий вскрик да вместе с комьями рванувшейся земли взлетало тележиое колесо или дымящаяся солдатская шинель. Сорок пять мииут длилась артиллерийская подготовка. Когда люди смогли поднять головы, — вся равнииа уже колыхалась от двигающихся войск. Шли в несколько рядов, уставя штыки, офицерские цепи, ие торопясь и ие ложась, за ними двеиадцатью колоинами шли офицерские батальоны, с интервалами, как иа параде. Развевались два полковых зиамени, поднятые высоко. Надрывно трещали барабаиы. Свистали флейты. А позади, за пехотой, колыхались черные массы бесчислеиных казачьих сотеи...

— ...Иваи Ильич, вот это — классовые враги! Вот это вояки!

— Обуты... Одеты... Мясом кормлеиы...

— Ох, жалко будет такую одежду рвать...

— Товарищи, перестаиьте балагурить, насторожите внимание.

— Так мы же со страху заговорили, товарищ Телегии...

...Передиие ряды ускорили шаг, оии были уже в пятистах шагах... Можио было разглядеть лица... Не дай господи увидеть еще раз такие лица,— с запавшими, белесыми от неиависти глазами, с обтяиутыми скулами, напряженные, перед тем как разодрать пасть ревом: «Ура!»

Начальник артиллерии высунулся по пояс в пролом в кирпичной стене водокачки, вытянул позади себя руку, чтобы ею подать сигнал телефонисту: четыре шрапнели! Ждал еще минутку: колыхающиеся в мерном шаге, под барабаны и флейты, цепи и колоины должны перейти линию окружной железиой дороги... Еще минутка... Только бы оии, дьяволы, ие перешли с шага на бег...

— ...Товарищ ротный... Не могу больше... Ей-богу...

— Лезь в окоп обратио, так твою...

— Тошнит... Я ж отойду только...

— Убью, так твою...

— Товарищ Иван Гора... Не иадо!

— Бери виитовку!

...Начальник артиллерии загадал: вот эти передние дойдут до столбика... Передняя часть уже изгибается,

колышется, уже люди ступают косолапо, кое-как... Сощурясь, он четко видел этот покосившийся столбик с обрывком проволоки... Он-то и решал судьбу всей атаки, судьбу сегодняшнего дня, судьбу Царицына, судьбу революции, черт возьми!.. Вот этот — в желтых сапогах — вырвался первый, шагнул за столб... Начальник артиллерии разжал за спиной кулак, растопырил пальцы, высунулся из пролома, рявкнул телефонисту: «Сигнал!..»

Высоко над идущими колоннами в ясном небе лопнули ватными облачками четыре шрапнели. Тяжелый, никем никогда не слыханный грохот потряс воздух. Зашаталась каменная водокачка. Телефонист уронил трубку и схватился за уши. Начальник артиллерии топал ногами, точно плясал, и руки его помахивали, будто перед оркестром...

Равнина, по которой только что стройно и грозно двигались серо-зеленые батальоны, стала похожа на дымно кипящий гигантский кратер вулкана. Сквозь пыль и дым можно было разглядеть, как, пораженные, залегли наступавшие цепи, смешались задние. С севера по оставшейся незанятой кольцевой дороге уже неслись им в тыл бронелетучки. Из окопов поднялись красные роты и бросились в контратаку. Начальник артиллерии выхватил у телефониста трубку: «Перенести огонь глубже!..» И когда огневой шквал загородил отступление белым, в гущу их врезались грузовики с пулеметами, и начался разгром.

8

Даша сидела на дворике, на ящике с надписью «медикаменты»; она опустила на колени руки, только что вымытые и красные от студеной воды, и, закрыв глаза, подставляла лицо октябрьскому солнцу. На голой акации, там, где кончалась тень от крыши, топорщились перьями, чистились, хвастались друг перед другом воробьи с набитыми зобами. Они только что были на улице, где перед белым одноэтажным особняком валялось сколько угодно просыпанного овса и конского навоза. Их спугнули подъехавшие телеги, и воробьи перелетели на березу. Птичье щебетанье казалось Даше

невыразимо приятной музыкой на тему: живем во что бы то ни стало.

Она была в белом халате, испачканном кровью, в косынке, туго повязанной по самые брови. В городе больше не дребезжали стекла от канонады, не слышалось глухих взрывов аэропланных бомб. Ужас этих двух дней закончился воробьиным щебетаньем. Если глубоко вдуматься, — так это было даже и обидно: пренебрежение этой летучей твари с набитыми зобами к человеку... Чик-чирик, мал воробей, да умен, — навозцу поклевал, через воробьиху с веточки на веточку попрыгал, пискнул вслед уходящему солнышку, и — спать до зари, вот и вся мудрость жизни...

Даша слышала, как за воротами остановились телеги... Привезли новых раненых, вносили их в особняк. От усталости она не могла даже разлепить веки, просвечивающие розовым светом. Когда надо будет — доктор позовет... Этот доктор — милый человек: грубовато покрикивает и ласково посматривает... «Сию минуту — сказал, — марш на двор, Дарья Дмитриевна, вы никуда не годитесь, присядьте там где-нибудь, — разбужу, когда нужно...» Сколько все-таки чудных людей на свете! Даша подумала — было бы хорошо, если бы он вышел покурить и она рассказала бы ему свои наблюдения над воробьями, — чрезвычайно глубокомысленные, как ей казалось... А что же тут плохого, если она нравится доктору?.. Даша вздохнула, и еще раз вздохнула, уже тяжело... Все можно вынести, даже немыслимое, если встречаешь ласковый взгляд... Пускай мимолетный, — навстречу ему поднимаются душевные силы, вера в себя. Вот и снова жив человек... Эх, воробьишки, вам этого не понять!..

Вместо доктора вылез из подвала, где помещалась кухня, гражданин с желтоватым нервным лицом и трагическими глазами. Он был одет в пальто ведомства народного просвещения, но уже на этот раз не подпоясанное веревкой. Поднявшись на несколько ступеней кирпичной лестницы, он вытянул тонкую шею, прислушиваясь. Но только щебетали воробьи.

— Ужасно! — сказал он. — Какой кошмар! Бред!

Он зажал уши ладонями и тотчас отнял их. Низкое солнце сбоку освещало его лицо с тонким хрящеватым носом и припухлыми губами.

— Этому нет конца, боже мой!.. У вас когда-нибудь был звуковой бред? — неожиданно спросил он Дашу. — Простите, мы не знакомы, но я вас знаю... Я вас встречал до войны, в Петербурге, на «Философских вечерах»... Вы были моложе, но сейчас вы красивее, значительнее... Звуковой бред начинается с отдаленной лавины, она еще беззвучна, но близится с ужасающей быстротой. Нарастает разноголосый гул, какого нет в природе. Он наполняет мозг, уши. Вы сознаете, что ничего нет в реальности, но этот шум — в вас... Вся душа напряжена, кажется: еще немного — и вы больше не выдержите этих иерихонских труб... Вы теряете сознание, вас это спасает... Я спрашиваю — когда конец?

Он стоял перед Дашей против солнца, перебирал тонкими пальцами и хрустел ими.

— Я должен где-то накопать глины, замесить ее и починить печь, потому что нас выселили в подвал, как нетрудовой элемент... Мой отец всю жизнь прослужил директором гимназии и построил этот дом на свои сбережения... Вот вы это им и скажите... В подвале валяются обгорелые кирпичи; два окошка на тротуар — такие пыльные, что не пропускают света. Мои книги свалены в углу... У моей матушки миокардит, ей пятьдесят пять лет, у моей сестры от малярии — паралич ног. Надвигается зима... О, боже мой!

Даша подумала, что он, как душа Сахара в «Синей птице» из Художественного театра, сейчас отломает себе все десять пальцев.

— Кто не работает, тот не ест!.. Окончить историко-филологический факультет, почти закончить диссертацию... Три года преподавать в женской гимназии, в этом роковом городе, в этой безнадежной дыре, где я скован по рукам и ногам болезнью матери и сестры... И — финал всей жизни: кто не работает, тот не ест! Мне суют в руки лопату, насильственно гонят рыть окопы и грозят, чтобы я поклонялся революции. Насилию над свободой!.. Торжеству мозолей!.. Надругательству над наукой!.. Я не дворянин, не буржуй, я не черносотенец. Я ношу на себе шрам от удара камнем во время студенческой демонстрации. Но я не желаю поклоняться революции, которая загнала меня в подвал... Я не для того изощрял свой мозг, чтобы из подвала через пыльное окошко глядеть на ноги победителей, топающие по

тротуару... И я не имею права насильственно прекратить свою жизнь, — у меня сестра и мать... Даже в мечтах мне некуда уйти, некуда скрыться... «Унесем зажженные светы!..» Их некуда уносить, на земле не осталось больше уединенных пещер...

Он проговаривал все это необыкновенно быстро, глаза его блуждали. Даша слушала его, не удивляясь и не сочувствуя, как будто этот выскочивший из полуподвальной кухни нервный человек был таким же необходимым завершением ужаса этих дней — грохота, пожаров, стонов раненых.

— Что вас привело к ним? — неожиданно бытовым, ворчливым голосом спросил он. — Недомыслие? Страх? Голод? Так знайте же — я следил за вами эти два дня, я вспоминал, как в Петербурге на «Философских вечерах» безмолвно любовался вами, не смея подойти и познакомиться... Вы — почти блоковская незнакомка... (Даша сейчас же подумала: «Почему — почти?») Царевна, вышивающая золотые заставки, — в грязном халате, с красными руками, таскает раненых... Ужас, ужас!.. Вот — лицо революции...

Даша вдруг так рассердилась, что, поджав губы, ни слова не ответив этому желто-бледному неврастенику, пошла в дом, где после свежести двора в лицо ей тяжело пахнул запах йодоформа и страдающего человеческого тела.

В каждой комнате лежали раненые на тесно установленных койках из неструганых досок. В операционной, где — до выселения — учитель женской гимназии писал свою диссертацию, она нашла доктора. Он вытирал полотенцем оголенные выше локтя волосатые руки и, увидев Дашу, подмигнул ей карим глазом:

— Ну как, успели посопеть носиком? А у меня тут была интересная операция: отрезал парню аршин пять тонких кишок и через месяц буду с ним пить водку. Тут еще привезли одного командира, тяжелый случай шока... Впрыснул камфару, сердце работает, но сам пока без сознания... Последите за пульсом, если начнет падать, сделайте еще одну инъекцию...

Перекинув полотенце через плечо, он подвел Дашу к дощатой койке. На ней навзничь лежал Иван Ильич Телегин. Глаза его были с усилием зажмурены, точно в них бил ослепительный свет. Растянутые губы сжаты.

Левую руку его, лежавшую на груди, доктор взял, попробовал пульс, мягко встряхнул:

— Видите, а была стиснута, как судорогой... Шок, я вам скажу, дает иногда любопытнейшую картину... Штучка мало изученная... Тут такая же механика, как родимчик у младенцев... Центральная нервная система не успевает выставить защиту против неожиданного нападения...

Доктор оборвал на полуслове, потому что, хотя и в слабой степени, сам получил неожиданный шок... Дарья Дмитриевна мягко опустилась на колени перед койкой и всем лицом прижалась к брошенной доктором руке этого командира...

9

Вадим Петрович Рощин проснулся поздно в дрянной гостиничной комнате, с грязным окном, занавешенным пожелтевшей газетой, на коротенькой койке, под тощим одеялом. Поезд уходил поздно ночью. Предстоял пустой день. В папиросной коробке оставалась одна папироса. Он помял ее, закурил и стал смотреть на свою худую, жилистую руку с гусиной кожей. Поиски Кати ни к чему не привели... Кати он не нашел. Отпуск кончился, надо было возвращаться на Кубань в полк.

Через двое суток он вылезет из вагона, сядет в бричку, поедет степью, не заговаривая с нижним чином на козлах. В станице, на широкой улице, колеса брички завязнут в колеях, полных уже бесплодной в ноябре дождевой воды. Он вылезет прямо в грязь, прикажет отнести чемодан в хату и зашагает к станичному управлению, в штаб, к командиру полка, генерал-майору Шведе.

Он застанет этого выхоленного дурака за чтением стишков символистов: «Пламенный круг» Сологуба или «Жемчуга» Гумилева. После рапорта Вадим Петрович примет взвод. Может быть, получит роту. Начнется однообразное: строевые занятия, посещение офицерского собрания, где его будут расспрашивать о девочках, о кутежах, острить по поводу его худобы, седых волос и мрачного вида. По вечерам — шаганье из угла в угол у себя в хате. В десять часов денщик молча стащит

с него сапоги... Это — одна вероятность, а другая — если полк на фронте, в боях...

Ему представилась та же мертвая степь с грядами северных туч, печные трубы среди пожарища, завязшие в грязи телеги с ранеными, дохлые лошади и — крайняя черта этой степи: окоп с людьми, валяющимися среди кала и окровавленных тряпок... Он представил себя профессиональным бодряком, легендарным фаталистом, показывающим пример холодной ненависти, которой у него нет, которой у него давно больше нет. В нем только брезгливость и тошнота при мысли о людях.

Он приподнялся на койке, стараясь застегнуть пуговку на сорочке, потянулся в поисках табаку за штанами, свалившимися на пол, и лег опять, закинув руки.

«Все-таки с таким настроением нельзя», — проговорил он тихо, и этот не его голос ему не понравился, гадливость поднялась в нем к тому, как он это проговорил... «Почему нельзя? Чего это «все-таки» нельзя? Все можно! Вплоть до ременного пояска, — одним концом — к дверной ручке, другим — за шею... Давай, Рощин, по-честному... Экий ты чистоплюй... Такая же сволочь, как все».

И он зло и мстительно стал вспоминать тысячи встреч здесь, в Екатеринославе... Женщин со следами эвакуации на лицах и с жалкими остатками неприступности, бегающих по гостиницам с предложением разных вещиц, «дорогих по воспоминаниям»; генералов, которые похлопывают по спине, — называя батенькой, — иссиня-бритых, сочащихся здоровьем, бешено развязных знатоков по продаже и покупке железнодорожных накладных на казенные товары; громогласных помещиков, спугнутых из своих усадеб, — они теснились в номерах вместе со своими бестолковыми помещицами и длинными, веснушчатыми, разочарованными дочерьми, перехватывая деньжонки, полнокровно кушали в ресторане, где учили поваров готовить невиданные блюда, называли революцию заварухой и, в общем, коротали время среди самых радужных надежд, не покидавших российское дворянство даже в самые затруднительные времена. Он вспоминал в вестибюле гостиницы всякий люд, с чрезвычайной быстротой потерявший общественную устойчивость, — лишь по гербовым пуговицам да фуражкам можно было догадаться: это — прокурор и,

видишь ты, вцепился в какого-то нахального мальчишку, счастливого спекулянта, силясь всучить ему сломанные часы; а этот — начальник департамента акцизных сборов, седой, кашляющий, с палочкой, — он, видимо разбазарил уже свои ценности и с завистью поглядывает на богатые сделки, на мелькающие руки, в которых шевелятся кредитки...

Проворливые спекулянты в шикарных костюмах влетают сквозь парадные двери, вертят пальцами и глазами, сбиваются в кучки, нервно шепчутся и уносятся снова на улицу, как крылатые Гермесы — боги торговли и удачи. В вестибюле можно узнать о продвижении казенных грузов, о затерявшейся цистерне с машинным маслом, о курсе доллара, вскакивающего и падающего по нескольку раз в день, в прямой зависимости от французских или германских контратак на Западном фронте, но это уже — дела серьезные... Мелкие спекулянты в вестибюле раздаются в стороны, прыгающие от возбуждения глаза их устремляются на «большого» человека...

Степенно и не спеша он входит в очень длинном пальто, в картузике или в бархатной шляпе на затылке, в руке зонтик, борода его от подбородка залосиена к шее, от этой неприкосновенной бороды можно лишь — для сосредоточия умственной деятельности — отделить пальцами один волосок и покрутить. Глаза его отражают напряженную духовную жизнь, отрешенную от мелочей, ибо он — мыслитель: он сопоставляет, ищет и находит те категории, которые обусловливают падение или подъем концентратов мировой энергии — то есть твердой валюты...

Здесь, в вестибюле и на улицах близ гостиницы, происходит игра. Официально гетманскими властями и германским оккупационным командованием она запрещена. Игроки находятся в постоянном движении на тротуаре — от дверей гостиницы до ближайшего перекрестка. При помощи пристально устремленных глаз, движения пальцев и нескольких слов они продают и покупают. Ни у кого из них валюты нет, она спрятана, и вообще количество ее в городе неизвестно. Играют на разницу курса и рассчитываются гетманскими карбованцами. В минуту создаются состояния, в минуту богач становится нищим. Счастливец идет с прихлебателями в кафе — кушать пирожное с желудевым кофе, неудачник

отчаяиио бредет по бульвару, и иоябрьский ветер, метущий бумажки и опавшие листья, подхватывает пыльные полы его длиниого пальто.

Люди, иаселяющие эту гостиницу, скопляющиеся иа тротуарах, в табачиых лавчоиках, кафе, шашлычных, торгующие и объегоривающие друг друга, были частью шумного, прожорливого стада, которое мычало и орало по всем отбитым у революции городам, где ему ие мешали жрать, пить, совокупляться, жульничать и спекулировать... Это стадо иадо было оберегать штыками и пушками, отвоевывать для него новые города, восстанавливать для него очищенную от большевистской скверны великую, едииую, неделимую Россию...

— Пошлость, пошлость и ложь! — сиова вслух проговорил Вадим Петрович. — Ну-с, а если дезертировать?

И ои стал размышлять об этом, в первый раз за свою жизнь отпустив моральиые вожжи, с острым наслаждеиием открывая в себе залежи подлости и низости... Ои даже посмеивался со стисиутыми зубами... Мысли его были как неожиданиое творчество, как первый грех...

«Во имя каких таких святыиь проколесил ты, голубчик, по жизни на натяиутых вожжах? Считал себя порядочным человеком, принадлежал к порядочиому обществу, даже ушел из полка в университет, чтобы расширить умствеиный кругозор... В юиости тебе казалось, что ты похож иа Аидрея Болкоиского. Нравствениый импульс доставлял тебе удовлетвореиие, и этого было вполне достаточио: ты чувствовал себя чистоплотным. От всего сомиительного и иечистого ты воротил иос, как от помойной ямы. У тебя было всего только три связи с замужиими жеищинами, и ты порвал с этими бабами на высоте самых утончеииых отиошеиий, когда взволнованиое любопытство начииало смеяться сочио привычиыми поцелуями... И вот — общий итог: куда же привела тебя безупречная жизнь с гордо подиятой головой? Пожарище! От человека — одиа обгорелая печная труба!»

Подведя такой итог, Вадим Петрович методичио начал обдумывать возможиости дезертирства. Бежать за границу? Весь мир охвачен войиой. Повсюду сыщики ищут подозрительиых иностранцев, везут в тюрьмы и там вешают... Во всем мире бодрыми ребятами грузятся траиспорты... «Тру-ля-ля, — орут ребята, — поскорее всыплем свиньям иемцам и вернемся к веселым подружкам...»

В океанах их торпедируют, и веселые ребята барахтаются в ледяной воде вокруг масляного пятна... В Европе колонны молодых людей в защитной одежде, сшитой как на покойников, густыми цепями, в безнадежном отчаянии покорно идут на пулеметы, на бомбометы, на минометы, на огнеметы, — огонь спереди, огонь сзади. Поездка за границу отпадает... Можно пробраться в Одессу, достать липовый паспорт и — в шашлычную — половым... Но кто-нибудь: «Ба, ба, ба, — удивится, — да, никак, это — Рощин, что же это вы, батенька?» Спекулировать по мелочам или даже — воровать? Нужен запас большой жизнерадостности... Сутенером? Стар... «Ну, хорошо, предположим — просуществую как-нибудь до окончательной победы: социалисты перевешаны, мужичье перепорото, англичане нас простили, с виноватым видом начинаем за Волгой собирать армию — колотить немцев. Оружие роздали, и в один ненастный день солдатье запарывает господ офицеров, героев «ледяного похода», и сказка начинается сначала. Бедная моя Катя, так и не найденная, где-нибудь на вокзале с выбитыми окнами, среди спящих, бредящих и мертвых, позовет в последний раз: «Вадим, Вадим...» Итак, есть еще возможность: повеситься, немедленно... Страшно? Нисколько... Противно делать это усилие над собой...»

Руки его были как лед, он затылком чувствовал их холод. Никакого решения он принять не мог. И будто маленькие человечки, бегая по нему, как мухи, растаскивали его волю, его душу... Когда стемнеет, он встанет, наденет штаны, пойдет пешком на вокзал и, наверное, даже папирос купит на дорогу... И будет жить, — такого и шашка не тронет, и пуля не шлепнет, и тифозная вошь не укусит...

За стеной, там, где была дверь, заставленная комодом, уже давно торопливо спорили два сердитых мужских голоса. Один все начинал фразу: «Слушайте, господин Паприкаки, если бы я был бог...» Но другой не давал ему договаривать: «Слушайте, Габель, вы не бог, вы идиот! Надо сойти с ума — за полчаса до выхода газеты покупать акции Крупп Штальверке...» — «Слушай-

те, я же не бог!» — «Слушайте, Габель, у вас не хватит потрохов, чтобы погасить мои убытки, вы — труп...»

Фразы эти насильно лезли в уши Вадима Петровича. «Вот черт, — подумал он, — хорошо бы выстрелить в дверь...» Затем за другой дверью, ведущей в гостиничный коридор, началась беготня и взволнованные голоса: «Надо же доктора...» — «При чем тут доктор, — он уже коченеет...» — «А что такое, как это случилось?» — «Как случилось, так и случилось, вам-то не все равно...»

Голоса затихли, послышался звон шпор.

— Господин вартовой начальник, простите, пожалуйста, — правда, что он племянник австрийского императора?

— Правда, все правда... Ну-ка, господа, очистите коридор.

И потом, уже у самой двери, — двое заговорили вполголоса:

— Никакое это не самоубийство, его застрелил его же адъютант, большевик.

— То есть, как это, — австрийский офицер, и — большевик?

— А вы думали! Они — всюду... Не то что Вена, — Берлин со вчерашнего дня у них в руках...

— Боже мой, боже мой, это у меня не помещается...

— Да-с, бежать надо...

— Куда бежать?

— А черт его знает — на какие-нибудь острова...

— Правильно... Вчера рассказывали — в Голландской Индонезии острова с хлебными деревьями. Одежды не нужно никакой. Но как туда добраться?

Затем, без стука, в комнату вскочил мальчик, чистильщик сапог при гостинице, — с приплюснутым носом и веселым ртом — от уха до уха...

— Экстренный выпуск, революция в Германии... Пассажир, платите три карбованца...

Он бросил газету на грудь Рощину, не замечая открытых страшных глаз этого пассажира, ни его мертвенного лица...

— Деньги беру на подоконнике. Пассажир, почитайте газету...

Он выскочил из комнаты. Сердце у Вадима Петровича истерически билось, но еще долго на груди у него неразвернутым лежал слепо напечатанный газетный

листок... Революция в Германии!.. Солдаты на крышах вагонов, разбитые вокзалы, толпы, поющие дикими голосами, ораторы, выкрикивающие с подножия памятников, молотя кулаками воздух: свобода, свобода! Как будто свобода заменит им хлеб, родину, чувство долга и размеренный покой веками слаженного государства! Революция, — замусоренные города, растрепанные девки на бульварах... И тоска, тоска человека, глядящего из окна на вылинявшие крыши города, где больше не осталось тайн... Даже солнце поднялось недостижимо высоко... Тоска человека, с такими усилиями пытавшегося пронести через жизнь самого себя, свою независимость, свою гордость, свою печаль.

Вадим Петрович понял, наконец, что разговаривает вслух. Это уже было похоже на бред с открытыми глазами. Он развернул газетный листок. Во всю полосу большими буквами шло сообщение о начавшейся революции в Германии. Она разразилась в момент переговоров о перемирии в Компьенском лесу, когда в поезд генерала Вейгана, стоящий в артиллерийском тупике, явились германские уполномоченные.

Они спросили — каковы будут французские предложения? Генерал, не приглашая их сесть, не подавая руки, с холодной яростью ответил: «У меня нет никаких предложений... Германия должна быть брошена на колени».

В тот же день правители, которые привели Германию к позору, были свергнуты. В Берлине образовался Совет рабочих и солдатских депутатов. Император Вильгельм тайно покинул ставку в Спа и бежал в Голландию, на границе отдав голландскому армейскому поручику свою шпагу.

Через несколько минут Вадим Петрович, одетый, в шинели, туго перетянутой ремнем, в фуражке, еще раз перечел газету, стоя у окна. Сунул в карман смятые кредитные бумажки и вышел на улицу.

Он увидел: мимо гостиницы шел плотный человек, будто только что вылезший из скафандра — с большой глубины: багровое лицо раздуто, глаза выпячивались из орбит; шевеля толстыми губами, обметанными коркой, он повторял: «Продаю Крупп Штальверке, продаю, продаю...». Он перекатывал глаза на проходящих с сумасшедшей надеждой — найти дурака, еще большего, чем он...

Его начали толкать и оттиснули к стене австрийские солдаты, — они шли нестройными кучками, перекинув винтовки за спину, дулом вниз... Это был один из знаков революции, — сразу же, в первый же свой день, отказывающейся от человекоубийства... Сбоку этой толпы по тротуару шагал тоненький офицер с шелковистыми юношескими усиками; изящное лицо, напряженное до страдания, было надменно поднято, на левом погоне — красный бант. Этому мальчику, выпущенному в полк в военное время, не удалось, должно быть, пошататься в новеньком мундире, волоча металлические ножны сабли по тротуарам веселой Вены, где женщины так очаровательно беспечны. Выпало на долю — по молодости лет и добродушию — быть выбранным в солдатский комитет, и вот он ведет свою роту на вокзал, эвакуироваться, сквозь фланговый огонь злорадствующих, насмешливых взглядов... А в Вене — хаос, голод, рабочие строят баррикады...

Рощин долго глядел вслед этим гордым европейцам. У него тоже поднималось злорадство: «Недолго погостили на Украине, поели гусей и сала... Брест-то, видно, вышел боком...» Но он сейчас же насупился: «А тебе что в том? Потирают руки в Москве. А ты ступай в вонючий окоп, к своим контрреволюционерам...» И он сильнее насупился от того, что в первый раз, да еще так спокойно, цинично произнес это слово... Именно в этом слове таилась причина его душевной разодранности. Катя была прозорливее его, когда сказала в час их бешеной ссоры в Ростове: «Если ты веришь всей силой души в справедливость твоего дела, тогда иди и убивай...» По всем традиционным понятиям честного и уважающего себя интеллигента, контрреволюционер — значит подлец и негодяй... Вот и живи с этим...

Засунув руки в карманы шинели, он побрел вверх по широкому Екатерининскому бульвару. И походка у него была, как у негодяя и подлеца: шаркающая, рыхлая. Проходя мимо парикмахерской, он невольно взглянул на себя в узкое зеркало сбоку двери: ему зло и криво усмехнулось его лицо трупного цвета. Он зашел, не снимая шинели, сел в кресло: «Побрить!» Здесь тоже все внушало ему отвращение — и низенькое, теплое помещение, оклеенное отставшими от стен дешевыми

обоями, и сам парикмахер с гребенкой в волосах, полных перхоти, с грязными, нежными руками, пахнущими сладкой гадостью...

Взбивая пену и не торопясь намыливать Вадиму Петровичу щеки, парикмахер говорил:

— Мало у жинки забот, — завела себе порося... Воевали четыре года, теперь у них революция... О чем они думали, почему не спросили меня? — Он раскрыл бритву и ожесточенно начал точить ее. — Большая политика и наше маленькое, тихое дело, — желаю вам иметь разницу. — Горячей пеной он начал намыливать Вадиму Петровичу щеки. — Сегодня вы у меня первый клиент. Люди сходят с ума. Если император Вильгельм убежал в Голландию, в нашем городе никто уже не хочет бриться! Я вам скажу почему. Они все боятся большевиков, они боятся махновцев, они все хотят отрастить себе щетину и походить на пролетариев. — Он с хрустом повел лезвием по щеке. — Извиняюсь, вы не любите, когда берут за кончик носа? Есть, которые это просят. Я учился в Курске, наш мастер работал по старинке, — засовывал палец в рот клиенту, а для благородных держал огурцы. С пальцем — десять, с огурцом — двенадцать, — не плохие были деньги. Вас буду брить еще раз, — времени хватит. Вот только перед вами заходил один сумасшедший. Вы знаете Паприкаки? Наш крупный финансист. У него расстроены нервы, его невозможно брить, у него сыпь на щеках, страшная боль даже коснуться кисточкой. Сегодня у него, слава богу, высыпало уже по всему телу. Так он меня утешил: немцы собираются уходить из Украины, под Белгородом уже начали наступать большевики, а в Белой Церкви объявилось новое украинское правительство: Директория. Рада была, Советы были, гетман был, Директории еще не было. Во главе — Петлюра и Винниченко. Оба в шестнадцатом, в Киеве, были моими клиентами. Петлюра — бухгалтер, служил в Земском союзе. Винниченко — писатель, мы ходили на его пьесы, — ничего особенного: одна женщина, представьте, обманывает живописца, он крупно с ней разговаривает, а тут к ней подкатился любовник, и эта дамочка устраивается с ним рядом в комнате. Живописец — войти к ним, представьте, не может — разогнать-то их и бросить эту стерву не хочет, и он грызет себе руку, чтобы сухожилие перекусить, стать инвалидом, назло

этой женщине. Брил я Винниченко, у него лицо дряблое, пористое... Паприкаки говорит: Директория выпустила уже универсал, призывает хлеборобов свергнуть гетмана Скоропадского... Да, не хватало гетману забот!.. — Побрив во второй раз щеки Вадиму Петровичу, он неодобрительно прищурился на его отросшие седые волосы. — Позвольте вам подстричь а ля бокс, если желаете, осталось у меня немного заграничной краски — вороньего крыла? Кому это нужно — седая мочала? («Побрейте голову», — сквозь зубы сказал Рощин.) Слушаюсь... — И он защелкал около своего уха ножницами, будто набирая скорость. — Знаете, господин капитан, одна моя мечта: есть же на свете где-нибудь тихий городок, ну, хоть самый захолустный, с керосиновыми фонарями... Много ли нужно? Десяток клиентов. Работу кончил, трубочку закурил и сиди у дверей. Тишина, покой, мирные старички проходят, — встанешь, поклонишься, и они тебе поклонятся. О маленьких людях, господин капитан, никто сейчас не думает — скинуты со счета. А нас нет, — вот мочала у вас и растет. Взгляните, — какими пришли и что я из вас сделал: картинка!

Рощин глядел на себя в зеркало. Лоснящийся череп был хорошей, вместительной формы — для благородных и высоких мыслей. Лицо — узкое, с изящным переходом от едва выступающих скул к подбородку, не слишком выдающемуся, но и не безвольному. Темные, сдвинутые у переносицы, брови капризно разлетались на висках, смягчая строгость умных небольших глаз, кажущихся черными от расширенных зрачков. Такое лицо не стоило бы закрывать рукой от стыда. Пожалуй, рот портил все дело. Можно солгать глазами, глаза лживы и скрытны, но рот не поддается маскировке... Видишь ты, — никакой формы, весь в движении, как слизняк... Черт знает что такое! До Фауста не дотянул, Вадим Петрович... Он поднялся, надвинул походную, грязную простреленную фуражку — несколько набок, щедро расплатился и вышел... Решения у него все еще не было никакого... Но он уже не чувствовал дряни в ногах, не цеплялся носками сапог за булыжник. Вот что значит — побывать у парикмахера! Капелька любви к себе просочилась в мутное отчаяние его души.

В окнах зажигался свет. Шумел ветер в голых тополях, уходящих вершинами в сумрак. Между стволами

их — на другой стороне улицы — яркая лампочка нагло вспыхнула над размалеванной дверью ресторана-кабаре «Би-Ба-Бо»... Этот кабак славился любительскими шашлыками. При мысли о еде у Вадима Петровича слипся желудок, — со вчерашнего дня он не ел. Это было могучее, мужественное чувство голода, оно возникло и заслонило все психологические сложности. Рощин решительно свернул к освещенной двери. От дерева отделилось, пытаясь преградить ему дорогу, существо в белой юбке и уже вслед пропищало умоляюще: «Офицерик, я вам справлю удовольствие...»

Это было низкое, длинное помещение, не так давно размалеванное бежавшим из Петрограда знаменитым левым художником Валетом. Потолок в «Би-Ба-Бо» был черный, с большими звездами из серебряной бумаги. По черным стенам как бы неслись, подхваченные ураганом, желтые, оранжевые, кирпичные призраки с растопыренными ногами и руками, — угловатые схемы мужчин и женщин. Для кабака эта стенная живопись была слишком серьезна: ужас, а уж никак не чувственность, гнал по стенам это оголенное стадо. Капиталист, вложивший деньги в это предприятие, — тот же Паприкаки, — сказал однажды: «Вырвите мне ноги из туловища, если я понимаю эту мазню, меня от нее тошнит, а публике нравится...»

Рощин пообедал и пил вино. Поезд уходил в четыре утра, — он решил пробыть здесь до трех, а там будет видно... Ему было тепло, в голове слегка шумело.

Официант, — татарин из московского невозвратного «Яра», старый знакомый, — часто подходил, брал из ведра бутылки и, нагнувшись, наливая, говорил:

— Извините, Вадим Петрович, я все к вам пристаю... Вспомнишь Москву... Эх! Видите, как здесь живем. Во сне даже снится эта шушера...

Несмотря на тревожное настроение в городе, — где на окраинах и в темноте переулков раздавались одиночные выстрелы и конные гетманские стражники, проезжая вверх к губернаторскому дворцу, старались их не слышать, — несмотря на панику сегодняшней черной биржи, ресторан был полон. Кабаре еще не начиналось. На маленькой сцене сидел у пианино длинный молодой

человек с вытянутой шеей, толщиной в руку, с растущими дыбом негритянскими волосами, съехавшими на затылок. Он играл попурри из оперетток.

Вокруг столика Рощина было шумно и пьяно. Несколько помещиков, не выдержав томления у себя в номере среди разочарованных дочерей, встряхивались здесь за графинчиком...

— Уверяю вас, — кричал один с холеными щеками, — немцам теперь капут! К новому году английский экспедиционный корпус будет в Москве. Будем пить скочвиски. Нет худа без добра! — Разинув рот с отличными зубами, добряк хохотал. — Получается: ура германской революции!

Другой, изысканно тощий, с глазами, насмешливо мерцающими из глубины пепельных впадин, поднял руку, прося внимания:

— Лорд-канцлер в палате лордов сидит, как известно, на мешке с шерстью... А симбирское дворянство гордилось, что у них в собрании на дворе стоит мраморный столп — в утверждение того, что с господами столбовыми дворянами во веки веков ничего неприятного не случится... А посему беспечально дремали под сенью лопухов... История российского дворянства кончена, — мешка с шерстью нам не хватало... Равно, как история матушки-России кончена, господа... Повесть о городе Глупове прочитана, книжку швырнули в угол. И случилось это не в грозу и бурю, как сказал один умнейший человек, а в простой понедельник, — бог плюнул и задул свечку... Еще в четырнадцатом году я продал землишку, и с тех пор — гражданин вселенной... Так-то вернее...

— Вам хорошо, батенька, вы Оксфордский университет кончили, а куда я с тремя моими девками денусь? Куда? — Румяный добряк засопел и потянулся за графинчиком. — А насчет конца России тоже не согласен, это у вас английская отрыжка-с... В приказчики пойду, в подрядчики пойду, сам буду пахать на трех десятинах, а в Россию верю. — Он налил и сейчас же грузно повернулся к третьему собеседнику: — Куда я их дену? Выросли три коломенские версты, слезливы, конопаты, плоскогруды — тургеневские барышни, это в наш-то век! Мать во всем виновата, да и я тоже виноват, каюсь. Старшая хотела на Бестужевские курсы, — отговорили,

к тому же ленива... Младшая увлекалась театром и была бы, скажу я вам, первокласснейшей актрисой... С большого ума отговорили, даже грозили... Словом, — домострой, в наш-то век!.. А все от недомыслия... Англичанин на три года вперед видит, сидя на мешке с шерстью, это правильно... А мы, так сказать, мыслили по круговращению времен года. — Выпив, потряся щеками, он неожиданно добавил: — А в общем — не пропадем...

Третий собеседник был уже настолько пьян, что только скрипел зубами и ел цветы — мелкие астры, — отрывая их от горшка на столе. Он ничего не слушал, не сводя мутных глаз с соседнего столика, где сидели очень хорошенькая девушка с большим невинным узлом пепельных волос и крупный молодой человек в полувоенной гимнастерке. Подперев щеку, не обращая ни на кого внимания, будто здесь действительно были одни призраки, он молча плакал. Девушка, жалобно морща круглое синеглазое лицо, гладила его руку, брала ее и целовала; близко наклоняясь, торопливо, испуганно шептала ему. Он медленно покачивал крупным лицом. Рощин услышал его тусклый неживой голос, каким бормочут во сне:

— Оставь, Зина, оставь меня... Я ничего больше не хочу, ни тебя, ни себя...

Он мог бы и не говорить дальше, — и без того было понятно, чем кончится эта ночь для молодого человека... Девушка чем-то напоминала Катю, не лицом, — тихой ласковостью движений... Тоже кончит жизнь где-нибудь среди сыпнотифозных на узловой станции... Их заслонили двое мальчишек, торопливо присевших за освободившийся столик. У обоих — подстриженные челки до бровей, гнилые зубы, на грязных пальцах бриллианты... «Я как урежу Машку железной палкой, — хвастался один другому, — как зачал ее топтать, аж кости у нее захрустели, у стервы...»

— Господин капитан, позволите занять место за вашим столиком?

Рощин молча кивнул. За его столик сел человек в никелированных очках, подбирая под стул громоздкие ноги. На нем был зелено-серый, тесный в груди мундир германского ландштурмиста. С трудом выговаривая русские слова, он сказал официанту:

— Пожалуйста, покушать немножко, я не кушал очень давно, — и пива, пива!

Он раздул худые щеки, показывая, как он напьется пива, засмеялся, затем с некоторым изумлением взглянул голубыми, как у галки, безбурными глазами на угрюмого Рощина:

— Господин капитан говорит по-немецки?

— Говорю.

— Если я вам мешаю, — я охотно поищу другой столик.

— Вы мне не мешаете.

Рощин на этот раз ответил мягче. У ландштурмиста было одно из тех немецких лиц, — узкое, со слегка проваленным маленьким ртом, — которое до старости сохраняет детское выражение и нежный румянец. Нос его был приподнят, словно от благожелательного любопытства к каждому человеку.

— Прежде нам, солдатам, не разрешалось бывать в ресторанах, — сказал он, — со вчерашнего дня немецкая дисциплина стала более разумной.

Рощин криво усмехнулся. Ландштурмист поспешил уточнить свою мысль, подняв по-профессорски палец с твердым ногтем:

— Дисциплина должна быть разумной, тогда она есть форма общественного порядка и необходимое условие развития. Такая разумная дисциплина рождается из глубоких социальных движений. Но если это не так, если она только одно из орудий принуждения, тогда мы ее не будем называть дисциплиной...

Он весело кивнул, оканчивая эту свою, несколько тума́нную, мысль.

— Эвакуируетесь в Германию? — спросил Рощин.

— Да. Наша воинская часть избрала комитет, и он вынес решение, к счастью, — хотя это было сопряжено с борьбой, — чисто принципиальное.

— Ну что ж, по-русски говорится: скатертью дорога.

— Я неплохо изучил русский язык, я знаю, — когда говорят: «скатертью дорога», это значит: «убирайся ко всем чертям»...

— А хотя бы и так... Вы, кажется, умный человек: чего же нам притворяться? Врагами были, врагами и расстались...

— Так, так, — подумав и покачав головой, сказал ландштурмист, — с моей стороны было бы напрасно и даже бестактно опровергать это.

И он опять улыбнулся тонкими губами, оканчивая и эту тему. Ему принесли еду и пиво. Он извинился, что на некоторое время выключится из беседы, и принялся за шашлык, не спеша, с каким-то даже благоговением пережевывая кусочки мяса, пшеничного хлеба и поджаренных помидоров.

— Вкусно, — сказал он, чувствуя, что Рощин не сводит с него злых, темных глаз. Он съел все до крошки, корочкой вычистил тарелку и корочку положил в рот. Полузакрыв веки, вытянул большой стакан холодного пива.

— Немцы к еде относятся очень серьезно. Немцы много голодали, и предстоит еще много голодать, прежде чем будет окончательно разрешена проблема еды.

И опять его длинный палец полез вверх.

— На заре истории, когда человечество переходило от первобытного собирания даров природы к насильственному вторжению в природу, еда стала результатом трудного и опасного процесса добывания ее. Еда стала священным актом. Пожрать — значит завладеть чужой жизнью, чужой силой. Отсюда происходят представления о возможности заклятия природы, то есть магия... Магический ритуал еды ложится в основу всех мистических культов. Едят тело бога... У меня записана интересная беседа с одним русским ученым о происхождении блинов. Масленица — это праздник поедания солнца. Его заклинали хороводными плясками, затем кушали его изображение — блины. Как видите, славяне в своих мировоззрениях всегда устремлялись очень высоко...

Он засмеялся. Расстегнул металлическую пуговицу мундира и вынул пухлую, в потрепанной коже, записную книжку, — ту самую, которую два месяца тому назад доставал в вагоне, чтобы прочесть Кате Рощиной одно место из Аммиана Марцеллина. Положив ее на стол, осторожно перелистал страницы, мелко исписанные заметками, выписками, адресами...

— Вот, — сказал он, положив палец на страницу. Но Рощин глядел не на эти строки, а на то, что было написано сверху рукой Кати: «Екатерина Дмитриевна Рощина, Екатеринослав, до востребования».

— Откуда у вас эта запись? — хрипло спросил он. В лицо ему хлынула кровь, он поднес руку к воротнику гимнастерки. Ландштурмисту показалось, что другой рукой русский офицер сейчас вытащит револьвер, — нравы были военные... Но страшные глаза офицера выражали только страдание и мольбу... Ландштурмист как можно мягче сказал ему:

— Очевидно, вам хорошо известна эта дама, я могу кое-что рассказать про нее.

— Известна...

— О, это одна из печальных историй...

— Почему — печальных? Эта дама погибла?

— С уверенностью не могу этого сказать... Мне бы хотелось надеяться на лучший исход... За время войны я увидел, что человек чрезвычайно живучее существо, несмотря на то, что ранить его легко и он так чувствителен ко всякой боли... Это происходит...

И он опять поднял было палец, — Рощин весь исказился:

— Говорите, где вы видели ее, что с ней случилось?

— Мы познакомились в вагоне... Екатерина Дмитриевна только что потеряла своего горячо любимого мужа...

— Это была провокация! Я жив, как видите...

Ландштурмист откинулся на стуле, маленький рот его стал круглым, галочьи глаза — круглыми, он хлопнул ладонями по столу:

— Я прихожу в этот ресторан, где никогда не бывал, сажусь за этот столик, вынимаю книжку... И — мертвые пробуждаются! Вы муж этой дамы? Она мне рассказывала о вас, и я тогда же представил вас таким, именно таким... О нет, камрад Рощин, вы не должны, вы не должны...

Запнувшись, он поджал тонкие губы и поверх очков строго, испытующе взглянул Вадиму Петровичу в глаза, полные слез. На благожелательно приподнятом носу у ландштурмиста проступили капельки пота:

— Я слезал раньше Екатеринослава, ваша супруга записала мне свой адрес. Я на этом настаивал, я не хотел потерять ее, как пролетевшую птицу. За дорогу мне удалось внушить ей некоторую бодрость. Она очень умна. Ее ясный, но мало развитой ум жаждет добрых и высоких мыслей. Я ей сказал: «Горе — это участь миллионов женщин в наше время,— горе и бедствия должны

быть превращены в социальную силу... Пускай горе придаст вам твердость».— «Для чего,— она спросила,— мне эта твердость? Разве я хочу жить дальше?» — «Нет, — я ей сказал, — вы хотите жить. Нет ничего более значительного, чем воля к жизни. Если мы видим кругом только смерть, бедствия и горе, — мы должны понять: мы сами виноваты в том, что до сих пор еще не устранили причины этого и не превратили землю в мирное и счастливое обиталище для такого замечательного феномена, как человек. Позади вечное молчание и впереди вечное молчание, и только небольшой отрезок времени мы должны прожить так, *чтобы счастьем этого мгновения восполнить всю бесконечную пустоту молчания...»* Я ей это сказал, чтобы утешить ее... Итак, я слез и прибыл в свою часть. Ночью мы получили сведения, что поезд, в котором ехала ваша жена, был остановлен бандой махновцев, ограблен и все пассажиры уведены в неизвестном направлении. Вот все, что я знаю, камрад Рощин...

На сцене началось кабаре. Пианино и музыканта с дыбом стоящими волосами задвинули за кулисы. Появился дон Лиманадо, конферансье, московская знаменитость, хорошенький, с подведенными глазами, неопределенного возраста человек в смокинге и соломенной жесткой шапочке, надвинутой на брови.

— Поздравляю вас, господа, с германской революцией! — Он сам себе крепко пожал руки.— Только что был на вокзале. «Здрасте, — говорю я германскому обер-лейтенанту, — как поживаете?» — «Очень хорошо, — говорит он, — а вы как поживаете?» — «Тоже очень хорошо,— говорю я, — на дворе ноябрь, в соломенной шапочке холодно, а теплую я в Москве оставил, теперь не знаю, когда выручу». — «А вы купите, говорит, теплую шапку». — «Я, говорю, на шапку тысячу марок скопил, а сегодня мне за них пять карбованцев выдали». — «Ай-ай-ай», — говорит он. «Ай-ай-ай», — говорю я. Так мы с ним поговорили о том, о сем, а его солдаты на крыши вагонов лезут. «Уезжаете?» — говорю я. «Уезжаем», — говорит он. «Совсем?» — говорю я. «Совсем», — говорит он. «Очень жалко», — говорю я. «Ничего не поделаешь?» — говорит он. «А в каком смысле — ничего не поделаешь?» — говорю я. «А в таком смысле, — говорит он, — что без всякого смысла». — «Ай-ай-ай, — говорю я, — а

мы надеялись, что у вас этого не будет». А тут солдаты на крышах как грянут «Яблочко», — я и пошел... Кругом-то темно, ветер-то свищет, в переулках-то стреляют, а мне программу начинать, я опаздываю, на сердце кошки скребут. Я и запел.

За кулисой грянуло пианино. Конферансье подскочил, перебив ногами:

Эх, яблочко,
Ночка темная...
Куда мне теперь идти?
Разве помню я...

Повернувшись спиной к сцене, глядя в глаза этому странному немцу, Рощин спросил:

— Вы не могли бы дать сведения — в каком районе сейчас оперирует Махно?

— По нашим последним сводкам, Махно начал серьезно теснить отступающие австрийские и кое-где германские воинские части. Штаб Махно снова теперь находится в Гуляй-Поле...

10

В начале ноября качалинский полк стоял в резерве для пополнения и отдыха. В нем по окончании боев осталось едва три сотни бойцов. Петр Николаевич Мельшин, получивший неожиданно для себя бригаду, говорил в военсовете, и, по его предложению, командиром качалинского полка был назначен Телегин, лежавший в госпитале, заместителем — Сапожков и полковым комиссаром — Иван Гора. Телегинская батарея вошла в состав полковой артиллерии.

Стояли сырые деньки, пахнущие печным дымом и мокрой псиной. Сырость капала с потемневших крыш, землю развезло, и бойцы, возвращаясь с ученья, волокли пуды грязи на сапогах. Настроение у всех было, как в праздник. Окончилась страшная страда: донская армия была отброшена далеко на правый берег Дона. По слухам, атаман Краснов в Новочеркасске бился головой о стену, узнав об этом своем втором страшном разгроме под Царицыном.

Когда кончался день строевых занятий, политпросвещения и ликвидации неграмотности, бойцы в

сумерках, поеживаясь от изморози, разбредались, по селу, — кто к знакомцам, кто к новоявленной куме, а те, у кого не было ни знакомых, ни кумы, просто ходили с песнями или, забравшись в сухое место, балагурством приманивали девчат. И часто, начиная с шуток и смеха, кончали спорами, иной раз жестокими, потому что души у всех были взъерошены.

Из десяти моряков телегинской батареи двое были тяжело ранены, трое убиты. Осталось пять человек. Расквартировались моряки на хорошем казачьем дворе, брошенном убежавшим хозяином. С ними жила и Анисья, формально зачисленная в нестроевую роту. Наравне с бойцами она проходила строй, и стрельбу, и политпросвещение. Носила теперь опрятную красноармейскую форму и только не хотела стричь вьющихся красивых волос. Увидев столько страстей и смертей, она в эту октябрьскую страду перешла, как переходят вброд по горло, через свое непоправимое горе. Морщины больше не безобразили ее помолодевшего, погрубевшего лица; с тыловых харчей щеки у нее налились, стан выпрямился, походка стала легкой. Вся она приумылась. По ночам, когда моряки могуче храпели в натопленной хате, она секретно стирала на них, штопала и чинила, иной раз за этим делом ее заставал рожок горниста, игравший протяжную зорю в седом рассвете.

При полку остался и Кузьма Кузьмич Нефедов на внештатной должности писаря. В самые тяжелые дни, шестнадцатого и семнадцатого, он проявил не то что мужество, а даже особую отчаянность, вытаскивая раненых из огня. Это было отмечено всеми. Не отставал он и в дальнейшем, когда остатки качалинского полка перешли в контрнаступление, не отстал и за Доном, когда полк был сменен и отведен в тыл.

Иван Гора, встретив его однажды у полевой кухни,— промокшего, грязного, худого, возбужденного, — поманил пальцем:

— Что мне с вами делать, Нефедов?.. Никак не пойму — что вы за человек?.. Поп-расстрига, и года ваши почтенные. Чего вы к нам привязались?

Кузьма Кузьмич шмыгнул, потому что с облупленного носа его капал дождь, и рыжими веселыми глазами взглянул на комиссара:

— Привязчивый, Иван Степанович, — привязываюсь

я к людям... Куда пойду, какое мне еще искать человеческое общество? Ведь я же мыслящий...

— Да не в том дело, слушайте...

— Что касается полкового пайка (Кузьма Кузьмич указал на полный котелок), — так этот кулеш с сальцем я заработал честно, шкуры своей как будто не жалел... Штаны, сапоги, как видите, сам добыл у врага на поле брани... Ничего не прошу, никого не обременяю. И в дальнейшем надеюсь быть полезным... Ведь революции смышленый человек нужен? Нужен... У вас в полку грамотного писаря нет. А я пишу даже по-латыни и гречески... Да мало ли на что я еще пригожусь...

Иван Гора подумал: «Отчего же, в самом деле, не использовать человека, если он смышлен и хочет работать...»

— Да вот, — сказал, — происхождение ваше смущает, как бы вы туман не стали разводить...

— Был, был когда-то соблазнен миражами, скрывать нечего, — проговорил Кузьма Кузьмич, — окунулся в их пустыню... Нет, агитации моей не бойтесь, с богом я в ссоре...

— В ссоре? — спросил Иван Гора. — Так ли? Ну, ладно, вечерком зайдите ко мне в хату, потолкуем...

В сумерках Кузьма Кузьмич явился в хату к комиссару, который сидел у окошка в шинели и фуражке и читал газету, шевеля губами. Иван Гора сложил газету, встал, запер дверь:

— Садитесь. Тут одно дело такое, некрасивое... Вы язык-то умеете держать за зубами. А впрочем, вам же будет хуже, если начнете болтать лишнее: мне все известно, даже кто из бойцов что во сне видел...

Он стал отрывать от белого края газеты узкую полоску, кряхтя, свертывал ее плохо сгибающимися пальцами:

— Народ убрался, хлеб свезли, с молотьбой маленько запоздали из-за военных дел. Но народ нам доверяет, это главное, — хочет верить, что Советская власть стала прочно... Хорошо... А ведь скоро — покров...

Иван Гора чуть приподнял глаза на Кузьму Кузьмича, большой нос его смущенно потянул ноздрей...

— Скоро покров... Суеверия-то в народе еще живут... Декретом их в один день не отменишь... Нужна, так сказать, длительная... Ну, ладно... А девки ходят

недовольные, ждут покрова, а сватов никто не засылает. Вчера был в селе Спасском. Бабы остановили мою бричку и давай плакать, и ругают и смеются... Настроение вполне советское, но дался им этот покров... Село богатое, хлеба много, хлебной разверстки у них еще не было... Подойти к ним надо умно, чтобы сознательно дали хлеб... Но как там проагитируешь, когда бабы выдернули у меня вожжи и кричат: дай им попа... Я их стыдить: мало вы, говорю, нагляделись, как ваши попы генералу Мамонтову кадилами махали... «Так то ж, говорят, были белые попы, мы их сами из села повыгоняли, а ты нам дай красного попа... Нам нужно свадьбы гулять, у нас девки застоялись, да у нас, говорят, еще полторы сотни дитенков, по люлькам кричат некрещеные...» Тьфу ты, право, даже голова у меня болит другой день... Так меня расстроили эти бабы... Не могу же я им попа ставить? А вопрос надо решать. Они подумают, подумают, да и пошлют в Новочеркасск за старым попом... Значит — конфликт... Ты, Кузьма Кузьмич, в этих делах смышлен. Выручи меня. Возьми бричку, съезди в село, поговори с бабами... Только чтобы я ничего не знал. А девок этих я видел, ужас: каменные. — Иван Гора показал себе на грудь. — Дело-то человеческое ведь... Поедешь?

— С удовольствием, — ответил Кузьма Кузьмич, тряся лицом и складывая губы трубочкой.

— Скучно ты говоришь, Шарыгин, такая мозговая сухотка, прямо беги от тебя без памяти...

Латугин взял фуражку, надел ее криво — козырьком на ухо — и двинулся на лавке, но не встал, а, подзакатив зрачки, взглянул на Анисью.

Она сидела, нахмуренная от внимания, уставясь, как всегда в часы занятий, на один какой-нибудь предмет, скажем, на гвоздь в стене. Непрйученный мозг с трудом впитывал отвлеченные идеи, — они, как слова чужого языка, лишь частицами, искорками проникали к ее живым ощущениям. Слово «социализм» вызывало в ней представление чего-то сухо шуршащего, как красная лента, цепляющаяся ворсом за шершавые руки. Эта лента ей снилась. «Империализм» был похож на царя Навуходоносора с лубочной картинки, засиженной му-

хами, — с короной, в мантии, окрашенной мазком кармина, — царь ронял скипетр и державу при виде руки, пишущей на стене: мене, текел, фарес...

Но Анисья была трудолюбивая и упорно преодолевала эти несовершенные представления.

Она почувствовала на себе взгляд Латугина, но не оторвалась от гвоздя в стене, только медленно сжала раздвинутые колени.

— Чем же я скучно говорю, Латугин? Статья, которую мы разбираем, напечатана в «Известиях». Она, что ли, тебе не нравится? — спросил Шарыгин. — Если ты воин революции, то, заряжая свою винтовку, ты должен четко представлять себе как текущий момент, так и общие задачи.

Сказав это, Шарыгин перевел томный взгляд синих красивых глаз своих на Анисью. Она продолжала глядеть на гвоздь. Байков проговорил тонким голосом, без смеха:

— На что волку жилет, все равно об кусты обдерет. Озорнику наука — скука.

— Складно! — сейчас же ответил Латугин, тоже без усмешки. — Да не так уж верно. Нет, не наука озорнику скука. Я науку уважаю, если от нее дети бывают... А там скука, где человек не знает, — с какой стороны у слона ноги растут, а с какой голова... Да будет вам меня сердить. Настоящее слово, как баба, обнимет тебя и обожжет, за ним босиком по угольям побежишь... Вот какими словами говори со мной, Шарыгин... А то заладил, как в берестяную дуду: «Мировой пролетарьят да социализм...» Я за него на смерть пошел! Я хочу, чтоб мне про него рассказывали, я бы слушал и верил: когда, где, по какому дереву я в первый раз топором ударю, — этот дом рубить. По каким лугам я гулять пойду в шелковой рубашечке... Эх, стукнуть тебя земным шаром по голове, чтоб ты научился как разговаривать о мировой революции.

Анисья взглянула на его широкое, сильное лицо, с глазами, расставленными, как у племенного быка, взглянула и с тоской подумала, что уж лучше бы вытекли глаза ее.

Ни Гагин, ни Задуйвитер, ни Байков не одобрили поведения Латугина. Беседовали хорошо, мирно, под тихий шум дождя по соломенной крыше. Правда,

Шарыгин по молодости лет, еще не освоясь с наукой, тяженько иной раз размышлял, боясь простых слов, как бы не завели они его куда-нибудь в капкан. С иностранными, проверенными, ему было вольнее. Но все же не следовало Латугину, здорово живешь, поднимать на смех честного товарища, да и петушился-то он и форсил по другой, конечно, причине, — это все понимали, — и причину эту тоже не одобряли.

— Комиссар собирает продовольственный отряд, вот ты сходи к комиссару и попросись, — сказал ему Гагин. — Без дела тебе скучно, хорошего от тебя ждать не приходится, — застоялся, милок...

Байков затряс бородой и засмеялся. Задуйвитер тоже понял намек и, разинув рот с крепкими зубами, громыхнул. Анисья залилась таким горячим румянцем, что выступили слезы. Взяла шинель, отвернувшись оделась, туго перепоясалась и вышла из хаты. Получилось совсем уж нехорошо. Шарыгин, усмехаясь, медленно сложил газету.

— Пойдем поговорим, — сказал он Латугину.

Тот прищурился:

— Поговорим.

И они вышли на двор в темноту, под мелкий дождичек, щекочущий лицо. Шарыгин чувствовал, что Латугин с усмешкой только ждет начала разговора, чтобы хлестко и нагло ответить... Шарыгин хотел со всем спокойствием поставить вопрос о нарушении товарищеской дисциплины и о том, как нужно изживать в себе гнилое буржуазное наследство... Вместо этого, глубоко втянув ноздрями ночную сырость, сказал:

— Оставь Анисью... Нехорошо это... Грязно это... Баловство это...

Сказал и замолк. И Латугин, никак не ожидавший такого поворота, стоял перед ним неподвижно. Ничто не годилось, никакой ответ: ни то, что, мол: «тебя, сопляка, девственника, гувернантку, я не просил мне свечку держать», ни то, что, мол: «многие меня об этих делах просили, да мало от меня целыми уходили...» Кругом получалось, что он, Латугин, грязный человек... Поднималась в нем жгучая обида... В прежнее время тут бы и лезть на рожон... Он даже зажмурился, скрипнув зубами... Нельзя!..

— Да-да, — сказал, — вот когда ты меня попрекнул,

значит, я кровь свою проливал напрасно, значит — как был я бродяга, бандит, сукин сын, так и остался?.. Ну, спасибо тебе, Костя...

Он пошел к воротам и бешено ударил кулаком в калитку.

Жизнь медленно возвращалась к Ивану Ильичу Телегину. (Он, помимо нервного потрясения, был ранен во многих местах крошечными кусочками стали от разорвавшегося снаряда.)

Вначале было забытье. Потом оно сменилось сном с короткими перерывами, когда ему давали еду. Затем он стал ощущать блаженное состояние покоя. Глаза его были прикрыты повязкой. Он лежал в уединенной комнате с плотно занавешенным окошком. Иногда он слышал мягкие шаги, шепот, — не более громкий, чем шелест листьев, — звон ложечки, шорох платья. Непрерывно около головы его тикали часики, то явственнее, то слабее. Ощущения, идущие к нему извне, ограничивались только этим и еще невидимым присутствием какого-то осторожного существа. Он вздохнет, и сейчас же — легкое движение воздуха, и «оно» наклоняется над ним, и он даже чувствует запах, нежный и свежий...

Время от времени вторгалось грубое существо, пахнущее крепким потом, главным образом — табаком:

«Ну, как пульс?»

Нежное существо едва слышно шелестело в ответ. А грубое гудело бодро:

«Прекрасно! Мужик крепкий... Главным образом следите: абсолютный покой, никаких внешних раздражителей...»

Иван Ильич мысленно медленно произносил: «Сам ты внешний раздражитель... Уйди, не гуди... А ты, заботливая, наклонись, поправь чего-нибудь, а еще лучше — погладь руку... Вот видишь, — подумал — и поняла. Что это за сиделка, откуда такую милую нашли?»

Говорить ему было запрещено. Но думать запретить нельзя. Много лет не было с ним такого случая, чтобы остаться — без угрызений и забот — наедине с самим собой. Это была большая награда за все тяжелые годы честной службы. Нечестного он не сделал ничего, и совесть его спокойно дремала, как дымчатый кот

в ненастный день. Мысли его бродили по какому-то полуреальному миру. Чаще всего вспоминалось летнее северное солнце, какое бывало в Петербурге, когда в холодноватый день оно льет свет на синеватый асфальт тротуара, по которому метет ветерок... Сколько думано, сколько было прожито в Петербурге... И вот перед его закрытыми веками выплывает окошко деревянного дома, солнце неярко светит на пузырчатые стекла, за ними чудится ему... Но воспоминание гасло и уплывало, оставалась только любовная грусть от его прикосновения.

Неотвязно в памяти повторялись давно забытые слова песенки, — слышал он ее, точно не вспомнить, должно быть, в Новой Деревне, что за рекой Крестовкой, на даче. В голубоватом полусвете ночи ленивая худая цыганка пела вполголоса, перебирая струны: «Пойдете вы направо и налево и потом — темным коридором обогнете вы весь дом, направо будет дверца, а за дверцею чердак, все, что вы искали, — не найдете вы никак...»

Пела им — мужчинам, сидевшим молча на стульях перед ней, — о вечном томлении, без него и жизнь не жизнь... Ищи, ищи, заглядывая на чердаки, — нет ли и там? Эх, вы, глупые, с похмелья! Кого вы ищете? Идете по длинной улице на закат северного солнца, под ногами ветерок гонит пыль, ищете — где же это окошко, с пузырчатыми стеклами? Не за ним ли сидит на подоконнике самая милая на свете, в ситцевом платьице, подняв колени, — читает книжку, а в книге написано про тебя, который идет, ищет. Все это вздор, — ищете вы самих себя...

В тишине и темноте, под тиканье часиков, Иван Ильич полудремал, полугрезил: вместе с возвращением к жизни в нем пробуждалась любовь к себе, глубоко запрятанная, принципиально им осуждаемая. В этом полуфантастическом мире он будто собирал свои воспоминания, самые добрые, самые невинные, самые любовные, — то, что человек за свою жизнь теряет по пути, и часто безвозвратно. Любовь к себе приходила к нему, как здоровье. Он уже и ел с аппетитом, и потихоньку от сестры крепко потягивался.

Однажды, хорошо выспавшись, поев гречневой каши, удобно устроясь на подушке, он неожиданно громко сказал:

— Сестрица, можно поболтать с вами немножко, о пустяках...

Она поспешно нагнулась к нему.

— Тсс, — прошептала испуганно и ладонью сжала его губы. — Тсс! — А когда отняла руку, он опять — уже с озорством:

— Тогда вы что-нибудь расскажите... Вот у вас рука приятная, маленькая. Сколько вам лет? Как вас зовут?

Она несколько раз коротко вздохнула, не то всхлипывая, не то задыхаясь... Чудная какая-то была. А он ей хотел сказать вот что: «Я проснулся, и вдруг мне пришло в голову... Если человек сам себя не любит, тогда он никого не может любить, — на что он тогда пригоден? Например, бесстыдники, подлецы — они себя не любят... Спят они плохо, все у них чешется, вся кожа свербит, то злоба к горлу подходит, то страх обожжет... Человек должен себя любить и любить в себе такое, что может любить в нем другой человек... И в особенности — женщина, его женщина...»

Но Иван Ильич ничего этого не сказал; сестра ушла из комнаты и скоро вернулась с доктором, врагом внешних раздражителей, который нахальнейше начал гудеть:

— Это что же вы, батенька, озорничаете? Нет, нет... Несколько слов, самых необходимых, еще разрешаю... Мне вас нужно представить в полк в самой лучшей форме. И ваша обязанность, красавец, как можно скорее стать полноценным человеком... Дайте-ка ему снотворного, сестра...

— Стой, мила душа, я здесь вылезу, в село я пешком войду, — сказал Кузьма Кузьмич.

— Чего же пешком-то?

— Ты уж меня не учи. Войду как странник, — понятно тебе?

— Дело твое... — Латугин остановил сытого артиллерийского мерина на разъезженной дороге около плотины с корявыми и уже облетевшими ветлами. Село Спасское было на той стороне плоского пруда. Близко к берегу подходили гумна с ометами свежей соломы. На камышовых крышах, низко и тепло прикрывавших мазаные хаты, из труб курились дымки.

— Самогон гонят всем селом, — сказал Латугин и, глубоко вздохнув, стал глядеть на гусей. Сытые, белые, важные птицы шли по плотине. Передний гусак, увидав стоявшую тачанку с двумя людьми, неодобрительно остановился, и за ним остановилось полсотни гусей. Они погоготали между собой, совещаясь, и вперевалку, сползая на животах, спустились с откоса плотины на воду и поплыли, будто гонимые легким ветерком, по темной воде к болотцу.

— В таком гусе фунтов пятнадцать, в подлеце, — сказал Латугин. — Варить его надо, ух, мать честная!..

— Ты, мила душа, поезжай. — Кузьма Кузьмич торопливо стал совать ему руку. — И скажи комиссару, мне нужно здесь обсмотреться, то да се — покрутиться. А уж тогда через недельку, что ли, — приходите с продотрядом. Все будет полюбовно.

— Сопьешься ты здесь, Кузьма.

— Я, мила душа, его и в рот не беру. Ну, поворачивай, поворачивай, а то нас еще увидят...

Латугин повернул тачанку, сердито ударил хворостиной задастого мерина и укатил, не оборачиваясь. А Кузьма Кузьмич пошел через плотину на село. Ветхая до зелени бекеша его, в свое время переделанная из поповской шубы, была подпоясана ситцевым платком, за спиной — красноармейский холщовый мешок, на голове — солдатская высокая шапка времен недоброй памяти империалистической войны. Словом, вид у него был подходящий.

Скучно в селе глубокой осенью. Вишни и яблони обронили листву, и она лежит, мокрая от ночного инея, на развороченных грядах, откуда повытаскали овощи. Вместо подсолнухов, приманивающих солнце в маленькие окошки хат, торчат одни гнилые стебли. Грязь повсюду — до самого порога. Полинявшие ставни скрипят и хлопают от студеного ветра, и не хочется выглянуть в окошко, откуда увидишь разве только ворону на плетне, угрюмо ожидающую, когда хозяйка выкинет на двор что-нибудь съедобное.

«Живут, не разбужены, кряхтят да почесываются. Страсти дремлют, желания без фантазии... А ведь каждый создан по образу и подобию какого-нибудь Аристотеля или Пушкина. Те же у вас два глаза, чтобы видеть чудеса земли, к которым нельзя привыкнуть... Та

же у каждого на плечах голова — самое удивительное из всех чудес... (Кузьма Кузьмич даже тряхнул высокой шапкой.) Если ее сопоставить со вселенной, то головы и нет совсем. А с другой стороны, вся вселенная в этой голове, — она, голова, в такие тайны проникает, куда библейский бог и носу не совал... Так что же из окошек-то на ворон смотреть?»

Примерно так рассуждая, причмокивая от удовольствия, Кузьма Кузьмич шел мимо низеньких плетней и хат, придавленных камышовыми крышами. Ему встретилась девушка в сапогах, в нагольном коротком полушубке, — несла на коромысле полные ведра. Широка, статна, неприветлива.

— Надеждой зовут-то? Ай не ошибся? Здравствуйте.

Девушка остановилась, медленно повернула к нему широкое лицо:

— Ну, Надеждой. А вам откуда известно?

— Духовидец.

— У нас такие нынче не водятся. Идите своей дорогой.

— Ну, прогнали меня, — сказал Кузьма Кузьмич, — пошел я опять в степь — считать курганы. Эх, длинна дорога — идти одинокому. Боже мой, какая даль!..

Девушка передернула губами. Она шагнула было, чтобы отойти, но опять остановилась, подозрительно глядя на улыбающееся, невероятно хитрое лицо этого человека. Кузьма Кузьмич развел перед ней руками:

— Спать захочу — в стогу высплюсь, есть захочу — сворую чего-нибудь... Не это мне нужно, хорошая моя... Пророки по острым каменьям босиком ходили, пророчествовали. Святители на столпах стояли, акридами питались... А знаешь — что такое акриды? Кузнечики... Из-за чего терпели? Ну-ка ответь... Задумалась... (Он придвинулся к ней, вытянул губы.) Человека любили... Каждый человек — чудо, а ты, Надежда, чудо двойное... А что вижу: пшеничку вы намолотили, самогону накурили, по дворам паленой свининой пахнет... Всего у вас довольно... А веселья нет... Света у вас нет...

— Ты керосин, что ли, продаешь? — уже неуверенно спросила девушка, оглядываясь.

— Ничего не продаю и милостыни не прошу. Пришел я к вам веселиться и вас веселить.

Девушка помолчала, опять взглянула на него длинными глазами, серыми, как туча. Присев, поставила ведра, положила на них коромысло:

— У нас на селе угрюмо, нас не развеселишь... А чем ты собрался веселить?

— Значит, знаю средство, когда говорю... Я — поп-расстрига...

Девушка раскрыла рот, такой свежий, с такими ровными белыми зубами, что Кузьма Кузьмич затопотал от удовольствия. И неприветливость у нее как ветром сдунуло с лица.

— Ох, — сказала она, положив руки под грудь, на которой не сходился полушубочек, — ох, — повторила она, переступив широкими бедрами, — так пойдемте же в хату... Отец с вами поговорит, у него ключи от церкви...

— Нет, — сказал Кузьма Кузьмич, — не пойду... Вы ко мне придите... Так-то, чернобровая...

Подмигнул, весело подернул плечами и пошел по улице, посматривая, где двор поплоше.

Настал день, когда Ивану Ильичу сняли повязку с глаз. Произошло это в сумерки. За дверью сестра что-то испуганно шептала доктору... «Глупости, — повторял он, — мужик не орхидея — делайте, как я сказал...» Сестра вернулась к кровати, нагнулась так, что тонкие волосы ее защекотали нос Ивану Ильичу, сняла повязку, и в первый раз, вместо шелеста и шепота, он услышал ее голос — слабый и прерывающийся.

— Больной, лежите спокойно, привыкайте к свету...

С некоторым страхом он открыл глаза после долгой, долгой темноты. Все было неясно. В комнатку проникал полусвет, — на окне с одного угла было отогнуто занавешивающее его одеяло. В ногах кровати сидела около столика сестра, — лица ее он не мог разобрать, — она низко склонилась и делала что-то с марлевым бинтом.

Иван Ильич лежал и улыбался. Над головой — покатый потолок, там, конечно, лестница на чердак, а это — то самое пузырчатое окошко. Лучше места не найти... И сейчас же, будто отдирая свежую плеву на ране, поползло воспоминание о другом месте, дымном, грохочущем, взрытом, когда перед ним блеснул ослепи-

тельно-желтоватый разрыв... «Не надо, не хочу». Иван Ильич отстранил воспоминание, едва не начавшее скручивать ему мозг... Снова стало слышно, как тикают часики, мягко и безбольно отрывая ровные промежуточки жизни...

— Сестра, — позвал Иван Ильич, — я плохо вас вижу.

Она затрясла головой. Бинт покатился с ее колен, размотался, она опять принялась его скручивать. У нее были легкие движения,— должно быть, совсем еще молоденькая... И ведь какая опытная! Сколько ни силился Иван Ильич всмотреться в нее, сумерки сгущались, и теперь только неясно различался ее холщовый халат и косынка, закрывающая плечи, как у сфинкса.

«Понятно, понятно... Бедняжка, должно быть, изуродована оспой или уж как-нибудь особенно некрасива. Чувствует, конечно, как я ей благодарен. — Иван Ильич вздохнул. — А сколько таких — нежных и преданных, — друзей на жизнь и смерть. И умненькая, наверно, — некрасивые все умницы... На них-то и надо жениться, их-то и любить... А мужики готовы шкуру с себя содрать — только бы у них на подушке лежала смазливая головка с кукольными ресницами, пришепетывая всякую дребедень и пошлости... Даша другое дело, не за красоту ее полюбил... — Иван Ильич закрыл глаза, положил кулак под щеку. — Врешь, врешь... За особенную красоту полюбил... А вот она и не захотела...»

Сестра неслышно встала, думая, что он заснул, ушла и долго не возвращалась. Потом едва скрипнула дверью. Появился желтый, неяркий свет. Иван Ильич, не шевелясь, чуть-чуть приоткрыл веки. Он увидел, что вошла Даша в белом халате и косынке. Она несла маленькую жестяную лампу, прикрывая огонь просвечивающей розовой ладонью. Иван Ильич не удивился, увидев Дашу, — только он не поверил, что это Даша.

Она поставила лампу на стол, приспустила огонек, села и начала глядеть на Ивана Ильича. Лицо у нее было худенькое, как у девочки, перенесшей тиф. В углу слегка припухшего рта — морщинка. Освещена одна щека и глаз, спокойный и огромный, с точечкой лампового огонька в зрачке. Устраиваясь сидеть долго, она оперлась локтем о колено и опустила подбородок на кулачок. Так сидеть умела только одна Даша.

...В тот вечер в Петербурге она пришла на «Центральную станцию по борьбе с бытом» — телегинскую квартиру, там он увидел ее впервые, она показалась ему прекрасной, как весна. Щеки ее горели, ей было тепло в суконном черном платье. Комната, где на досках, положенных на чурбаны, сидели поэты, участники «великолепных кощунств», наполнилась нежным запахом духов. Слушая заумные стишки, она опустила подбородок на кулачок и мизинцем трогала чуть-чуть припухшие, капризные губы... Стул, на котором она сидела, он унес потом к себе в кабинет...

Все это вспыхнуло в памяти между двумя ударами сердца. Все громче оно стучало у Ивана Ильича, как сторож в полночь: очнись! Но эта женщина на табурете — в ногах кровати — не могла же быть Дашей! Не шевелясь, он жадно глядел на нее сквозь щелки век... Должно быть, она заметила это и вся подалась вперед...

— Сестра, — позвал он, — сестра!..

И, широко раскрыв глаза, приподнялся... Даша сорвалась навстречу ему с тревожным, слабым, счастливым криком... Он схватил ее за плечи, за спину, будто страшась, что растает видение... Это была Даша, худенькая, хрупкая, живая! Он прижимал к себе ее лицо и чувствовал, как дрожат ее губы, все тело ее вздрагивало... Он взял ее голову и отстранил, чтобы глядеть в ее любимое, всегда новое, всегда неожиданно прекрасное лицо. Она повторяла с закрытыми глазами:

— Я с тобой, все хорошо, все хорошо...

Он стал целовать ее рот, уголки ее рта, где страдания проложили две ниточки, ее закрытые глаза.

— Теперь успокойся, успокойся, Иван, милый, — шептала она, — я никуда не уйду, — я — с тобой навсегда, навсегда...

К вечеру все село знало, что у вдовы-бобылки, Анны Трехжильной, в хате сидит какой-то человек, который догнал Надьку Власову на улице и сказал ей: «Пришел вас веселить, я поп с красной стороны...» Женщины все, старые и молодые, этому поверили. У Надьки язык заболел рассказывать то же самое, как она несла ведра, и еще у нее было будто предчувствие, он и окликни:

«Надежда!» («Да батюшки, — перебивали слушательницы, — откуда же он узнал?») «Вот то-то, что — духовидец...» И лицо у него — русское, красное, будто вся кожа содрана, волосы до плеч, одет худо-плохо, но не голодный, веселый, все загадками говорит...

Мужчины, слыша бабьи пересуды, смеялись: «Как бы этот духовидец село не поджег с четырех концов... Был бы он доподлинно поп, первым делом — шасть в самую богатую хату... А у Трехжильной и тараканам-то есть нечего... Нет, бабочки, надо его вести в сельсовет, пусть предъявит документы... Может, он разведчик от бандитов? То-то...»

«Полно зубы скалить, людям смешно, — отвечала жена такому человеку, и другие женщины поддакивали единодушно. — Слушались мы вас до революции, — кричала жена, бесстрашно сверкая глазами, — доброго от ваших приказов мало видели... — И упирала кулаки в могучие бедра. — Ума у нас не меньше вашего, да понятия больше... Милые мои, — обращалась она к женщинам, — да взгляните на мою Надьку, у нее кофта на груди лопается... В зеркальце поглядит: мама, зовет, мама, за что я пропадаю? Так что же ей — до нового покрова ждать? — И опять мужу: — Нет, почему он к тебе в хату не пошел — свинину жрать? Христос по одним богатым, что ли, ходил? Потому он у этой Анки, у дубленой шкуры, сидит, что он — красный поп, ему не свинина твоя нужна, у него забота о нашем горемычном счастье».

Человек только махал рукой, уходил куда-нибудь. К вечеру женщины собрались толпой около Анниной хаты и послали туда делегаток. Прежде чем войти, делегатки узнали от девчонки, от соседей, что Анна Трехжильная топила сегодня с утра баню (плохонькую черную баньку на задах, на берегу озера), и поп там мылся, и она дала ему покойного мужа чистую рубашку. Поп сейчас, после бани, собирается пить с Анной шалфей (в селе его пили вместо чая).

Поп сидел в голубой линялой рубахе на лавке, положив руки на стол, и — Надька не обманула — лицо у него было красное, можно испугаться, губы сладко сложены, как у медведя. Вдова жарила на лучинках яичницу; из самовара сквозь худую трубу, наставленную в отдушник, гудело синее пламя.

Три делегатки вошли, с поклоном сказали: «Здравствуйте», — и сели на лавку поближе к двери. Они ничего не говорили, но все замечали.

— Выкладывайте, зачем пришли? — вдруг громко спросил Кузьма Кузьмич.

У делегаток заметались глаза. Одна, Надеждина мать, ответила приторным голосом:

— Обычаи-то, говорят, отменили? А мы, батюшка, за обычаи. Свадьбу играют один раз, а жить долго... Так, что ли?

— Долго жить — много доброго нажить, — ответил Кузьма Кузьмич. — За чем же у вас дело стало?

— Да ты нас не бойся, мы советские. Мы в сельсовет выбирали, голосовали за Советскую власть. Церковь запечатали и попа постановили сдать в уездную чеку за храненье пулемета.

— Ого, — сказал Кузьма Кузьмич, — поп-то у вас был серьезный.

— И ведь как энтот поп нам грозил: «Я, говорит, антихристы, ваш митинг из «максима» полью, из окошка-то...» Так нас напугал... Наши невесты, конечно, голосовали со всем обществом, а когда подошло к покрову, захотели венчаться в церкви, — уперлись, сговорились, что ли, а знаешь, — девки собьются в стадо, — ни одну не оторвешь... Вот ты и растолкуй нам — что делать? Ты, говорят, расстриженный?

— Обязательно, — ответил Кузьма Кузьмич.

— Как же так?

— За вольнодумство, — с богом в ссоре.

Делегатки тревожно переглянулись. Надеждина мать шепнула одной и другой на ухо, те ей — тоже на ухо. Она — уже голосом пожестче:

— Значит, венчанье будет недействительное?

— Отчего же, — была бы у девки охота... Обвенчаю и в книгу запишу, — на вселенском соборе не развенчают. И венец надену, как на бубновую даму, и вкруг аналоя обведу, и спрошу, что положено, и скажу, что положено, и погуляем без греха и досыта... Чего вам еще нужно?

Другая делегатка сказала:

— У нас еще младенцы некрещеные, без имечка.

— Сколько?

— Можно сосчитать. Много.

— Что же они — некрещеные — хуже соску сосут?

Делегатки опять переглянулись, пожали плечами. Вдова поставила на стол сковороду и, отойдя к печи, мрачно глядела, как Кузьма Кузьмич, захватывая ложкой яичницу, уплетает и жмурится.

— И крещенье будет действительное? — спросила вторая делегатка.

— Самое действительное, как при Владимире Святом.

— Как же ты служить будешь — без дьякона, без певчих?

— А мне зачем они? Один справлюсь, — на разные голоса.

Тогда Надеждина мать подошла к нему, села около и ребром ладони постучала по столу:

— Много денег возьмешь?

Кузьма Кузьмич ответил не сразу. Она даже тяжело задышала, и рука у нее начала дрожать, а другие две делегатки, сидя у двери, вытянули шеи.

— Ни копейки я с вас не возьму, вот что. Не для этого я сюда пришел. Заплатите только в сельсовете писарю за документы.

Со всех сторон заманчивым показалось предложение этого человека, но и страшно было: а вдруг он — какой-нибудь перевертень... Месяца полтора тому назад, когда село еще было под атаманом Мамонтовым, так же пришел один, в калошах на босу ногу, — зарос бородой от самых глаз. Подошел к хате, где, сумерничая, сидел народ, постоял, покуда к нему привыкли, и сел около старого деда Акима. Думал, должно быть, что ему дадут покурить, но ему не дали. Он нога на ногу закинул и деду — секретно на ухо: «Узнаешь меня, старый солдат?» — «Никак нет». Тот еще секретнее: «Так узнай — я император Николай Второй, в Екатеринбурге не меня казнили, я хожу по земле тайно, покуда не придет время открыться...» Дед Аким был туговат на ухо, не все разобрал, да и зашумел. Народ не дурак, — сейчас же этого императора поволокли на плотину топить, — только тем и жив остался, что все вскрикивал: «Что вы, что вы, братцы, я же пошутил...»

— На юродивого ты не похож, да и нет их теперь, — сказала Надеждина мать и расстегнула бекешу, так

стало ей жарко. — Почему ты денег не берешь? Какие у тебя мысли? Как тебе поверить?

— Я соль люблю. От каждого двора, где буду венчать и крестить, дадите мне по щепотке соли. — Кузьма Кузьмич положил ложку и обернулся к вдове: — Давай самовар! Вот видите, — и указал делегаткам на Анну, худую, с темным опущенным лицом, плоскогрудую, в заплатанной подоткнутой юбке,— она в меня поверила, за мной куда хочешь пойдет. А вы, сытые, гладкие, все ищете — где в человеке гадость, ищете в человеке мошенника. Кулачихи вы, скучно мне с вами, рассержусь, чуть зорька, уйду — искать веселья в другое место...

Анна поставила на стол самовар, и делегатки увидели, что она улыбается, испитое некрасивое лицо ее было счастливое. Надеждина мать, как соколиха, полоснула ее глазами:

— Ладно! — И протянула жесткую ладонь Кузьме Кузьмичу. — Не сердись, далеко ходить тебе нечего, все здесь найдешь...

. . . .

С утра Кузьма Кузьмич влез на колокольню и ударил в большой колокол, — покатился медный гул по селу, к окошкам прильнули старики и старухи. Ударил во второй и третий раз, подхватил веревки от малых колоколов и начал вызванивать мелко, дробно и опять — бум! — в трехсотпудовый. Не успеешь поднести персты ко лбу, — трени-брени! — так и чешет расстрига-поп плясовую.

Кое-кто из почтенных селян вышел за ворота, неодобрительно глядя на колокольню.

— Озорничает поп...

— Стащить его оттуда за волосья, да и отправить...

— Куда отправишь-то, он тебя сам отправит...

— А складно у него выходит, однако... Что ж, девки рады, бабенки рады, пускай народ потешит.

Все село — званые и незваные — готовились гулять. День был мглистый, на траве лежал иней, пахло печеным хлебом, паленой свининой. На ином дворе начиналась беготня, птичий крик, через ворота взлетали гуси, куры... В одной хате томился на лавке в красном углу одетый, побритый жених, не ел, не курил. В дру-

гой обряжали невесту. Старухи, почуявшие, что в таких делах теперь без них не обойтись, — учили ее прилично выть.

Не уточка в берегах закрякала,
Красна девица в тереме заплакала... —

запевала бабушка мертвячьим голосом, и другая подхватывала, горемычно уронив на ладонь морщинистую щеку:

Ты прости, прости, красное солнышко,
Желанный кормилец-батюшка
И родительница-матушка,
Обвенчали меня, продали,
Продали меня, пропили
На чужую дальнюю сторонушку...

Но невесты ни одна не захотели выть, даже досадовали:

— Это в ваши времена, бабушка, пропивали на чужую сторону, у нас одна сторона — советская...

Повсюду варили и пекли, бегали с ведрами и вениками. Из хаты в хату ходили сваты, от которых уже крепко пахло вином. На церковном дворе собиралась молодежь, два гармониста перебирали лады...

В это же время приехал с почты председатель сельсовета, инвалид и кавалер четырех «Георгиев», Степан Петрович Недоешькаши. Не обращая внимания на колокольный звон, будто его и не слышит, он отпер дверь в сельсовете, зашел туда и через некоторое время вышел на крыльцо с молотком и листом бумаги; четырьмя гвоздями прибил лист к двери, вынул из кармана завернутую в обрывок газеты печать, подышал на нее и приложил к своей подписи. На листке стояло:

«Граждане села Спасского, по случаю произошедшей в Германии революции назначаю собрание-митинг сегодня в одиннадцать часов».

Народ повалил к сельсовету. Кузьма Кузьмич, увидев сверху, что церковная площадь опустела, перестал звонить и слез с колокольни. Церковный староста, Надеждин отец, в синем кафтане с галуном, хлопнув с досадой крышкой свечного ящика, сказал:

— Этот сукин сын, Степка Недоешькаши, летось неделю за мной ходил, просил двести целковых — избу тесом крыть. Мстит, одноногий черт! Сорвал свадьбу.

— А что случилось?

— Да где-то еще революция, в Германии, что ли... Митинг согнал, без политики ему минуты не терпится! А уж дурак-то, господи!

На крыльце сельсовета Степан Петрович, работая в воздухе кулаками, стуча по доскам деревяшкой, говорил народу. Лицо у него плотное, рот раззявистый, усы как шипы.

— Международное положение складывается благоприятно для Советской власти! — кричал он, когда Кузьма Кузьмич протискивался поближе к крыльцу. — Германьцы протягивают нам свою трудящуюся руку. Это означает большую помощь нашей революции, товарищи. Германьцев я видал, в Германии бывал. Одно скажу: скупо живут, каждый кусок у них на счету, но живут лучше нашего. Над этим фактом надо призадуматься, товарищи. В таком селе вот, как наше, у них — водопровод, канализация с выбросом дерьма на огороды, телефон, проведен газ в каждую квартиру, парикмахерская, пивная с бильярдом... О школах я и не говорю, о поголовной грамотности не говорю... Велосипед в каждом хозяйстве, граммофон...

По толпе пошел гул, кто-то хлопнул в ладоши, и тогда все похлопали...

— Мне оторвало нижнюю конечность германьским снарядом в Восточной Пруссии. Но я, в данный момент, становлюсь выше личных отношений...

— Понятнее говори! — отчаянно крикнул юношеский голос.

— В этом моем жалком увечье я виню не германьский народ, — не он виноват, а виноват международный империализм... Вот кому нужно горло перервать со всей решимостью... Мы, русские, это поняли раньше, но и германьцы это наконец поняли... И мы, товарищи, на настоящем митинге бросаем лозунг обоим народам: да здравствует мировая революция...

— Ура! — закричал молодой голос, и собрание опять захлопало.

— Перехожу к местным делам... В школе у нас крыша течет, как решето, об этом было постановление. Я спрашиваю — деньги собраны, тес для крыши куплен? Нет. А на гулянку у вас деньги есть. На попа у вас деньги нашлись. От трезвону на десять верст кругом скучно... Ради этих фактов, что ли, германьцы про-

тягивают нам трудящуюся руку? Предлагаю вынести постановление: покуда не будет произведен сбор на ремонт школы, на оплату труда учительницы, также на тетради и карандаши, до покрытия общей суммы: четырех тысяч девятисот семи рублей семи копеек, — свадьбы не играть и трезвона не производить...

Речь председателя произвела впечатление, — главное, что стало стыдно. После него выступило несколько ораторов, и все они повторили его слова, добавив только, что раз уж свадьбы залажены, — канителиться нет расчета, и деньги надо собрать немедля, но не по общей разверстке, а пускай эти шестнадцать богатых дворов, где играют свадьбы, и заплатят. На том общее собрание и вынесло резолюцию.

. . . .

Невесты подняли такой крик, узнав о резолюции, наговорили родителям таких слов, — отцы отмуслили денежки и внесли в сельсовет. Степан Петрович выдал расписки и сказал только: «Качайте».

Было уже под вечер, когда повели невест в церковь. Народ так и ахнул: чего только на них не было наверчено! Шубы с меховыми воротниками, фаты с серебряной, с золотой бахромой, ботинки на двухвершковых каблуках, — невесты шли, как на цыпочках. А когда в притворе они разделись, — батюшки! что за наряды, что за невиданные платья! Разных цветов, в заду узкие, чуть не лопаются, внизу — букетом, шеи голые, а у Надьки Власовой и руки голые до подмышек.

«Глядите, глядите, да неужто это Ольга Голохвастова?», «На Стешку-то взгляните!», «Откуда это у них?», «Известно, — она с отцом пять раз в Новочеркасск на волах муку, сало возила... У новочеркасских барынек наменяно...»

Некоторые бывалые люди говорили так:

«Видал я губернаторские балы, — ну — куда!»

«Что балы... Трехсотлетие Романовых было в Новочеркасске, в соборе собрались барыни, — из карет вылезали, по сукну шли, но до этих — далеко...»

Кузьма Кузьмич вышел без ризы, в одном стихаре и в засаленной камилавке, прикрывавшей лысину. (Прежний поп мало того что убежал из-под ареста, — успел ограбить ризницу.) Кузьма Кузьмич оглянул не-

вест, — красавицы, пышные, налитые! Женихи с испуганными лицами казались мельче их. Кузьма Кузьмич, удовлетворенно крякнув, потер зазябшие руки и начал обряд — быстро, весело, то бормоча скороговоркой, то гудя за дьякона, то подпевая, но все — честь честью, слово в слово, буква в букву, как положено.

Окончив венчание, он велел молодым поцеловаться и обратился к ним со словом:

— В прежние времена вам говорили притчи, — расскажу вам быль. Лет пятнадцать до революции имел я приход в одном глухом селе. Жил я тогда уже в большом смущении, дорогие мои граждане. Я человек русский, беспокойный, все не по мне, все не так, ото всего мне больно, до всего мне дело: ищу справедливости. И вот один случай окончил мои колебания. Пришел ко мне древний старик, слепой, с поводырем-мальчиком. Из-за онучи вытащил трешницу, тоже старую, помял ее, пощупал, положил передо мной и говорит: «Это тебе за сорокоуст по моей старухе, помяни ее за спокой ее души...» — «Дедушка, говорю, ты трешницу возьми, твою старуху я и так помяну... А ты издалека́ пришел?» — «Издалёка, десять дён шел». — «Сколько же тебе лет будет?» — «Сбился я, да, пожалуй, за сто». — «Дети есть?» — «Никого, все померли, старуха жива была, шестьдесят лет прожили, привыкли, жалела она меня, и я ее любил, и она померла...» — «Побираешься?» — «Побираюсь... Сделай милость — возьми трешницу, отслужи сорокоуст...» — «Да ладно, говорю, имя скажи». — «Чье?» — «Старухи твоей». Он на меня и уставился незрячими глазами: «Как звали-то ее? Позабыл, запамятовал... Молодая была, молодухой звали, потом хозяйкой звали, а уж потом — старухой да старухой...» — «Как же я без имени поминать ее буду?» Оперся он на дорожный посошок, долго стоял: «Да, говорит, забыл, от скудости это, трудно жили. Ладно, пойду, добьюсь, может, люди еще помнят...» Вернулся этот старик уже осенью, достал из-за онучи ту же трешницу: «Узнал, говорит, в деревне один человек вспомнил: Петровной ее звали».

Все шестнадцать невест стояли опустив глаза, поджав губы. Молодые мужья, напряженно-красные от тугих воротов рубашек, стояли обок с ними не шевелясь. И народ затих, слушая.

— Русский человек как бурьян глухой рос, имени своего не помнил. Господа господствовали, купцы денежки пригребали, наше сословие ладаном кадило, и вам бы, красавицам, в те проклятые времена не из жилочки в жилочку горячую кровь переливать, а увядать, как цветам в бурьяне, не расцветши. — Кузьма Кузьмич прервал речь, будто задумавшись, снял камилавку, поскреб лысину. Надежда Власова спросила негромко:

— Теперь можно идтить?

— Нет, подожди... Вот мне на склоне жизни и довелось увидать самоё справедливость. Не такая она, как о ней писано у Некрасова. Читали, чай? Нет... и не такая, как мечталось мне, бывало, у речки, вечерком, на одинокой рыбалке, сидя у костерка да похлопывая на шее комаров. Справедливость — воинственная, грозная, непримиримая... Греха нечего таить, — не раз я пугался ее... Как начнут строчить из пулемета да вылетят всадники с клинками, — тут уж не до философии. (По толпе прошел сдержанный смех.) Справедливости не найдешь ни там, — он указал на купол, — ни вокруг себя. Справедливость — это ты сам, бесстрашный человек. Желай и дерзай... Что же вы смотрите на меня? Или я непонятно говорю? Пришел я сюда, чтобы научить вас пировать... Будете вы сегодня, — и он стал указывать рукой поименно, — Оля, Надя, Стеша, Катерина, — плясать так, чтобы половицы стонали, чтобы у Миколая, Федора, Ивана глаза бы горели, как у бешеных. Все... Проповедь кончена...

Кузьма Кузьмич повернулся к народу спиной и пошел в ризницу.

Комиссар полка, Иван Гора, вернулся из Царицына, где ему рассказали, что продотряды, приезжие из Петрограда и Москвы, не всегда справляются с задачей. Люди в них попадаются неопытные, озлобленные от голода, и, видя, как в деревне едят гусей, теряют самообладание. Один такой отряд исчез без вести, другой был обнаружен на станции Воронеж в запечатанном товарном вагоне, там лежали трое питерских рабочих со вспоротыми животами, набитыми зерном, у одного прибита ко лбу записка: «Жри досыта».

Комиссар обещал царицынским товарищам помочь. По возвращении в полк он начал подбирать людей в

отряды, предварительно ведя с ними беседы. В село Спасское назначил ехать Латугину, Байкову и Задуйвитру; вызвал их к себе в хату, — где раньше было голо и нетоплено, а теперь, когда вернулась из госпиталя Агриппина, пол был подметен, у порога лежала рогожа, на столе — вышитое полотенце, и пахло уже не кислой махрой, а печеным хлебом, — попросил товарищей хорошенько вытереть ноги.

— Седайте. Что скажете хорошего?

— Ты что скажешь? — ответил Латугин.

— Да вот слышал, будто наши ребята не с охотой едут за хлебом.

— А причем — охота, неохота? Надо — поехали. Тебе еще — с охотой!

— Да дело-то очень тонкое.

Иван Гора, сидя спиной к окошку, обратился к Задуйвитру, угрюмо стучавшему ногтями по столу:

— Ты, хлебороб, что об этих делах думаешь?

— Тебе сколько пшеницы надо взять в Спасском?

— Многовато. Со ста шестидесяти двух дворов — четыре с половиной тысячи пудов зерна, по классовой разверстке, само собой...

— Столько вряд ли дадут.

— За тем вас и посылаю, чтобы дали. Посылаю без оружия, товарищи.

— Оно и ни к чему, — проворчал Латугин.

— Без него бойче будешь доказывать, — сказал Байков, подмигнув. — Не к врагам едем, — к своим.

— И к своим, и к врагам, — сурово сказал Иван Гора.

— Слушай, комиссар, — сказал Задуйвитер, — я не пячусь, заметь это. Но не наше все-таки это дело — в чужие амбары лазить. Противно.

— А ты как думаешь, Латугин?

— Не лезь ты ко мне в душу, Иван... Привезем тебе хлеб и — точка.

— А ты, Байков?

— А я помор, я человек артельный.

— Товарищи, вот для чего я вас позвал. — Иван Гора положил большие руки на стол и стал говорить тихим голосом, как батька с сыновьями. — Хлебная монополия — это становая жила революции. Отмени сейчас монополию, — сколько бы мы пота и крови своей

ни проливали, — хозяином окажется кулак. Не прежний лавочник, с ведерным самоваром, но — подкованный, в семи щелоках вываренный, каленый...

— Да какой — кулак, кулак? — крикнул Задуйвитер. — Растолкуй ты мне. У меня в хозяйстве две коровы. Кто я?

— Не в коровах дело, а — чья будет власть? Деревенский кулачок день и ночь об этом думает. Он и работника отпустил, он и корову зарезал, и землю осенью не пахал, и на митингах кричит, голосует за Советы. Он крепенький, как блоха.

— Хорошо, Иван... Я домой вернулся, купил еще корову или пару волов. Тогда как?

— А ты волей или неволей пошел в Красную Армию?

— Ну, волей, — согласился Задуйвитер.

— Тогда волов не купишь...

— Почему? Не знаю — почему бы мне не купить волов.

— Интерес у тебя должен быть шире, не из-за этих же двух волов ты взял винтовку...

— Да купит он волов, — сказал Латугин, — чего ты его мучаешь. Говори дальше.

Иван Гора качнул головой, усмехаясь:

— Спорить не стану, а хочется в человека верить... Ну, ладно... Какая же задача у этого класса? Задача у кулака — перехватить хлебную торговлю. Революция ему раскрыла глаза, он уж теперь не деревенскую лавчонку, не кабак видит во сне, — видит элеваторы да пароходы. Если он революцию оседлает, поработаешь ты на него, Задуйвитер, до кровавого пота, и твои волы будут его волы. Он и монополию думает повернуть к своей выгоде. Был случай, — приезжаем мы в село с продотрядом; как ни бьемся, — все мимо: вражда, никакие слова не действуют. Ихний кровопивец, Бабулин, — в плохоньком тулупчике, в худых валенках, ласковый, смирный, только все бороденку покусывает... Что, думаю, такое? Мы в амбары к нему, — там ни зерна. Само собой, порыли, — ничего нет. На скотном дворе — паршивенькая лошаденка да две коровьих шкуры под крышей. Что же он сделал? Узнал, сукин кот, о нашем приезде, пошел по мужичкам: «Ах, да ах, царские исправники вас так не мучили, как мучает Советская

власть. Мне-то, говорит, все равно, я к дочери в город переберусь, дочь моя — за председателем исполкома, а вы — уж не знаю — как этот год переживете. Большевики все берут, и солому у вас с крыш возьмут для Красной Армии... Бог любит милостливых, — идите, братцы, ко мне в амбары, берите хлеб до последнего зерна, живы будем — сосчитаемся...» Расписочки всетаки он с них взял, но — благодетель... Нам он ничего не дал, а зерно свое с мужиков вернет вдвое. Он мал, да он — везде, его много. Справиться с ним нелегко. Он тысячу лет сидит у мужичьего рта, он знает — кого за какую нитку потянуть. Да, ребята, хлебная монополия — капитальное, дальновидное дело. Тяжелое, — правильно. А чего легко-то делается? Целину пахать всегда трудно. Легко только на балалайке играть... Если крестьянин этой большой политики не понимает, — виноват в первую голову ты. Заходишь ты на зажиточный двор, говоришь хозяину: «Отопри амбар». Каждое зерно в нем как слеза. Но каждое зерно — святое, для святого дела.

— А где ключи от сельсовета?

— У председателя же...

— А где председатель?

— Там же гуляет...

Латугин, Байков и Задуйвитер вылезли из тачанки и не знали — что им делать. Человек, у которого они спрашивали, ушел. Они долго глядели, как он колесил по улице, будто земля под ним сама лезла вверх и валилась пропастью. Они сели на крыльцо сельсовета, свернули и закурили. В лицо им дул холодный ветер, гнавший тучи; посыпалась, как из решета, колючая крупа и сразу забила снегом колеи на черной дороге; стало еще скучнее.

— Послушаешь комиссара, аж рука до клинка просится, — сказал Задуйвитер. — А на деле — село как село. Где они, эти враги-то? Видишь ты, как наяривает знатно!

Вдали, дворов через десяток отсюда, виднелась небольшая толпа, — должно быть, те, кого не звали в хату или просто не поместились там. Оттуда доносились ши-

рокие, во весь размах разгульных рук, звуки гармонии и топот ног.

— Ты только цыпочки хочешь замочить, а нырять надо до дна, дорогой товарищ, — сказал Латугин. — Революция требует углубления, — об этом говорил комиссар.

— Углублять, углублять! До каких же пор? Разворочаем все, а жить надо, хлеб сеять надо, детей рожать надо. Это когда же?

— А черт его знает — когда, не у меня спрашивай.

Латугин был зол, кусал соломинку. Задуйвитер, наморща лоб, думал, не отрываясь, не сбиваясь, — по-мужицки, — над вчерашними словами комиссара. Байков сказал:

— Так у нас дело не двинется, ребята. Сходить, что ли, за председателем?

Он приподнялся. Латугин — ему:

— Не пойдешь.

— То есть — как это? Почему?

— Не интересно объяснять тебе причину.

Тогда Задуйвитер — решительно:

— Идти, так уж всем вместе. Пошли за председателем.

— Не пойду.

— Должен подчиниться.

— Будет тебе, Латугин, — примирительно сказал Байков, — да мы к столу и не подойдем, да мы и капли не выпьем, мы председателя из сеней вызовем.

Они пошли искать председателя. Степан Петрович Недоешькаши крепился два дня, на третий стал думать, что село от него может оторваться. Он соскоблил грязь с деревяшки, надел черные брюки навыпуск, закрутил усы и важно пошел в обход по селу.

«Ну, слава богу... Степан Петрович, пожалуйте...» Хозяин обнимал его, иной крепко хлопал в руку: «Председателю — первое место!» Сажали его в красный угол. Сваха подносила густо соленой каши на блюдечке, чтобы он откупился, и он откупался рублем (много не давал), принимал полный стаканчик, закусывал вяленой рыбкой. Он ошибся, думая, что на третий день гулянка подходит к концу. На третьи сутки только и началось широкое гулянье, пляски, песни, обниманье, сердечные разговоры, ссоры, миренье.

Ох, и крепок был народ! Чего только не вынесли за эти годы: и царские мобилизации, когда, уже под конец, начали брать пятидесятичетырехлетних, и пахать пришлось одним женщинам; где-нибудь на севере баба и справляется с одноконной сохой, — в этих местах пахали чернозем тяжелым плугом на двух, а то и на трех парах волов; женщины до сих пор вспоминали эту осень. Много народу умерло от испанки. Село горело два раза. Не успели мужчины вернуться с мировой войны, — начались красновские мобилизации, тяжелые поборы и постои казачьих сотен. Казаки — известно — легки на руку. Кажется уж — свой, кум любезный, а сел казак в седло, и он уж — казак не казак, если, проехав по улице, не подденет на пику пробежавшего поросенка. Все это осталось позади. Теперь власть была своя, недоимки похерены, земельки прибавлено, — народ хотел погулять без оглядки.

Степан Петрович, посидев в одном месте ровно столько, чтобы не обидеть хозяев, шел в другую хату, где пировали. Заводил в красном углу разумные речи с тестем и тещей, со свекром и свекровью — о гражданской войне, кипевшей теперь на севере Дона, под Воронежем и Камышином, где Краснов трепал Восьмую и Девятую армии, — «...так что, свекор дорогой, тестюшка дорогой и сваты дороги, дремать нам нельзя, — как бы не продрематься! — а надо нам помогать Советской власти...» Говорил о домашних делах, и о том, и о сем, и хозяева только дивились, до чего Степану Петровичу все известно: у кого что лежит в амбаре, и стоит в хлеву, и у кого что припрятано.

Все труднее становилось ему переползать на деревянной ноге из хаты в хату и опять начинать сначала: здороваться и садиться. В одном месте он вдруг взял у свахи блюдечко с кашей и эту кашу — голую соль — съел, вытащил из кармана солдатской шинелишки скомканные кредитки, — все, что у него осталось, — шваркнул их свахе в руку, вытянул большой стакан самогону и крикнул невесте, третьи сутки танцевавшей в жаркой духоте, в тесноте, кадриль в десять пар: «Степанида, поддай жару!»

В это время ему сказали, что его спрашивают трое красноармейцев. «Зови их сюда!» — «Да мы звали, они не хотят...»

Степан Петрович оперся руками о стол, нагнув голову, постоял некоторое время. Вылез и, расталкивая народ, пошел в сени, где действительно стояли три серьезных человека.

— Что вы за люди? — спросил он твердым голосом.

— Продотряд!..

Латугин ответил угрожающе, ожидая, что председатель, по крайней мере, пошатнется. Но Степан Петрович, — от которого шел такой густой и приятный запах, что Байков даже придвинулся ближе, — нисколько не пошатнулся:

— В самый раз угодили! Давно вас жду... Народ! — заревел Степан Петрович в раскрытую дверь, за которой стоял шум, звон, топотня. — Временно прекратите музыку! — На этот раз его так сильно качнуло, что Байков взял его на буксир. — Товарищи, вы не куда-нибудь приехали, — в спасский сельсовет! — И, ухватясь за притолоку, он еще решительнее закричал в хату: — Граждане, все на митинг!

Он пошел из сеней на двор, где трое пожилых крестьян, прислонясь к распряженной телеге, пели вразноголос казачью песню, двое, обнявшись, что-то доказывали друг другу, а еще один крутился, никак не находя раскрытых ворот, чтобы уйти домой. И здесь, и за воротами, где плясали под гармонию, Степан Петрович повторил, чтобы шли, не мешкая, к сельсовету.

Бешено вонзая деревяшку в мерзлую землю, он говорил на ходу:

— Гульба гульбой, а дело делом... Списки готовы, запасы выяснены... Посылайте телеграмму в Царицын: хлеб сдан полностью. — На уговоры Байкова и Задуйвитра — отложить митинг хотя бы до завтра, когда народ, по крайней мере, вытрезвится, он повторял: — Кто пьян да умен — два угодья в нем. Вы меня не учите. Завтра будет хуже: надо не дать кое-кому опомниться.

Покуда собирался народ к сельсовету, Степан Петрович разложил перед товарищами из продотряда ведомости и списки и начал горячо шептать:

— Кулацких дворов у нас три: Кривосучки, — это бандит, в девятьсот седьмом ограбил почту, убил почтальона и десять лет прятал деньги, за давностью лет поставил каменный амбар и лавку, в войну нагреб деньжищ на поставках воловьей кожи. В одном Спасском

зарезал половину скота. Сейчас добивается устроить кооперативное товарищество и передать свою лавку, — эту хитрость я раскушу скоро... Про себя он говорит, что у него чахотка, и по ночам видит свет... Опасный человек. Другой двор Миловидова, — этот был подрядчиком на шахтах, вернулся в село перед войной, стал держать тайный шинок с закладом... Такой паук, ростовщик, сволочь, — все село высосал по мелочам. Это он, мы узнали, подослал сюда для пробы одного человека, который говорил про себя, будто он император Николай Второй... Третий двор: Микитенко, — потомственный прасол от отца к деду, у него свои баржи были на Дону. Кроме этих дворов, считай — их родня, сватья, кумовья,—еще дворов десяток. Да есть осторожные мужички: «Чем-то, мол, все это еще окончится, чья-то будет власть, умнее ни с кем не ссориться». Это — противный фронт!.. А вот это — все наши, все наши. — Степан Петрович водил толстым пальцем по спискам. — Положение в селе острое, — либо меня убьют, либо я кое-кому подрежу крылья...

Народ подваливал к сельсовету, — и трезвые и пьяные. Толпа теснилась, колыхалась и гудела. Байков, глядевший в окошко, приговаривал про себя морскую присказку:

Чайки ходят по песку,
Моряку сулят тоску,
И пока не сядут в воду, —
Штормовую жди погоду...

И — громко, товарищам:

— Давайте на крыльцо скорее, а то не было бы качки...

. . . .

Девчонка от соседей, маленькая, веснушчатая, голубоглазая, всезнающая, вскочила в Аннину хату и скороговоркой сказала, втягивая в себя воздух:

— Да батюшки, что у сельсовета делается, мужики колья из плетня уж выворачивают...

Она зыркнула немигающими глазами и все заметила: и то, что Анна — в бордовом платье, которое один раз в жизни надевала при живом муже, в ботинках с ушами, на ней белые чулки, и она, простоволосая, сидит на краешке кровати, а расстрига на этой кровати лежит, подняв коленки, и Анна опять ему чистую рубашку да-

ла — черненьким горошком, и он держит Аннину руку...

— Куда же ты в дверь мечешься! — смущенно прикрикнула на нее Анна, и девчонка выскочила из хаты, ничего не договорив со страху. Но Кузьму Кузьмича она все-таки разбудила. Он притомился за эти дни, — много пил и ел и еще больше разговаривал. Крестьяне ни слова тогда не упустили из его проповеди, кое-чего не поняли, но эти темные места лишь придали ей значительность. В каждой хате ему приходилось толковать преимущественно о том, что сильнее всего их задело: о справедливости. Когда за столом оставались одни пожилые и почтенные, кто-нибудь, кому вино развязало мысли, — отодвинув рукавом кости и объедки, — начинал:

— Кузьма Кузьмич, обидел ты нас... Как же так, — справедливости нет? Тогда — дикий лес.

Другой перебивал его:

— Молодежь наша, — и кивал на другой конец хаты, где крутились юбки, вертелись косы, ленты, возбужденные лица. — Сладу нет с ними. Теперь, они говорят, все можно: бога нет, царя нет, отец с матерью дураки, — вот и хорошо... За какой прикол детей наших теперь привязывать? Где эта становая жила? А ты еще: справедливости нет...

Третий, бородач, вмешивался в разговор:

— Если она — от человека, кто посильней, тот и взял верх, тот и справедлив. И опять мы оказываемся, как обкошенный куст...

— Ты силен? — спрашивал Кузьма Кузьмич.

— Я силен... А рупь сильнее меня, рублем меня всю жизнь били.

— А ты кому-нибудь жаловался?

— Да куда бы я пошел жаловаться?

— В Киево-Печерскую лавру к мощам ходил?

— Нет, туда не ходил.

— Значит, нет справедливости?

— Как так нет? Злоба-то у меня накипела. Я с войны винтовку принес, встал на меже, — вы что, говорю, меня убитым считали? Приверстывай мне три десятины!..

— Приверстали?

— А как же...

— Есть, значит, справедливость?

— Какая же это справедливость, — винтовкой народ пугать? Нет, брат, я никого не обижаю, но и меня не обижайте. А то вон дедушка Аким — один-одинок... Работать больше не может, живет у людей за печкой, дают ему горький кусок. Куда его все труды ушли? Была хатенка, — Миловидов за долги взял... А мои труды куда пойдут? За пятьдесят лет я столько наворочал — четыре каменных дома можно поставить, а у меня локти рваные... Мои труды, как голуби, от меня летят, кому-то на крышу сядут, только не ко мне. Складно ты говорил: «Справедливость это ты — бесстрашный человек». Кузьма Кузьмич, я смерти не боюсь, на хребте еще сейчас двадцать пудов поднимаю, а справедливости не могу добиться. Вот была бы справедливость: чтобы человека считать не на рубли, а на труды... Как этого добиться? Вот тогда бы — спасибо Советской власти...

— Чудак голова, так это же и есть закон Советской власти...

— Ну, значит, до нас еще не дошел.

Кузьма Кузьмич досадовал, что при всей своей хитрости нечего ему ответить такому человеку. С интеллигенцией разговаривать было много легче, чем с мужиками. Во всех застольных беседах он улавливал и будто довольство, и будто недовольство, и смущение, и ожидание. Казалось, эти люди смутно ждут от революции чего-то коренного и торопят ее вперед.

На вторые сутки ночью он приплелся к Анне совсем плох. Сел на пол мимо лавки, хлопал себя ладонями по лицу, закрывался, смеялся, повторял: «Слаб я становлюсь, Аннушка, стар я стал, Аннушка».

Ни слова не говоря, Анна повела его на берег озера в баньку. Сама его мыла и парила. У Кузьмы Кузьмича только лицо было старое, а тело — белое, гладкое, и у Анны клокотала нежность, когда он, как рыбка, подскакивал на полке: «Ну-ка веничком, воздух-то, воздух надо мной секи!»

После бани он успокоился и спал, тихо дыша, до позднего утра. Проснулся, поел молочка, сказал: «Уж ты на меня не сердись, Аннушка, что-то голова болит», — и опять заснул. А когда разбудила его соседская девчонка, он был уже весел по-прежнему.

— Чего девчонка прибегала?

— Да собрание, что ли, красноармейцы приехали за хлебом, ну и шумят.

— Батюшки, это наши!

Кузьма Кузьмич стал торопливо одеваться. Анна молча, исподлобья, поглядывала на него. В это время опять дернули дверь, и девчонка уже только просунула голову:

— Дерутся, народу побили! Власиха мужа повела, весь в кровище... На всю улицу кричит, вас ругает... Митрофан Кривосучка лошадь стал запрягать, ему не дали, — как потащили его за ворота, зачали трепать, батюшки!

Она опять скрылась. Кузьма Кузьмич только шагнул вслед за ней в дверь, — Анна крикнула страшным голосом:

— Не пущу!

Она стояла у печки, высокая, худая, поднимая мужские плечи — закидывалась, будто ей ломали спину. Кузьма Кузьмич изо всей силы сжал ей руку:

— Анна, не дури! Ай, возьму ухват... Успокойся. Я скоро приду... С товарищами, обедать. Напеки нам блинов, слышишь... Ну, перестань, тебе говорят!

Анна — с трудом сквозь стиснутые зубы:

— Хорошо, батюшка...

Соседской девчонке хотелось чего-то гораздо более страшного, чем она видела, бегая к сельсовету и обратно — по дворам, разнося вести. Но собрание действительно было шумное. Вопрос о сдаче хлеба не вызвал больших споров: «Надо — так надо». Прочитанный председателем список справедливой разверстки выслушали в тишине и заставили повторить. В толпе начались короткие разговоры, движение, — одни люди стали ближе тесниться к крыльцу, другие подавались налево, к соседнему огороду, где был плетень.

«Неправильно!» — крикнул всем знакомый властный голос Микитенко. «Правильно, правильно!» — ответило много голосов. На крыльцо кинулся бородатый человек с оторванным рукавом, бросил шапку под ноги и начал выкладывать старые обиды:

— Куда все мои труды пошли? Вон они к кому пошли. Что же, мне у него за кусок хлеба в ногах валяться? Это, что ли, Советская власть?

Его отпихнул другой человек, — бледный от злобы, — стал говорить еще более страшные слова. Тогда часть толпы, стоявшая поодаль, кинулась к плетню, выворотила колья и налетела на собрание с тылу. Латугин, Задуйвитер и Байков сбежали с крыльца в толпу, раскидывая людей, выхватывая из рук у них колья, — кричали: «Никакой паники, все в порядке, мать вашу так, собрание продолжается...»

Стычка была коротка, нападающих оказалось не так много. Кое-кто из них скрылся, кое за кем гнались по улице. Несколько человек осталось лежать на земле, запорошенной снежной крупой....

Кузьма Кузьмич пошел для сокращения пути перелазами через плетни и огороды, запутался и попал на чей-то двор. Там стояли женщины, — одна причитала, другие слушали ее. Увидев Кузьму Кузьмича, они заговорили, и Варвара Власова, Надеждина мать, гневно, подбирая длинные рукава бекеши из чертовой кожи, стала подходить к Кузьме Кузьмичу; другие двинулись за ней.

— Вот почему ты с нас денег не взял, расстрига! — сказала Варвара. — А мы-то, глупые, ему поверили... Все село споил... Все у нас выведал... Всех дураков смутил, смутьян... Продал нас коммунистам... Да что вы на него смотрите, сатану, бейте его до смерти...

— Нельзя меня бить, — ответил Кузьма Кузьмич, отступая, — жалеть будете, бабы... Не трогайте меня!

— А ты нас пожалел?

Сбивая с голов своих платки, разъяряясь, женщины закричали все враз, обвиняя расстригу в каторжной разверстке, и в побоище у сельсовета, и в том, что теперь хорошему хозяину места нет на селе, и в том, сколько гусей и поросят было сожрано за эти дни, — во всем оказался он виноват. Женщины прижали его к плетню. Напрасно Кузьма Кузьмич силился снова очаровать их, насильно улыбаясь и бормоча: «Ну посердились, ну и ладно... Давайте тихо поговорим...» Варвара Власова первая вцепилась ему в волосы с боков ушей, по согнутой спине его замолотили кулаки. Он сообразил, что умнее всего лечь и закрыться руками. Ребра у него так и трещали. «Ох, только бы твердым чем-нибудь не наладили...» И он услышал дикий голос: «Колом его, перевертня!» Попробовал вскинуться, но лишь

потемнело в глазах. И вдруг его отпустили. Тогда он услышал свое кряхтенье и с усилием перестал кряхтеть. Его подняли и прислонили к плетню. Кузьма Кузьмич разлепил забитые снегом и мякиной глаза и увидел Анну, из-за юбки ее — восторженное личико веснушчатой девчонки; увидел Латугина, Задуйвитра, Байкова.

— Жив? — спросил Латугин. — Ему стакан самогона сейчас же, принесите кто-нибудь. Ну, Кузьма, натворил ты тут делов... На собрании постановлено благодарить тебя за антирелигиозную агитацию.

— Ты не можешь представить, Даша, до чего я был серым и занудливым человеком все это время, то есть с самого Петрограда, когда мы расстались... Был, понимаешь, был... Есть в нас какая-то подсознательная жизнь. Как недуг, — томит, и тлеешь на медленном огне... Объясняется, конечно, просто... Ты меня разлюбила, и я...

Даша быстро обернула к нему голову, — серые, влажные, всегда страшные глаза ее сказали, что он ошибается, — она его не разлюбила. От этого взгляда Иван Ильич на минуту онемел, рот его расползся в улыбку, не слишком умную, во всяком случае — счастливую. Даша продолжала укладывать в маленькую корзинку то, что сегодня утром Иван Ильич, обегав десяток учреждений, получил в виде вещевых пайков.

Здесь были вещи нужные и полезные: чулки; несколько кусочков материи, из которых можно было сшить платье; очень красивое батистовое белье, к сожалению, на подростка, но Даша была так хрупка и тонка, что могла сойти за подростка; были даже башмаки, — этим приобретением Иван Ильич гордился не меньше, чем если бы захватил неприятельскую батарею. Были и вещи, о которых нужно было думать: пригодятся ли они в предстоящей походной жизни? Ивану Ильичу их всучили вместо простынь на одном складе, — фарфоровую кошечку и собачку, кожаные папильотки, дюжину открыток с видами Крыма и чрезвычайно добротного матерьяла корсет с китовым усом, такой большой, что Даша могла им обернуться два раза...

— Дашенька, я говорю о нашем прощанье на вокзале... Ты мне сказала тогда что-то вроде: «Прощай

навсегда...» Может быть, просто послышалось, я был тоже очень подавлен... Ты была зелененькая, бледненькая, далекая, разлюбившая...

— Какая гадость, — сказала Даша, не оборачиваясь. Она завертывала кошечку в толстый чулок, чтобы не побилась в дороге. Даша всегда была рассеянна к вещам, но эти две фарфоровые безделушки, хорошенькая кошечка и спящая собачка с большими ушами, почему-то ей очень нравились: будто они сами пришли к ней, чтобы устроить для Даши в этой большой, страшной, разоренной жизни, над которой неслись грозовые тучи идей и страстей, — маленький мирок невинных улыбок...

— Во всяком случае, с этим образом твоим я уехал из Петрограда... Унес его, с ним жил... Ты была со мной, как мое сердце со мной. Я так и решил: проживу одиноко, холостяком...

Он старался двигаться по комнате так, чтобы Даша была в центре его вращения. Косынку она сняла, вьющиеся пепельные волосы ее были перехвачены на затылке красной атласной ленточкой (выдали на складе артиллерийского управления). Даша то нагибалась над корзинкой, поставленной на табурет, то, опустив руки на бока, обдумывала что-то. На ней был, очаровательнее всякого какого-нибудь расфуфыренного платья, белый сестрин халат, и она его еще перетянула в талии (тоже, как и ленточка, было это не без умысла)...

— Как странно, Дашенька, опасность, смерть раньше казались как-то безразличны — убьют так убьют... В военном деле это совсем не значит, что ты храбрец, а просто — меланхолик... А теперь мне задним числом иной раз страшно... Хочу жить тысячу лет, чтобы вот так тебя трогать, смотреть на тебя...

— Хороша я буду через тысячу лет... Слушай, Иван, что же все-таки мне с ним делать? — Она опять развернула корсет и приложила его к себе. — Здесь три женщины могут поместиться. Может быть, не брать его?

— А вдруг пополнеешь, пригодится.

— Не ношу я никогда корсетов, ты с ума сошел. Знаешь что, — если вытащить из него усы и распороть, — может выйти хорошенький жилет.

Иван Ильич воспользовался тем, что обе руки ее были заняты, подошел со спины и нежно привлек Дашу:

— Так — правда? Скажи еще раз...

— Конечно — правда... Ты единственный человек на земле, без тебя я — ничто... Я же пошла тебя искать... Иван, ты все-таки соображай, — она высвободила плечи и слегка отстранилась, — нужно соразмеряться с силой, ты когда-нибудь просто меня сломаешь... Слушай, чего мы забыли? Хотя теперь уж поздно...

— Моментально слетаю...

— Хорошо бы достать губку...

— Есть губка...

Иван Ильич кинулся к шинели и вытащил из кармана губку и еще несколько принудительных предметов.

— А вот это, Даша, мне никто не мог объяснить — для чего это, но я все-таки взял.

— Иван, это роскошная вещь, это — резиновая штучка для массажа лица, какой ты милый, это мне страшно нужно...

Уложив корзинку, Даша подошла к Ивану Ильичу, сидевшему на краю койки и готовому каждую минуту сорваться, подняла его лицо, внимательно взглянула в глаза ему:

— Я дала себе зарок. В моей новой жизни — не ждать ничего, я не Сольвейг, не хочу больше глядеть в морские туманы. Только любить и делать... Такой ты меня и бери... Плоха ли, хороша ли, но я тебе верная жена. Начнем с тобой все с начала...

Как всегда, не постучав, ворвался доктор со свежей газетой и громогласно начал сообщать военные новости:

— Этот самый адмирал Колчак, который разогнал в Омске Директорию и устроил рабочим кровавую баню, провозглашен не более не менее, как верховным правителем всея России!.. И французы и англичане его признали... Как вам это понравится? У него шестисоттысячная армия, — Дальний Восток он, изволите ли видеть, любезно уступает японцам! Слушайте дальше: соединенный английский и французский военный флот появился на рейдах Севастополя и Новороссийска... Союзнички! Кому мы, черт их возьми, помогли выиграть войну своими боками! — Доктор страшно выпятил губы. — Интервенция, и самая при этом неприкрытая! Дарья Дмитриевна, не смотрите на меня такими страшными глазами... Берите-ка вашего благоверного, идемте

ко мне есть борщ... Помните, у нас один лежал со штыковыми ранами, — прислал мне мешок капусты, гуся и поросенка... Да, Иван Ильич, жаль, жаль, жаль: эдакую сестру у меня из-под носа вытащили... Между прочим, сегодня мы с вами выпьем водки, черт бы побрал всех интервентов...

11

Немного понадобилось Вадиму Петровичу, чтобы кончить с колебаниями, — это немногое был отыскавшийся след Кати. Так на песке у прибоя отпечаток босой женской ноги заставит иного человека написать в воображении целую повесть о той — прекрасной,— кто здесь прошла под шум волн большого моря. Ревнивая и мучительная страсть ворвалась к нему, расправилась с его безнадежными мыслями, с его безвольным унынием, и все стало казаться ему просто и очевидно.

В ту же ночь (после разговора с ландштурмистом) он уехал из Екатеринослава. Чемодан бросил в гостинице, лишь взял смену белья и вещевой мешок. И уже в пути снял офицерские погоны, кокарду, спорол с левого рукава нашивки и выбросил в окошко, — вместе с этим мусором полетело все, что до ночи в «Би-Ба-Бо» казалось ему необходимым для самоуважения. Раздвинув ноги, засунув ладони за ременный пояс, он сидел на койке в почти пустом, темном вагоне, — дикая радость наполняла его. Это была свобода! Поезд мчал его к Кате. Что бы там с ней ни происходило,— он продерется к ней, хоть все тело изорвать в клочья.

В Екатеринославе начальник станции предупреждал, что на половине дороги до Ростова опять сильно шалят бандиты, и это будет последний поезд, отправляемый на восток, и неизвестно даже — пойдет ли он низом, через Гуляй-Поле, или верхом, через Юзовку. Там же, на вокзале, старший кондуктор рассказывал обступившим его пассажирам про бандитов: носятся они по степи на телегах, на бричках, — ищут добычи, жгут помещичьи усадьбы, где еще по дурости сидят помещики; дерзко нападают на военные склады, на спиртовые заводы, кружатся около городов.

— Все бы ничего, не будь у атаманов батьки, — рассказывал старший кондуктор басовитым говорком, — а батько у них нашелся, атаман надо всеми атаманами — Махно. Популярный человек. У него целое государство и столица — Гуляй-Поле. Этот по мелочам не балуется. Поезда пропускает беспрепятственно, с осмотром, конечно, — кое-кого ссадят, тут же около семафора шлепнут из нагана. В прошлый рейс — подходим к перрону — Махно стоит под колоколом, курит сигару. Я соскакиваю, подхожу, беру под козырек. Он мне — так-то жестко: «Прими руку, я тебе не царь, не бог... Коммунистов везешь?» — «Никак нет», — говорю. «Белогвардейцев везешь?..» — «Никак нет, одни местные пассажиры». — «Денежные переводы везешь?» У меня даже в груди оторвалось. «Идемте, говорю, убедитесь сами — багажный и почтовый вагоны пустые». — «Ну, ладно, отправляй поезд».

Мучительны были остановки на полустанках, — замолкнувший говор колес, неподвижность, томительное ожидание. Вадим Петрович выходил на площадку: на темном перроне, на путях — ни души. Лишь в станционном окошке едва желтеет свет огонька, плавающего в масле, да видны две сидящие фигуры — кондуктора и телеграфиста, готовых так просидеть всю ночь, уткнув нос в воротник. Пойти к ним, спросить — бесполезно, — поезд тронется, когда дадут путь с соседней станции, а там, может быть, и в живых никого нет.

Вадим Петрович захватывал холодный воздух, все тело его вытягивалось, напрягалось... В ветреной ноябрьской тьме, в необъятной пустынной России, была одна живая точка — комочек горячей плоти, жадно любимый им. Как могло случиться такое потемнение, что из-за ненавистнического желания мстить, карать он оторвал от себя Катины руки, охватившие его в последнем отчаянии, жестоко бросил ее одну, в чужом городе. Откуда эта уверенность, что, разыскав ее и без слов (только так, только так) бросившись целовать ступни ее ног, в чулочках, которые уж и штопать-то, наверное, нечего, получишь прощение?.. Такие измены нелегко прощают!

Покуда Вадим Петрович так мечтал один на площадке, сердито бормоча и двигая бровями, кондуктор вышел со станции и стал около вагона, равнодушный

ко всякому преодолению пространства. Вадим Петрович спросил — долго ли еще ждать? Кондуктор даже не удосужился пожать плечом. Закопченный фонарь, который он держал в руке, покачивался от ветра, освещая треплющиеся полы его черного пальто. Внезапно погасло тусклое окошко на вокзале, хлопнула дверь. К кондуктору подошел телеграфист, и оба они долго глядели в сторону семафора.

— Гаси, — шепотом сказал телеграфист.

Кондуктор поднял фонарь к усатому одутловатому лицу, дунул на коптящий огонек, и сейчас же они с телеграфистом полезли на площадку и отворили дверь на другую сторону путей.

— Уходите, — сказал кондуктор Рощину, торопливо спустился и побежал.

Рощин спрыгнул вслед за ними. Спотыкаясь о рельсы, налетев на кучу шпал, он выбрался в поле, где было чуть яснее и различались две идущие фигуры. Он догнал их. Телеграфист сказал:

— Тут ямы где-то, — темень проклятая! Песок брали, тут я всегда прячусь...

Ямы оказались немножко левее. Рощин вслед за своими спутниками сполз в какой-то ров. Сейчас же подошли еще двое, — машинист и кочегар, — выругались и тоже сели в яму. Кондуктор вздохнул тяжело:

— Уйду я с этой службы. Так надоело. Ну разве это движение.

— Тише, — сказал телеграфист, — катят, дьяволы.

Теперь из степи слышался конский топот, различался стук колес.

— Кто же это у тебя тут безобразничает? — спросил кондуктор у телеграфиста. — Жокей Смерти, что ли?

— Нет, тот в Дибривском лесу. Это разве Маруся гуляет. Хотя, видать, тоже не она, — та скачет с факелами... Местный какой-нибудь атаманишка.

— Да нет же, — прохрипел машинист, — это махновец Максюта, мать его...

Кондуктор опять вздохнул:

— Еврейчик один у меня в третьем вагоне, с чемоданами, — не сказал ему, эх...

Конский топот приближался, как ветер перед грозой. Колеса уже загрохотали по булыжнику около станции. Раздались крики: «Гойда, гойда!» Звон стекол, вы-

стрел, короткий вопль, удары по железу... Кондуктор начал дуть в сложенные лодочкой руки:

— И непременно им — стекла бить в вагонах, вот ведь пьяное заведение...

Вся эта суета длилась недолго. Истошный голос «садись!». Затрещали телеги, захрапели кони, прогрохотали колеса, и атаманская ватага унеслась в степь. Тогда сидевшие в ямах вылезли, не спеша вернулись к темному поезду и разбрелись по своим местам: телеграфист зажег масленый фитилек и начал связываться с соседней станцией, машинист и кочегар осматривали паровоз, — не утащили ли бандиты какую-нибудь важную часть; Рощин полез в вагон; кондуктор, хрустя на перроне стеклами разбитых окошек, ворчал:

— Ну, так и есть, шлепнули бедиягу... Ну, взяли бы чемоданы, — непременно им нужно душу из человека выпустить.

Прошло еще неопределенное и долгое время, кондуктор дал наконец короткий свисток, паровоз завыл негодующе в пустой степи, и поезд тронулся в сторону Гуляй-Поля.

Вадим Петрович, положив локти на откидной столик и лицо уткнув в руки, напряженно решал загадку: Катя уехала из Ростова на другой же день после того, как негодяй Онoли сообщил ей о его смерти. Встреча ее с ландштурмистом в вагоне была, значит, через двое суток... Предположим, этот немчик утешал ее без каких-либо покушений на дальнейшее... Предположим, она тогда очень нуждалась в утешении. Но на второй день потери любимого человека написать так аккуратненько в чужой записной книжке свой адрес, имя, отчество, не забыть проставить знаки препинания, — это загадка!.. Небо ведь обрушилось над ней. Любимый муж валяется где-то, как падаль... Уж какие-то первые несколько дней естественно, кажется, быть в отчаянии безнадежном. Оказывается — адресок дала до востребования. Значит — просвет какой-то нашла... Загадка!..

— Граждании, документики покажите. — Кондуктор сел напротив Рощина, поставил около себя закопченый фонарь. — Проедем Гуляй-Поле, — тогда спите спокойно.

— Я в Гуляй-Поле вылезаю.

— Ага... Ну, тем более... С меня же спросят — кого привез...

— Документов у меня нет никаких...

— Как же так?

— Изорвал и выбросил.

— Тогда об вас должен заявить...

— Ну и черт с вами, заявляйте...

— Что же черта поминать в такое время... Офицер, что ли?

Рощин, у которого мысли были обострены, напряжены, ответил сквозь зубы:

— Анархист.

— Так, понятно... Возил много из Екатеринослава вашего брата. — Кондуктор взял фонарь и, держа его между ног, долго глядел, как за черным окном проносились паровозные искры. — Вот вы, видать, человек интеллигентный, — сказал он тихо. — Научите, что делать?.. В прошлый рейс разговорился я также с анархистом, серьезный такой, седой, клочковатый. «Нам, говорит, твои железные дороги не нужны, мы это все разрушим, чтобы и помнить об них забыли. От железных дорог идет рабство и капитализм. Мы, говорит, все разделим поровну между людьми, человек должен жить на свободе, без власти, как животное...» Вот и спасибо!.. Я тридцать лет езжу, да наездил домишко в Таганроге, где моя старуха живет, да коза, да две сливы на огороде, — весь мой капитал. На что мне эта свобода-то? Козу пасти на косогоре? Скажите — был при старом режиме порядок? Эксплуатация, само собой, была, не отрицаю. Возьмем вагон первого класса, — тихо, чинно, кто сигару курит, кто дремлет так-то важно. Чувствуешь, что это — эксплуататоры, но ругани прямой не было никогда, боже избави... Берешь под козырек, тихонечко проходишь вагоном... В третьем классе, конечно, мужичье друг на дружке, там не стесняешься... Это все верно, бывало... Ну и курочка жареная у тебя, и ветчинка, и яички, а уж хлеб-то, батюшки, калачи-то, помните? — Он замолк, приглядываясь к искрам в окошке. — Это букса горит в багажном вагоне. Смазки нет, и без анархистов транспорт кончается... Вот мне и скажите — что теперь будет? Променяли царя на Раду, Раду — на гетмана, а его на что менять будем? На Махно? Дурак один взялся ковать лемех, жег, жег железо, половину сжег, давай ковать топор, опять половину сжег, выходит одно шило, он по нему тюкнул, и вышел пшик... Так-то... Порядка

нет, страха нет, хозяина нет. Вы в Гуляй-Поле приедете — посмотрите, как живут «вольным анархическим строем». Одно могу сказать — весело живут, такой гульбы отродясь никто не слыхал. Весь район объявлен «виноградным». Сколько я туда проституток провез! Да... Скажу вам по-стариковски, извините меня, товарищ анархист: пропала Россия...

Много хозяйственных мужичков, бежавших летом в атаманские отряды, стали теперь подумывать о возвращении домой. Увязывали на телегу все добро, что по честному дележу пришлось им после удачных набегов, меняли разные местные деньги на николаевские, крепко зашпиливали полог, подвязывали к задней оси котелок и, тайно, — иные и явно, придя к атаману и говоря: «Прощевай, Хведор, я тебе больше не боец». — «А что так?» — «По дому скучаю, ни пить, ни есть, ни спать не могу. Когда еще понадоблюсь, кликни, придем», — запрягали добрых коней и уезжали на хутора, в деревни и села, освобожденные от немецкого постоя.

Задумался об этом и Алексей Красильников. Советовался с Матреной — братниной женой — и даже с Катей Рощиной: не рано ли домой? Как бы чего не вышло. Незаметно в село Владимирское не явишься, могут еще потянуть к ответу за убийство германского унтера. Немцы народ серьезный. С другой стороны — вернешься на пожарище, — придется строить хату, ставить двор, делать это надо теперь же, осенью.

Пять молодых сильных коней и три воза барахла, мануфактуры и всякого хозяйственного добра числилось за Алексеем Красильниковым в обозе махновской армии. Все это не столько Алексей, сколько собрала Матрена. Она бесстрашно приходила на собрания, где атаман отряда или сам Махно делил добычу, — всегда нарядная, красивая, злая, — брала, что хотела. Иной мужик готов был и поспорить с ней, — кругом начинался хохот, когда она вырывала у него какую-нибудь вещь — шаль, шубу, отрезок доброго сукна: «Я женщина, мне это нужнее, все равно пропьешь, бандит, ко мне же принесешь ночью...» Она и меняла и скупала, держа для этого на возу бочонок спирта.

Алексей раздумывал и не решался, покуда не пришла радостная весть, что Скоропадский, оставленный немцами и своими войсками, отрекся от гетманства, в Киев вошли петлюровские сичевики и там объявлена «демократична украинска республика». Одновременно с этим с советского рубежа двинулась украинская Красная Армия. Это уже было совсем надежно.

Алексей, без огласки, ночью пригнал из степи коней, разбудил Матрену и Катю и велел собирать завтракать, покуда он запрягает; сытно поели перед долгой дорогой и еще до рассвета, в тумане, тронулись грунтом домой, в село Владимирское.

Трудно было бы узнать в Кате Рощиной, ехавшей на возу, в нагольном полушубке, в смазных сапогах, со щеками, обветренными, как персик, прежнюю хрупкую барыньку, готовую, кажется, при малейшем наскоке жизни поджать лапки, вроде божьей коровки. Полулежа на сене, она подстегивала лошадь, чтобы не отставать от передней тройки, которую вел Алексей, пуская иногда рысью соскучившихся караковых. Задний воз вела Матрена, не доверявшая ни одному человеку — ни пешему, ни конному.

Степь была пустынна. Кое-где в складках оврагов белел снег, снесенный туда декабрьским ветром с меловых плоскогорий. Кое-где из-за горизонта поднимались ржавые пирамиды шахтных отвалов. В краю, покинутом оккупантами, еще не начиналась жизнь. Много народу с шахт и заводов ушло в красные отряды и воевало теперь под Царицыном. Многие бежали на север, где у советских рубежей формировались части украинской Красной Армии. Дороги заросли, на брошенных нивах стоял бурьян, в котором кое-где желтели конские ребра. В этих местах редко попадалось жилье.

Матрена повторяла деверю: «Держись от людей подальше, хорошего от них не жди». Алексей только посмеивался: «Ух, зверюга... А что была за бабочка — медовая... Хищницей стала, Матрена моя дорогая...»

У Кати для раздумья времени было досыта. Потряхивалась на возу, покусывала соломинку. Она отлично понимала, что везут ее в село Владимирское как добычу, — для Алексея Ивановича, может быть, самую дорогую изо всего, что было у него на трех телегах. Чем иным была она, как не полонянкой из разоренного мира?

Алексей Иванович поставит на своем пепелище хороший дом, огородит его от людей крепким забором, спрячет в подполье все свои сокровища и скажет твердо: «Катерина Дмитриевна, теперь одно осталось — последнее — слово за вами...»

Как сожженный войною город — кучи пепла да обгорелые печные трубы,— такой казалась ей вся жизнь. Любимые умерли, дорогие пропали без вести. Недавно Матрена получила письмо от мужа, Семена, из Самары, где он сообщал, между прочим, что заходил по указанному адресу на бывшую Дворянскую улицу, — никакого там доктора Булавина нет, никто не знает, куда он делся с дочерью. У Кати остались только два человека, жалевших и любивших ее, как приставшего котенка, — Алексей и Матрена. Разве могла она в чем-нибудь отказать им?

Ей, пережившей такие годы, длительные и наполненные, как столетие, давно бы надо было стать старухой с погаснувшими от слез глазами. Но щеки ее лишь румянил студеный ветер, и под бараньим полушубком ей было тепло, как в юности. Это ощущение неувядаемой молодости даже огорчало ее, — душа-то была старая? Или и это тоже не так?

Матрена не раз разговаривала с Катей о том, что «бог уж связал ее с ними, один бог и развяжет». Алексей ни разу не принуждал ее к таким разговорам. Но было несколько случаев, когда он жестоко рисковал, выручая Катю из прямой беды: поступал, как мужчина из-за женщины, которую бережет для себя. Катя не могла бы ему отказать, — не нашла бы слов, оправдывающих ее неблагодарность. Но ей хотелось, чтобы это как можно дольше не случалось. Алексей Иванович был привлекателен—грубоватым прямодушным лицом, всегда будто освещенным солнцем; невозмутимый и сильный, с негнущейся спиной и широкой грудью, с густой шапкой волос; смелый и рассудительный в минуты опасности, ласково-насмешливый и добрый с Катей. Но при мысли о том, что настанет день, когда нужно стать близкой ему, — Катя закрывала глаза, и все тело ее поджималось, будто в желании зарыться в сено на возу.

Однажды в обед свернули с дороги к речонке, разлившейся в этом месте в небольшую заводь, с остатками свай водяной мельницы и полегшим камышом.

Матрена ушла за дровами для костра, Катя — к речке — мыть котелок. Немного погодя туда пришел Алексей. Бросил на траву шапку и рукавицы, присел у воды около Кати, ополоснул лицо и вытерся полой полушубка...

— Руки застудите...

Катя поставила на траву котелок, поднялась с колен, — руки у нее застыли до ломоты, она стряхнула с них капли воды и тоже стала вытирать их об овчину.

— Руки-то, чай, целовали вам в прежнее-то время, — сказал он напряженно, недобро, выжидающе.

Она ясно взглянула на него, будто спрашивая, — что с ним случилось? Катя никогда не знала силу своей красоты, простодушно считала себя хорошенькой, иногда очень хорошенькой, любила нравиться, как птичка, встряхивая перышками (когда на седой росе начнет отсвечивать розоватое солнце, поднимающееся между стволами). Но то, что было ее красотой, что, как сейчас, заставило Алексея Ивановича отвести сухо заблестевшие глаза, — оставалось ей неизвестным.

— Говорю, — руки-то смажьте, у меня в телеге подсолнечное масло в склянке, цыпки наживете.

Под жестко-кудрявыми усиками на свежих губах его была прежняя усмешка. Катя вздохнула облегченно, хотя и не вполне поняла, как близко на этот раз было то, чего она так не хотела. От дремоты ли в сене на покачивающемся возу, от наступившего ли степного покоя, Алексей — как только Матрена ушла за дровами — стал пристально глядеть на присевшую у воды Катю. И он пошел туда, как мальчишка, что заслышал вдруг стук валька на мостках, где какая-нибудь соседская Проська, подоткнув юбку, желанно белея икрами, полощет белье, и он тайком пробирается к ней через лопухи и крапиву, жадно втягивая ноздрями все запахи, нежданно ставшие дурманящими. Но тут Алексей Иванович не то что оробел, — напугать его было мудрено, — Катя взглядом покойных прекрасных глаз сказала: так нехорошо, так не годится.

Он владел собой и не в таких пустых происшествиях, все же руки его дрожали, как после усилия поднять жернов. Он взял с травы котелок:

— Что ж, пойдемте кашу варить. — Они пошли к возам. — Екатерина Дмитриевна, вы два раза были замужем, отчего детей нет?

— Такое время было, Алексей Иванович... Первый муж не выражал желания, а я глупа была.

— Покойный Вадим Петрович тоже не хотел?

Катя сдвинула брови, отвернулась, промолчала.

— Давно хочу спросить... Практика у вас большая... Как у вас эти сладкие-то дела начинались? Что ж, мужья, женихи-то, ручки вам целовали? Разговоры вокруг да около? Так, что ли? Как это у господ-то делалось?

Подошли к возам. Алексей со всей силой швырнул на землю сбрую, лежавшую на телеге, взял из-под нее дугу и, подперев ею оглоблю, на конце стал подвязывать котелок...

— Вы с господского верха пришли, а я — с мужицкой печи... Вот встретились на тесной дорожке. Вам назад возврата нет, аминь. Что еще не разворочали — до конца скоро разворочаем... Идти вам некуда, окромя нового хозяина...

— Алексей Иванович, чем я вас обидела?

— А ничем... Я вас хочу обидеть, да слов у меня не хватает. Мужик... Дурак... Ох, и дурак же я, мать твою... Вижу, вижу, — вы только и ждете — задать стрекача... За границу — самое место для вас...

— Как вам не стыдно, Алексей Иванович, разве я что-нибудь сделала — так меня обвинять... Я обязана вам всей жизнью и никогда этого не забуду...

— Забудете... Вы видели, как Матрена людей боится? Я тоже людям не верю. С четырнадцатого года в крови купаюсь. Человек нынче стал зверем. Может быть, он им и раньше был, да мы не знали. Каждый из-под каждого — только и ждет — днище вышибить... И я — зверь, не видите, что ли, эх вы, птичка сизокрылая... А я хочу, чтобы дети мои в каменном доме жили, по-французски говорили получше вас, — пардон, мерси...

Подошла Матрена с охапкой хворосту и щепок, бросила их под котелок, висевший на конце оглобли, и внимательно взглянула на Алексея и на Катю.

— Напрасно ее, Алексей, обижаешь, — сказала она тихо. — Коней поил?

Алексей повернулся и пошел к лошадям. Матрена стала укладывать щепки под котелком:

— Любит он тебя. Сколько я ему девок ни сватала,

не хочет... Не знаю уж, как у вас выйдет, — трудно вам обоим...

Матрена ждала, что Катя скажет что-нибудь. Катя молча достала крупу, сало, расстелила на земле полог, стала резать хлеб.

— Ты что же молчишь?

Катя, нарезая ломти хлеба, ниже склонила голову, по щекам ее текли слезы.

Плодородные степи Екатеринославщины, падающие к Черному и Азовскому морям, были новым краем. Это была та Дикая Степь, где в давние времена проносились на косматых лошадках, по плечи в траве, скифы, низенькие, жирные и длинноволосые; пробирались под надежной охраной греческие купцы — из Ольвии в Танаис; двигались со стадами рогатого скота готы, кочевавшие в огромных повозках между двумя морями; от северных границ Китая, подобно тучам саранчи, вторгались сюда многоязычные полчища гуннов, наводя столь великий ужас, что степи эти пустели на много столетий; раскидывали полосатые арамейские шатры хозары, идя от Дербента воевать днепровскую Русь; кочевали с бесчисленными табунами коней и верблюдов половцы в хорезмских шелковых халатах, доходя до степного вала Святослава; и позже топтали их легкоконные татарские орды, собираясь для набегов на Москву.

Людские волны прошли, оставив лишь курганы да кое-где на них каменных идолов с плоскими лицами и маленькими ручками, сложенными на животе. Екатеринославские степи стали заселяться хлеборобами — украинцами, русскими, казачьими выходцами с Дона и Кубани, немецкими колонистами. Новыми были в ней огромные села и бесчисленные хутора, без дедовских обычаев, без стародавних песен, без пышных садов и водных угодий. Здесь был край пшеницы и серых помещиков, хорошо осведомленных о заграничных ценах на хлеб. Новым был и Гуляй-Поле — скучный городишко, растянувшийся вдоль заболоченной и пересыхающей речонки Гайчур.

От станции до Гуляй-Поля было семь верст степью. Рощин подрядил «фаэтон», который довез его до большого базара, раскинувшегося на выгоне. Тут же Вадим

Петрович стал торговать жареную курицу у нахальной бабы, сидевшей растопыркой на возу среди деревенского добра, привезенного для продажи. Неумелая баба горячилась, то совала под самый нос покупателю свой товар, то хватала у него из рук, и бранила его визгливо, и вертелась, озираясь, чтобы с воза не стащили что-нибудь. За жареную курицу она заломила пять карбованцев и сейчас же не захотела отдавать за деньги, а только за шпульку ниток.

— Да ты возьми у меня деньги, дура, — сказал ей Рощин, — нитки купишь, вон ходят — продают нитки...

— Некогда мне с воза отлучаться, спрячьте деньги, отойдите от товара...

Тогда он протолкался к чубастому военному человеку, увешанному оружием, который, шатаясь по базару, потряхивал на ладони двумя шпульками ниток. Мутно поглядев на Рощина, он прошевелил опухшими губами:

— Не. Меняю на спирт.

Так Рощину и не удалось купить курицу. На базаре шла преимущественно меновая торговля, чистейшее варварство, где стоимость определялась одной потребностью; за две иголки давали поросенка и еще чего-нибудь в придачу, а уж за суконные штаны без заплат продавец пил кровь у покупателя. Сотни людей торговались, кричали, бранились, крутясь среди множества телег; здесь же — на табуретке или просто на колесе — пристраивались парикмахеры с передвижным инвентарем; моментальные фотографы, с ящиком-лабораторией на треноге, через пять минут подавали клиенту сырую фотографию; слепые скрипачи собирали в кружок слушателей, не брезгуя залезть в карман к зазевавшемуся дурню... Все эти люди в самое короткое время готовы были сняться с места, разбежаться и попрятаться, если начиналась серьезная стрельба, без которой в Гуляй-Поле не проходило ни одного базара.

Пробираясь между телегами, Вадим Петрович попал в праздную толпу около карусели; на деревянных конях с немыслимо выгнутыми шеями и взлетами ног крутились, сидя важно, усатые люди в гусарских куртках, в бушлатах, в кавалерийских тулупчиках, увешанные гранатами и всяким холодным и огнестрельным оружием. «Шибче, шибче», — грозным басом повторял

кто-нибудь из них. Двое оборванцев из всех сил крутили карусель. Два гармониста играли «Яблочко», бешено раздувая мехи, будто забирая в них всю ширь и удаль души махновской вольницы. «Довольно, слезай!» — кричали те, кто дожидался своей очереди. «Шибче!» — ревели крутящиеся на конях. И уже с кого-то слетела папаха, кто-то в восторге выхватил шашку и размахивал ею, рубя причудившегося гада. Тогда стоящие вокруг кидались и на лету стаскивали всадников. Начиналась возня, под пронзительный свист бухали кулаки и снова крутилась карусель, и новые всадники подбочениваись на конях с вывороченными красными ноздрями.

Вадим Петрович отошел, не видя здесь разумного человека, с кем бы можно было заговорить. У лоточника купил кусок пирога с творогом и, жуя, зашагал по широкой булыжной улице. Надо было обеспечить себе ночлег. Денег у него осталось немного, и, если считать, сколько он заплатил за пирог, — денег не хватит и на неделю. Он рассеянно поглядывал на двухэтажные кирпичные дома купеческой стройки, на лабазы, лавки, размалеванные вывески, жевал и думал тоже рассеянно: после скачка в дикую свободу жизненные мелочи не слишком тревожили его.

Навстречу ему ехал человек на велосипеде, вихляя передним колесом. За ним верхами — двое военных в черкесках и заломленных бараньих шапках. Маленький и худенький человек на велосипеде был одет в серые брюки и гимназическую курточку, из-под околыша синего с белым кантом гимназического картуза его висели прямые волосы почти до плеч. Когда он поравнялся, Вадим Петрович с изумлением увидел его испитое, безбровое лицо. Он кольнул Рощина пристальным взглядом, колесо в это время вильнуло, он с трудом удержался, жестоко сморща, как печеное, желтое лицо свое, и проехал.

Минуту спустя один из всадников повернул коня, коротким галопом подскакал к Рощину и нагнулся с седла, всматриваясь в него бегающими зрачками.

— В чем дело? — спросил Рощин.

— Ты что за человек? Откуда?

— Что я за человек? — Рощин отвернулся от крепко-

го запаха лука и сивухи. — Я свободный человек. Еду из Екатеринослава.

— Из Екатеринослава? — угрожающе спросил всадник. — А для чего здесь?

— А для того я здесь, что ищу жену.

— Жену ищешь? А почему погоны спорол?

Дрожа от бешенства, Рощин ответил сколько мог спокойно:

— Захотел спороть погоны и спорол, тебя не спросил.

— Смело отвечаешь.

— А ты меня не пугай, я не из пугливых.

Всадник так и шарил зрачками по лицу Рощина, ища ответа. Вдруг выпрямился, узкое, перекошенное асимметрией лицо его нахально усмехнулось, он ударил шпорами коня и поскакал к велосипедисту. Рощин зашагал дальше, спотыкаясь от волнения.

Но его сейчас же нагнали эти трое. Велосипедист в гимназической фуражке крикнул высоким голосом, застревающим в ушах:

— Нам не хочет говорить, Левке скажет...

Всадники заржали и с обеих сторон конями придавили Рощина. Велосипедист проехал вперед, со всей силой пьяного человека вертя педалями. «Шагай, шагай», — повторяли всадники, заставляя Рощина почти бежать между лошадьми. Вырываться, протестовать было бессмысленно. Остановились на этой же улице у кирпичного дома с вытоптанным палисадником. Окна были замазаны мелом, над дверью висел черный флаг, и под ним надпись на фанере: «Культпросвет народно-революционной армии батьки Махно».

Рощин был так зол, что не помнил, как его втолкнули в дом, провели темными закоулками в заплеванную, замусоренную комнату с таким кислым запахом, что перехватило дыхание. Сейчас же вошел, несколько переваливаясь от полноты, лоснящийся, улыбающийся человек в короткой поддевке, какие в провинции носили опереточные знаменитости и куплетисты.

— А ну? — спросил он и сел у расшатанного столика, смахнув с него окурки.

— Батько велел спытать — чи это гад, чи нет, — сказал ему криволицый, сопровождавший Рощина.

— А ну, выдь, товарищ Каретник (и когда тот вышел), а ну, сядь.

— Послушайте, — волнуясь, сказал Рощин улыбающемуся толстому человеку в поддевке, — я понимаю, что попал в контрразведку. Я объясню — кто я такой, зачем я здесь, мие скрывать нечего... Я приехал для того, чтобы...

— А иу, подивись на меня, — ие слушая его, сказал человек в поддевке, — я Лева Задов, со мной брехать не надо, я тебя буду пытать, ты будешь отвечать...

Имя Левки Задова знали иа юге все ие меньше, чем самого батьки Махно. Левка был палач, человек такой удивительной жестокости, что Махно будто бы даже не раз пытался зарубить его, ио прощал за преданность. Слышал о ием и Рощин. В первый раз ему стало зябко. Ои стоял перед столом. Левка Задов сидел, пышно кудрявый, румяный, иаслаждаясь властью иад человеком, ужасом, который ои виушал.

— А иу, давай балакать. Деникинский офицер?

— Да. Бывший...

— Бывший? Ай, ай, ай... Откуда едешь?

— Из Екатеринослава в Гуляй-Поле, — я же вам рассказываю...

— Ай, ай, ай... Зачем ты говоришь Леве, что едешь из Екатеринослава, когда ты приехал из Ростова...

— Нет, я приехал из Екатеринослава.

Рощин торопливо стал отыскивать билет, иа минуту опять похолодев, — а вдруг ои его выбросил? Билет оказался в кармане френча, вместе с помятой и выцветшей фотографической карточкой Кати. Он протяиул Левке билет, и тот долго вертел его и рассматривал иа свет. Билет, что ни говори, был правильный, это несколько озадачило Левку, у которого, видимо, уже сложилось убеждение вплоть до приговора. Билет менял всю картину. Левка даже перестал скалиться, толстые губы его брезгливо вздрагивали:

— А для чего, везя в штаб Деникина разведку, вылезаешь в Гуляй-Поле?

— Я ие везу разведку. Я уже два месяца из армии. Я больше ие служу. Я разорвал воинский билет. Сюда я приехал как вольный человек...

Левка ие сводил с иего черных глаз. Под этим взглядом, в котором ие было иичего разумного и человече-

ского, Рощнн напрягал все усння, чтобы побороть волнеиие, отвечать обдумаиио, и ои иачал было рассказывать (упрощенио, доступно) о причниах, заставивших его дезертировать.

— Если ты, сволочь, — перебнл его Левка тихнм голосом, — будешь мне еще врать, я с тобой сделаю, что Содома ие делала с Гоморрой...

Быстрым, воровским движеиием он взял у Рощнна Катиину фотографию. Улыбаясь, как ценитель жеищни, разглядывал ее и, — щелкнув по ней иогтем:

— А это что за сучоика?

— Моя жеиа... Радн нее я прнехал... Отдайте мие фотографию...

— Ее положат на твой кровавый труп. — Левка прикрыл карточку толстой, иалитой сальцем рукой. — А ну, давай сведения разведки...

— Ни слова я тебе больше ие скажу! — крикиул Рощии.

— Мне скажешь. У меия балакают. — Левка легко приподиялся и, как кот лапой, ударнл Вадима Петровича в лнцо. Удар пришелся иеудачно — по виску. Рощии упал без созиания.

Советская Республнка представлялась врагам ее обречеииой в какие-то самые короткне сроки пасть под ударами. Но она всю изощренность ума, иаукн, все духовные и материальные силы народа оргаиизовала для того, чтобы самой перейти в иаступленне. Воеииый план большевиков заключался в том, чтобы, подчиняя все задачам обороиы, нн иа однн час не ослабевать в проведеиии глубоких социальиых нзмеиеиий, бесстрашно внедряя в жизнь те прииципы, осуществлеине которых лежало за пределами сегодняшиего дия. Затем: создать трехмиллиоииую Красную Армию; заслоииться обороной иа севере; вести иаступлеиие иа Сибирь н Южиый Урал и осиовиое напряжеиие иаступательиых операций развить против красиовского казачества иа Дону и против Деникнна иа Северном Кавказе.

Российская Советская Республнка, сдавлеиная со всех сторон белыми армиями, создала фроит длииой свыше пятиадцатн тысяч кнлометров; к этому за послед-

иее время прибавился сложиый и путаиый фронт Украииы.

С особеииой силой иа богатой Украиие разгоралась граждаиская войиа. Населеиие ее к тому времеии было глубоко расслоеио иедавией оккупацией, гетмаиской властью и мстительиой реставрацией помещиков. Рабочий и шахтерский Доибасс, малоземельиое крестьяиство и батрачество тяиули к Советской власти; богатое крестьяиство и буржуазия, боясь ревкомов, комбедов, исполкомов, комиссаров и хлебиой разверстки, тяиули к самостийиой Директории и главе ее — батьке Петлюре. Его же поддерживала и та часть иителлигеиции, у которой вся огромиая тема советской революции укладывалась в ответ: «Геть, проклятые москали!» — а старая ромаитика шаровар с Чериое море, оселедцев, казачьих жупаиов и кривых сабель заслоияла печальиые исторические справки о кровавых жертвах украииского иарода, три столетия боровшегося за свою иезависимость.

Петлюра сбросил гетмаиа, сел с Директорией в Киеве, объявил самостийиую республику и иачал безиадежиую борьбу с пролетарской революцией. У иего было иесколько дивизий из перешедших иа его сторону гетмаиских сичевиков и из стойких дисциплииироваииых галицийцев, поверивших, что сбывается старая мечта о соедииеиии их с вильиой Украиной, и из всякого сброда отчаяииых людей, кормившихся воеииым грабежом. Но ои ие был достаточио умеи и хитер, чтобы предложить украиискому селяиству, расслоеииому и бушующему, что-либо вещественное, кроме пышных уииверсалов. Резервов у иего ие было.

В декабре в Полтавщиие, в городке Судже, оргаиизовалось подпольиое советское правительство Украииы. Председатель царицыиского воеисовета послал в Суджу комаидарма Десятой Ворошилова с тем, чтобы ои вошел в правительство. В Судже был оргаиизоваи реввоеисовет.

К тому времеии регуляриая украииская Красиая Армия, задолго до этих событий формировавшаяся под Курском преимуществеиио из бежавших от суда и казии украииских крестьяи, числеииостью в две дивизии, иачала иаступлеиие иа запад в иаправлеиии Киева и иа

юг — на Харьков и Екатеринослав. Так как сил двух дивизий было явно недостаточно, расчет строился на поддержку партизанских отрядов. Из них наиболее мощным представлялась армия батьки Махно.

Махно гулял. В добытой после налета на Бердянск гимназической форме колесил на велосипеде напоказ всему городу, или вместе со своим адъютантом Каретником пел песни под гармонь, шатаясь по улице, или появлялся на базаре, злой и бледный, ища ссоры, но все от него прятались, зная, как легко у него из кармана штанов вылетает револьвер. Дюжие махновцы, не боящиеся ни бога, ни черта, увидев его около карусели, слезали с деревянных коней и пускались наутек. Батьке приходилось одному вместе с Каретником крутиться до одури.

По всему Гуляй-Полю шли разговоры, что батько за последнее время стал много пить, и как бы не пропил армии. Но только немногие догадывались, что он хитрит. Был он хитер, скрытен, живуч, как стреляный дикий зверь.

Махно тянул время. В эти дни ему надо было принимать большое решение. На Екатеринославщине не стало ни немцев, ни гетмана с сичевиками, с кем он дрался. Разбегались помещики. Малые города были пограблены. И с трех сторон надвигались, тесня его, новые враги: из Крыма и Кубани — добровольцы, с севера — большевики, с Днепра — петлюровцы, занявшие только что Екатеринослав. Кто из них опаснее? В какую сторону повернуть пулеметные тачанки? Решать надо было не мешкая. Армия редела, в ней начиналось шатание. Бойцы из мужиков-хлеборобов говорили: «Вот спасибо, что на Украину идут большевики, теперь можно и по домам, а кому еще не надоело — шлепай на лоб красную звезду». Ядро армии — «Черная сотня имени Кропоткина» — рубаки, отбившиеся от всякой работы ради разгульной воли на конях, кричали:

«...А захочет батько продать нас большевикам, — зарубим его перед фронтом, и только... Вон уже Петлюра забрал Екатеринослав, а мы все ждем... Проелись вчистую, босы и голы, скоро нам в степи с волками выть... Братва, даешь Екатеринослав!»

Третий день в Гуляй-Поле сидел матрос Чугай, делегат от главковерха украинской Красной Армии, и непоколебимо дожидался, когда Махно проспится, чтобы с ним говорить. В эти же дни из Харькова приехал знаменитейший философ, член секретариата анархистской конфедерации «Набат», тоже чтобы разговаривать с батькой. Члены махновского военно-политического совета, местные анархисты, ближайшие советчики, ловили, где только могли, батьку и ревниво предупреждали его никого не слушать и держаться высшей свободы личности.

Махно понимал, что, не прими он теперь же твердого, угодного армии решения, — конец его делу, его славе. Только два выбора было перед ним: поклониться большевикам, делать, что́ прикажет главковерх и ждать, когда его в конце концов расстреляют за своевольство. Или, зарубив делегата Чугая, поднимать на Украине мужицкое восстание против всякой власти. Но вовремя ли это? Не ошибиться бы...

Мысли эти были настолько тайные, что опасно было их высказывать даже преданным собакам Левке и Каретнику. Ему было тесно от мыслей. Армия ждала. Делегат Чугай и старикашка, мировой анархист из Харькова, ждали. Махно пил спирт, не теряя разума, нарочно дурил и безобразничал, — глаз его был остер, ухо чуткое, он все знал, все видел. Злоба кипела в нем.

Велев арестовать и отвести к Левке неизвестного человека в офицерской шинели, который говорит, что он из Екатеринослава, Махно вскорости и сам явился в культпросвет, пройдя с велосипедом в камеру, где допрашивали. Левка Задов, неудачно ударив Рощина, сидел за столом, положив кулак на кулак и на них подбородок. Махно оглядел валяющегося на полу человека, поставил велосипед:

— Ты что с ним сделал?

— А ну, погладил, — ответил Левка.

— Дурак... Убил?

— Так я же не хирург, почем я знаю...

— Допрашивал? (Левка пожал плечом.) Он — из Екатеринослава? Что он говорит? Деникинский разведчик?

Махно глядел на Левку так пристально и невыносимо, что у того глаза томно подзакатились по веки.

— У него должны быть сведения... Где они? Со смертью играешь...

— Так я же не успел, только начал, Нестор Иванович... Черт его душу знает — до чего сволочь хлипкая...

Рощин в это время застонал и подогнул колени. Левка — обрадованно:

— Да ну же, психует.

Махно опять взялся за велосипед и увидел на столе Катину фотографию. Схватил, всмотрелся:

— У него взял? Кто? Жена?

Как у людей волевых, сосредоточенных, недоверчивых, с огромным опытом жизни, — у Нестора Ивановича была хорошая память. Он сейчас же вспомнил первое появление Кати (когда он заставил ее делать себе маникюр) и заступничество Алексея Красильникова, и все сведения, какие ему сообщили об этой красивой женщине. Он сунул фотографию в карман, ведя велосипед, приостановился, — лицо Рощина оживало, рот приоткрылся.

— Приведешь его ко мне, я сам допрошу...

Одно твердо сложилось в уме Нестора Ивановича за эти дни гулянья: необходимость вести армию на Екатеринослав, взять его штурмом и поднять знамя анархии над городской думой. Такая добыча воодушевит и сплотит армию. Екатеринослав богат — на целую губернию хватит в нем мануфактуры и всякого барахла, чтобы по селам и деревням выкидывать из вагонов и тачанок штуки сукна, ситца, высыпать лопатами сахар, швырять девкам ленты, позументы, чулки и ботинки: «Вот вам, мужички-хлеборобы, подарочки от батьки Махно! Вот вам вольный строй безвластия, без помещиков и буржуев, без Советов и чрезвычаек...»

Все остальное было еще не решено. Сейчас, взглянув на Катину фотографию, он вдруг нашел это решение, — оно выскочило у него, как петрушка из раешника. Но он и виду не подал, что все в нем заплясало от торжества... Сел на велосипед и поехал через улицу к длинному дому с большими окнами и оголенными тополями перед ним. Это была школа, где помещался штаб; его адъютанты и он сам квартировали в одной комнате.

Через час к нему привели Рощина. Впереди него

шел Левка, позади махновец, — в енотовой шапке из поповского воротника, с черной лентой наискосок, — подталкивал Рощина в спину дулом револьвера. Махно сидел на ситцевом диванчике, продранном до пружин.

— Это что? — крикнул он высоким голосом. — В стражников, в царских жандармов играете? Отставить оружие! Выдь! — кивнул он снизу вверх желтым, испитым лицом на махновца. (Тот сейчас же, топая сапожищами, кинулся за дверь.) Махно поднялся с диванчика, сжал сухой кулачок и ударил Левку в лицо, в губы, в нос.

— Кат! Кат! — завизжал он. — Алкоголик! Сифилитик! Пачкаешь идею! Пачкаешь меня!

Левка Задов, хорошо зная батьку, не стал дожидаться разворачивания его гнева, втянул голову в жирные плечи, закрывшись руками от ударов, выпятился за дверь и прикрыл ее за собой.

Махно снял фуражку, — лоб его был мокрый. Он опять сел на диванчик. Ему не хватало четок, чтобы совсем походить на изувера-послушника.

— Сядьте, пожалуйста. — Он махнул длинной рукой, указывая Рощину на стул. — Если вас и придется расстрелять, все равно — позор, позор — оскорблять человеческое достоинство. Возьмите папиросу, закуривайте. Вы разведчик?

— Нет, — глухо ответил Рощин, усмехнулся и взял папиросу.

— Добровольческий офицер?

— Я дезертировал. Кончил с этим. Вы же мне все равно не верите, — чего я буду рассказывать...

— Мне не врут, — сказал Махно тем же высоким, особенным голосом, который трудно было бы записать на нотные знаки. Рощину он показался похожим на клекот. — Мне не врут, — повторил он, и глаза его, сухие и немигающие, выражали такое превосходство воли, что трудно было глядеть в них. Навертывались слезы у того, кто хотел бы выдержать этот взгляд. Все же Рощин выдержал. У него после давешнего трещала голова, — преодолевая эту боль, он весь собрался для последней схватки.

— Если вам нужны сведения о Добрармии, — спрашивайте. Но сведения мои старые. Я ушел в отпуск два месяца тому назад. Этой весной я сделал неверный ход,

цена ему — жизнь... Вы собираетесь меня расстрелять... Так или иначе, не сейчас — после, — мне не избежать пули за мою ошибку...

В глазах Махно появилась и пропала искорка юмора... «Не верит...» Вадим Петрович глубоко затянулся папиросkой, положил ее на край стола, засунул руки за кушак: «Погоди ж ты у меня...»

— Прежде всего — как я попал в белый лагерь? Прикатился, как яблочко под горку. Ну что ж... Были мы русскими интеллигентами, значит — соль земли, читали Михайловского, Канта, Кропоткина и даже Бебеля, помимо других утешительных книг. Помню, с Алексеем Боровым не одну бессонную ночь провел вот в таких же разговорах... (Как он и ждал, при упоминании этого имени у Махно сейчас же затуманились глаза, точно поглупели, но лишь на мгновение, не больше.) Полны были восторженных ожиданий. И вот — Февральская революция. Кончилось все это кислотой: вместо роскошного праздника — бульвары, засыпанные семечками, да матросня, да серое солдатье, — не великая страна, а тесто, ржаной кисель без соли...

Махно завозился на диванчике и вдруг, сам не замечая этого, сел, будто на какой-нибудь маевке, обхватив худые колени. Даже в глазах его появилось что-то внимательно-собачье.

— Оказалась интеллигенция не у дела. А уж в октябре взяли нас за шиворот, как котят, и — на помойку... Вот, собственно, и все... Добрармия — это всероссийская помойка. Ничего созидательного, даже восстановительного в ней нет и быть не может. А наломать она может, и даже весьма серьезно... Жалко, что поздно все это понял... Но рад, что понял... Так вот, Нестор Иванович... (Как-то само собой вышло, что назвал его по имени-отчеству.) Жить мне не следовало бы, да и не хотелось... Но есть одно существо... Дороже мне всех философий, дороже моей совести... Это меня и остановило...

— Вот эта? — вдруг спросил Махно, показывая ему фотографию.

— Да, эта.

— Да вы возьмите, мне она не нужна...

Рощин спрятал в карман френча Катину карточку. Взял окурок, закурил. Руки его не дрожали. Он не сбился с рассказа.

— Воинский билет — в клочки, и сюда — по ее следам. А раз уже ухватился снова за жизнь, — подавай опять и философию и идеологию: мы не ремесленники... Единственно, что для меня приемлемо... Совершенно отвлеченно, конечно, совершенно отвлеченно... Это абсолютная свобода, дикая свобода... Пускай безумная, невозможная, а впрочем... Умирать надо за какие-то пределы фантазии.

— Разведку все-таки дайте, где она у вас запрятана? — тихо сказал Махно.

Рощин осекся, отвернулся и слабо, безнадежно махнул рукой. Махно долго не шевелился на диванчике. Вдруг вскочил и стал шарить среди кучи вещей в углу комнаты, — среди оружия, седел, сбрун, бумажных свертков... Нашел несколько коробок консервов, две бутылки спирту, поставил все это на стол и, вертя ключом, стал отдирать крышку с коробки сардин.

— Я беру вас в штаб, — сказал он. — Ваша жена в шестой роте, у Красильникова, на хуторе Прохладном... Сейчас придет делегат от большевиков. Нехай его думает, что я снюхиваюсь с добровольцами. Ваша задача тень на плетень наводить. Понятно? В карты играете?

Тут Вадим Петрович действительно растерялся и только моргал, даже не пытаясь понять — как это все обернулось и что все это значит. Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами, французским паштетом, с омарами, от которых резко запахло в комнате.

— Расстрелять я вас всегда успею, а использовать хочу, — сказал он, как бы отвечая на растерянные мысли Рощина. — Вы штабист или фронтовик?

— В мировую войну был при штабе генерала Эверта...

— Теперь будете при штабе батьки Махно... На царской каторге меня поднимали за голову, за ноги, бросали на кирпичный пол... Так выковываются народные вожди. Понятно?

Зазвонил телефон в желтом ящике, стоявшем среди хлама на полу. Махно, присев на корточки, крикнул в трубку клекотным голосом:

— Жду, жду!

Делегат Чугай, медлительный человек, очень сильный, в поношенном, но опрятном бушлате, в бескозырке, сдвинутой на затылок, сидел, распустив карты, так, чтобы нельзя было в них подглядывать, и блестящими, навыкате, глазами следил за всеми движениями Нестора Ивановича. Широкое в скулах, неподвижное лицо его с черными усиками не выражало ничего, лишь гнутый стул потрескивал под его тяжестью. Казалось — возьми такого, подогни ему ноги в матросских штанах, заправленных в короткие и широкие голенища, посади под семь медных змей с раздутыми горлами и молись на него.

Играли в «козла», игру, выдуманную на фронтах, чтобы под смех и шутки забывать о ранах и тревогах. Нестор Иванович, как только вошли гости, не встав даже от стола, не подав руки, предложил было перекинуться в девятку на интерес (за этим-де и позвал). Быстро — не уследить глазами — сдал карты, бросил на стол бумажку в тысячу карбованцев и прикрыл ее банкой с омарами. Но Чугай взял свои две карты и подсунул их туда же под банку.

— Боишься? — спросил Махно.

Чугай ответил:

— На интерес со мной не садись. Давай в козла.

Махно, с картами под столом, откинувшись, сидел спиной к двери, имея позади себя свободное пространство (что немедленно и отметил Чугай). По левую руку его сидел Рощин, по правую — Леон Черный, член секретариата конфедерации «Набат», — клочковатый, неопределенного возраста, маленький, очень сухой, без легких в птичьей груди, про которого только и подумаешь, что жив одним духом. Мятый пиджачок его был обсыпан перхотью и седыми волосами, карты в рассеянности он развернул всем на виду.

Идя сюда, он приготовился к жестокой борьбе с Чугаем, намеревавшимся узурпировать Махно и его армию, — явление, полное неисчерпанных возможностей. Мысли Леона Черного были сосредоточены, как динамит в жестянке. Несколько озадаченный тем, что вместо генерального боя с большевиком ему приходится играть в козла, он сбрасывал не те карты или ронял их под стол. Он уже четыре раза подряд остался козлом.

«Бээшка, бээшка, вонючий!» — кричал ему Махно, смеясь одной нижней частью лица.

После каждой партии Махно обезьяньим движением протягивал руку к бутылке со спиртом и наливал в чашки и рюмки, следя, чтобы все пили вровень. Разговор за столом был самый пустой, будто и вправду собрались друзья коротать ненастный вечер, когда в черные окна сечет дождь, а ветер, забравшись в голые тополя перед домом, качает их, и свистит, и воет как нечистая сила.

Махно выжидал. И Чугай спокойно выжидал, готовый ко всяким случайностям, особенно когда по некоторым намекам хозяина понял, что этот четвертый за столом, молчаливый, приличный, с синяками под глазами, седоголовый человек — деникинский офицер. По всей видимости, первым должен был взорваться Леон Черный, он уже вытащил грязный носовой платок, судорожно скатал его в клубочек и прикладывал к носу и глазам после каждой рюмки спирту. Так оно и случилось.

— Еще в Париже мы начали спор с вашими большевиками, — ворчливо проговорил он, взмахнув растопыренными картами в сторону Чугая. — Спор не кончен, и никто еще не доказал, что Ленин прав. Вместо феодально-буржуазного государства создавать рабоче-крестьянское!.. Но — государство, государство! Вместо одной власти — другую. Снять барский кафтан и надеть сермяжный! И у них-то будет бесклассовое общество!

Он мелко засмеялся, прижимая платок к сухоньким губам. У Чугая на лице ничего не отразилось, он только уставился на банку с омарами, придвинул ее и, — захватив вилкой сколько влезло:

— А вы что предлагаете, интересно? Анархию, мать порядка?

— Разрушение! — зашипел на него без голоса, перехваченного спиртом, Леон Черный, и клочки его сивой бородки ощетинились, как у барбоса. — Разрушение всего преступного общества! Беспощадное разрушение, до гладкой земли, чтобы не осталось камня на камне... Чтобы из проклятого семени снова не возродилось государство, власть, капитал, города, заводы...

— Кто же у вас жить-то будет на пустом месте?

— Народ!

— Народ! — крикнул Махно, вытягиваясь к Чугаю. — Вольный народ!

— Что же с крику-то начинать, — проговорил Чугай, — тогда уже надо кончать стрельбой. — Он взял бутылку и налил всем. (Леон Черный оттолкнул свою рюмку, она пролилась.) — Взять да и развалить, это дело нехитрое. А вот как вы дальше намерены жить?

Леон Черный, — предупреждая ответ Нестора Ивановича:

— Наше дело: страшное, полное и беспощадное разрушение. На это уйдет вся энергия, вся страсть нашего поколения. Вы в плену, матрос, в плену у бескрылого, трусливого мышления. Как жить народу, когда разрушено государство? Хе-хе, как ему жить?

Махно ему — сейчас же:

— Тут мы разошлись, товарищ Черный. Мелкие предприятия я не разрушаю, артели я не разрушаю, крестьянское хозяйство не разрушаю...

— Значит, вы такой же трус, как этот большевик.

— Ну зачем, в трусости его не упрекнешь, — сказал Чугай и одобрительно подмигнул Нестору Ивановичу (испитое лицо у того было красное, как от жара углей). — Крови своей Нестор Иванович не жалел, это известно... Здорово живешь, мы его вам не отдадим... За него будем драться.

— Драться? Начинайте. Попытайтесь, — неожиданно спокойно проговорил Леон Черный, и клочья бороды на его щеках улеглись. Рассеянно и жадно он занялся паштетом.

Чугай покосился на Рощина, — тот равнодушно курил, подняв глаза к потолку. Нестор Иванович оскалил большие желтые зубы беззвучным смехом. «Так, понятно, сговор», — подумал Чугай. Стул под ним заскрипел. Помимо того, что надо было выполнить наказ главковерха — склонить Махно на совместные действия, — в первую голову против Екатеринослава, — Чугай имел все основания опасаться тяжелых организационных выводов в случае неудачного спора с этим анархистом, обглодавшим, наверное, не одну сотню толстенных книг. Не нравился ему и молчаливый деникинец, тоже — по морде видно — из интеллигентов. Что он из батькиного штаба, Чугай, конечно, не верил.

Он плотней надвинул шапочку на затылок.

— Я вам задам вопрос.

Леон Черный, — с набитым ртом:

— Пожалуйста.

— Товарищ Ленин сказал: через полгода в Красной Армии будет три миллиона человек. Можете вы, Леон Черный, мобилизовать в такой срок три миллиона анархистов?

— Уверен.

— Аппарат у вас имеется для этой цели, надо понять?

— Вот мой аппарат. — Леон Черный указал вилкой на Махно.

— Очень хорошо. Остановимся на этой личности. Вы, значит, снабжаете Нестора Ивановича оружием и огнеприпасами на три миллиона бойцов, само собой — амуницией, продовольствием, фуражом. Лошадей одних для такой армии понадобится полмиллиона голов. Это все имеется у вас, надо понимать?

Леон Черный отсунул от себя опустевшую жестянку. Лоб его собрался мелкими морщинами:

— Слушайте, матрос, цифрами меня не запугаете. За вашими цифрами — пустота, убогие попытки заштопать гнилыми нитками эту самую Россию, рвущуюся в клочья. Скрытый национализм! Три миллиона солдат в Красной Армии! Запугал! Мобилизуйте тридцать. Все равно подлинная, священная революция пройдет мимо ваших миллионов мужичков-собственников, декорированных красной звездой... Наша армия, — он стукнул кулачком, — это человечество, наши огнеприпасы — это священный гнев народов, которые больше не желают терпеть никаких государств, ни капитализма, ни диктатуры пролетариата... Солнце, земля и человек! И — в огромный костер все сочинения от Аристотеля до Маркса! Армия! Пятьсот тысяч лошадей! Ваша фантазия не поднимается выше фельдфебельских усов. Дарю их вам. Мы вооружим полтора миллиарда человек. Если у нас будут только зубы и ногти и камни под ногами, — мы опрокинем ваши армии, в груду развалин превратим цивилизации, все, все, за что вы судорожно цеплялись, матрос...

«Эге, старичок-то легкий», — подумал Чугай, следя как Махно, вначале весь вытянувшийся от внимания, опускал плечи и румянец угасал на впавших щеках: он

переставал понимать, учитель отрывался от здравого смысла.

Тогда Чугай сказал:

— Второй вопрос вам, Леон Черный...

— Ну-те...

— Я так вас понял, что общая мобилизация у вас не подготовлена. Но всякому делу нужен запал: бомбе — капсуль, костру — спичка. На какой запал вы рассчитываете? Где эти ваши кадры? Батько Махно? (У Леона Черного забегали зрачки, — он искал подвоха.) Армия у него боевая, правильно, но процент анархистов не велик. Это не ваша армия.

Он покосился на Махно, — не лезет ли рука его в карман за шпалером, но он сидел спокойно. Леон Черный презрительно заулыбался:

— Наша беседа свелась к тому, что мне приходится вас учить азбуке, матрос.

— Очень желательно.

— Разбойничий мир — вот наш запал, вот наши кадры!.. Разбой — самое почетнейшее выражение народной жизни... Это надо знать! Разбойник — непримиримый враг всякой государственности, включая и ваш социализм, голубчик... В разбое — доказательство жизненности народа... Разбойник — непримиримый и неукротимый, разрушающий ради разрушения, — вот истинная народно-общественная стихия. Протрите глаза.

Махно во время этого страстного взрыва идей подошел на цыпочках к двери, приотворил ее, заглядывая в коридор, и опять вернулся к столу. Рощин теперь с любопытством приглядывался к фантастическому старичку, — не дурачит ли он?

— Я вижу — вы уже моргаете, матрос, вы поражены, ваши добродетели возмущены! — кричал Леон Черный. — Так знайте: мы сломали наши перья, мы выплеснули чернила из наших чернильниц, — пусть льется кровь! Время настало! Слово претворяется в дело. И кто в этот час не понимает глубокой необходимости разбоя как стихийного движения, кто не сочувствует ему, тот отброшен в лагерь врагов революции...

Махно, щурясь, стал кусать ногти. Рощин подумал: «Нет, старичок знает, что говорит». Чугай, навалясь на

стол, поставил на него локоть и подиял палец, чтобы Леону Черному было на чем сосредоточиться.

— Третий вопрос. Хорошо, эти кадры вы мобилизовали. Дело свое оии сделали. Разворочали... Заваруха эта должна когда-иибудь коичиться? Должиа. Разбойиики, по-иашему — бандиты, люди избаловавшиеся, работать оии ие могут. Работать ои ие будет, — зачем? — что легко лежит, — то и взял. Значит, как же тогда? Опять иа иих должен кто-то работать? Нет? Грабить, разорять — больше иечего. Зиачит, остается вам — загиать баидитов в овраги и кончить? Так, что ли? Ответьте мие иа этот вопрос...

В комнате стало тихо, будто собеседники сосредоточили все виимаиие на подиятом пальце, загнутом ногте Чугая. Леон Черный поднялся, — малеиький (когда сидел, казался выше), иеумолимый, как философская мысль.

— Застрели его! — сказал ои, повериувшись к Махио, и выбросил руку в стороиу Чугая. — Застрели... Это провокатор...

Махно сейчас же отскочил в свободное простраиство комнаты, к двери. Чугай торопливо зацарапал иогтями по крышке маузера, висевшего у иего под бушлатом. Рощин попятился от стола, споткиулся и сел на диваичик. Но оружие не было выиуто: каждый зиал, что выиутое оружие должио стрелять. Глаза у Махно светились от иапряжеиия. Чугай проговорил иаставительно:

— Некрасиво, папаша... Прибегаете к дешевым приемам, это ие спор... А за провокатора следовало бы вас вот чем... (Показал такой кулачище, что у Леоиа Черного болезиенио дериулось лицо.) Прииимая во виимаиие вашу слабую грудь, не отвечаю... Папаша, со словами иадо обращаться аккуратнее...

Махио и на этот раз не вступился за учителя. Леои Чериый иасупился, будто спрятался в клочья бороды, взял свое пальто, с вытертым, когда-то бобровым, воротником, такой же ветхий бархатиый картуз, оделся и ушел, мужествеиио уиося иеудачу.

— Ну, поехали дальше? — сказал Махио, возвращаясь к столу и берясь за бутылку. — Товарищ Рощии, пойди к дежуриому, чтобы указал тебе свободиую койку.

Рощин козырнул и вышел, уже за дверью слыша, как Махно говорил Чугаю:

— Одни — «батька Махно», другие — «батька Махно», ну, а ты что скажешь батьке Махно?..

12

Только приехав домой в село Владимирское, походив по своему пепелищу, присыпанному снежком, потянув ноздрями дымок, тянувший от соседей, поглядев, как жирные гуси, уже хватившие первого ледка, гордо вскидывая крыльями и гогоча, бегут полулетом по седому лугу, — Алексей Красильников понял, до чего ему надоело разбойничать.

Не мужицкое это дело — носиться в тачанках по степи меж горящими хуторами. Мужицкое дело — степенно думать вокруг земли да работать. Земля, матушка, только не поленись, а уж она тебе даст. Все веселило Алексея Ивановича, — и хозяйственные думы, от которых он отвык в бытность у Махно, и мягонький, серый денек, редко сеющий медленные снежинки, и деревенская тишина, и запах родного дыма. Похаживая, Алексей нет-нет да и поднимал ржавый кровельный лист, гвоздь, кусок железа в окалине — бросал их в одну кучу. Не нажива, привезенная на трех возах, была ему дорога, было ему дорого то, что, не стесняясь теперь в каждом рубле, он будет строить и заводить хозяйство. От первого кола на пепелище до того дня, когда Матрена выкинет из печи пахучий хлеб своего урожая, — «Новая печь, скажет, а как хорошо печет», — до этого дня трудов — не оглянуть, не измерить. И это веселило Алексея: ничего, мужицкий пот произрастает...

Разгребая носком сапога пепел, он нашел топор с обгорелым топорищем. Долго рассматривал его, с усмешкой качнул головой: тот самый! От него тогда все и пошло. Вспомнилось, как брат Семен, услышав жалобный крик Матрены, бешено выскочил из хаты. Алексей зачем-то воткнул топор в сенях, в чурбан около самой двери. Не метнись он в глаза Семену, — ничего бы, пожалуй, и не было...

«Эх, Семен, Семен. — И Алексей бросил заржавленный топорик в ту же кучу. — Вдвоем бы вот как горячо

взялись за дело... Да, брат, я уж отшумел, будет с меня...»

Он глядел себе под ноги, думая. В том письме, полученном от Семена еще под Гуляй-Полем, брат писал такие слова: «Матрене моей передай, чтобы от баловства какого-нибудь, пожалуйста, сохраняла себя, не нужно ей этого, не то время... Убьют меня — тогда развязана... Время такое, что зубы надо стиснуть. Вас только во сне вспоминаю. Скоро меня не ждите, — гражданской войне и края не видно...»

Алексей встряхнулся, — а ну ее к черту, дальше носа все равно ничего не увидишь. Снова стал глядеть на тихие дымы — то там, то сям поднимались они за плетнями, за голыми садами, над хатами, укутанными камышом и соломой. Мужики приготовились тепло прожить зиму. Ну, и правы. Красная Армия не через неделю, через две будет здесь. Как это так — не видно конца гражданской войне? Что Семен брешет! Кто еще сюда сунется? «Эх, Семен, Семен... Конечно, болтается на миноноске в Каспийском море, ему кровь глаза и застилает...»

Все же у Алексея неясно было на душе. Вытащил было кисет, — тьфу ты, черт, бумаги нет... Этим летом один фельдшер рассказывал, что в махновской армии много нервных, — с виду человек здоров, полпуда каши осилит, а нервы у него, как кошачьи кишки на скрипке. «Ладно, нервы, — проворчал Алексей, — раньше мы о них и не слыхивали». Он подошел к одиноко торчащей обгорелой печной трубе, попробовал ее раскачать, — крепка ли? Навалился плечом, и она качнулась.. «То-то, нервы...»

Алексей поселился с Катей и Матреной у родственницы, вдовы. Было у нее тесно и неудобно. Матрена побелила печь, смазала серой глиной земляной пол, занавесила кружевцами подслеповатые окошечки. Алексей купил муки, картошки и достаточно фуражу для лошадей — у кого воз, у кого два. Он ни с кем не торговался, денег не жалел и даже, если очень просили, давал немножко соли, что было дороже золота. Он знал, что односельчане его деньги считают легкими и три воза добра, и пять голов коней долго не простят ему.

Труднее было уломать односельчан относительно постройки дома. Он надумал снести флигель в княжеской

усадьбе, которая стояла, разоренная и брошенная, за голым парком на горе. В барском доме ничего не осталось — одни выбитые окна зияли между облупившимися колоннами. Флигель же, где жил управляющий, был цел. Его нетрудно разобрать и перенести на пепелище.

Но мужички все еще чего-то боялись. В селе не было никакой власти, — гетманскую изгнали, петлюровская кое-как держалась только в городах, красная еще не пришла. Без власти, может быть, с непривычки, было все-таки страшновато: как бы кто потом не спросил. Решили избрать старосту. Но в старосты никто не захотел идти, — богатые и умные только махали рукой: «Да что вы, да зачем мне это надо...» Поставить на эту должность бобыля какого-нибудь, которому терять нечего, — не хотелось. С советской стороны шел слух про этих бобылей, что из смирных становятся они — ой, какие бойкие.

Подходящего человека нашли бабы, — одна надоумила другую, и защебетали по всему селу, что старостой сам бог велел выбирать деда Афанасия. Этот дед жил на покое при двух своих снохах (сыновей его убили в германскую войну), в поле не работал, смотрел за птицей да вокруг дома и покрикивал на снох. Старик был мелочный, придирчивый. В незапамятные времена служил при генерале Скобелеве.

Дед Афанасий сразу согласился быть старостой: «Спасибо, почтили меня, но уж не отступайтесь — слухать себя заставлю». С седой бородой, расчесанной поскобелевски на две стороны, в подпоясанном низко кожухе, с высокой ореховой палкой ходил он по селу и высматривал — к чему бы придраться.

Алексей, встречая его, каждый раз снимал шапку и почтительно кланялся. Дед Афанасий, навалив на глаза страшенные брови, спрашивал:

— Ну, что тебе?

— Ничего, спасибо, Афанасий Афанасьевич, все на том же месте горюю.

— С мужиками все не можешь поладить?

— Одна надежда на вас, Афанасий Афанасьевич... Зашли бы когда-нибудь...

— Не много ли тебе чести будет, а?

Алексей все же заманил Афанасия Афанасьевича: послал Матрену к его снохам — купить гуся пожирнее

да сказать, что завтра, мол, справляем именины, звать никого не зовем, — тесно, а добрым людям рады. Дед Афанасий был к тому же любопытен. Едва зимние сумерки заволокли село, он пришел на именины в жарко натопленную хату, с половичком от порога до богато накрытого стола. Повсюду жгли лучину или сальные фитили в консервных жестянках, — здесь над столом горела керосиновая лампа.

Дед Афанасий вошел суров, как и подобает власти, и, снимая шапку, увидел красавицу Матрену, — с поджатыми губами, с черными недобрыми глазами, и — эту, другую, про которую в селе ходили всякие разговоры, именинницу, тоже красивую женщину. Обе, и Матрена и Катя, были одеты в городские платья, одна — в красное, другая — в черное. Дед Афанасий размотал шарф, стащил кожух и быстро сбил бороду на обе стороны.

— Ну, — сказал он польщенно, — приятному обществу мое почтение.

Вчетвером сели за стол. Алексей из-под лавки достал бутылку николаевской водки. Начался приятный разговор.

— Афанасий Афанасьевич, именинница наша, будьте знакомы, — моя невеста, любите и жалуйте.

— Вот как? Будем, будем жаловать, женщины ласку любят. А из каких она?

Алексей ответил:

— Офицерская вдова. У ее покойного мужа служил я вестовым...

— Вот как!.. — Дед все удивлялся, — было чего потом рассказать бабам. Ему и самому захотелось хвастнуть. — Когда я «Георгия» получил под Плевной, генерал Скобелев меня определил при себе — вестовым... Под ядра, пули посылал... Скажет, бывало: «Скачи, Афонька...» Ах, любил меня!.. Значит, невеста ваша благородного звания. Трудновато ей будет на деревенской работе...

— Деревенская работа не по ней, Афанасий Афанасьевич. Слава богу, достатка у нас найдется на рабочие руки...

— Само собой... Ну что ж, выпьем за здоровье невесты, горьким за сладкое. — Выпив, дед крякнул, шибко ладонью ерошил желтоватые усы. — Вот мои снохи

пятипудовые мешки таскают. А в первое время, как мужьев угнали на войну, пришлось, дурам, взяться за мужицкую работу: «Ой, спинушку развалило, — стонут, — ой, рученьки, ноженьки!» Умора! — Дед вдруг засмеялся глупым смехом. — А я с бабами лажу... Меня генерал Скобелев так и прозвал: Афонька — бабий король...

Матрена порывисто встала, скрывая смех, пошла за занавеску к печи — доставать жареного гуся. Катя, не поднимая глаз, сидела — тихая, скромная. Алексей, наливая, сказал душевно:

— Не то нам горько и обидно, Афанасий Афанасьевич. Я бы хоть завтра свадьбу сыграл, да разве могу я устроить молодую жену в такой конуре? Она с Матреной на коечке теснится, я на голом полу сплю. Обидно — сельский мир к нам, как к чужим... Чего они уперлись? Этот флигель без толку стоит на отшибе. Случаем только его ведь и не сожгли. Кому он нужен? Ждут, что князь сюда опять вернется да их поблагодарит?

— Есть такое соображение, — сказал дед Афанасий, разламывая гусячью ногу.

— Черт сюда скорее вернется, чем помещик... Ну, ладно... Этот флигель я покупаю у общества, я за все отвечаю... (Матрена зыркнула глазами на Алексея, он стукнул по столу.) Покупаю! Я — человек нетерпеливый... Эх, да что там... Ради такой встречи, — Матрена, достань у меня под подушкой в тряпице одна вещь завернута. (Матрена, сдвинув брови, затрясла головой.) Подай, подай, не жалей. Жальчее жизни ничего нет.

Матрена подала. Алексей развернул тряпочку, вынул вороненые часы с боем и со стальной цепочкой. Потряс их, приложил к уху.

— Случаем достались, как будто знал — для кого доставал. Носите их на здоровье, Афанасий Афанасьевич.

— Что же, ты мне взятку даешь? — сурово спросил дед Афанасий, и все-таки рука у него задрожала, когда Алексей положил ему часы на ладонь.

— Не обижайте нас, Афанасий Афанасьевич, дарим от сердца... У меня десятка два этой чепухи, Матрена все на спирт выменивала. А эти,—в них то дорого, что с боем. Чем вам под утро слушать петухов, пружинку

эту нажали, — бьют; валенки надевайте, идите смотреть скотину...

— Ах, — сказал дед Афанасий и разинул рот с редкими зубами, — ах, бабенок моих будить!.. Теперь они у меня не проспят, толстомясые.

Дед замотал шарфом жилистую шею, пошатываясь, надел кожух и ушел. Матрена, подвернув огонь в лампе, вместе с Катей убирала за занавеской посуду. Алексей сидел у стола.

— Николаевская это, что ли, крепка, или не пил я давно, — проговорил он глухим голосом. — Матрена, пошла бы ты скотину взглянуть.

Она не ответила, будто не слыхала. Немного спустя взглянула на Катю, усмехнулась.

— Не пойму, не разберу... То ли вы гнушаетесь нами, — опять сказал Алексей, — то ли совсем блаженная...

Матрена огненным взором приказала Кате не отвечать, — щеки ее пылали.

— Да хоть заплачьте, что ли... В первый раз таких вижу, ей-богу. Ее аттестуешь, — хоть поперхнулась бы... Сидит, опустила глаза... Ни рыба ни мясо... русалка, честное слово... Матрена! — позвал он. — А этого она не понимает, что малые дети на нее пальцами показывают. Алексей на возу привез, в карты ее у Махны выиграл... Это ей ничего... А мне чего! — бешено крикнул он. — Пускай теперь знают — моя невеста!

Катя побледнела, с полотенцем и тарелкой пошла было за занавеску. Матрена сильно дернула ее за плечо.

— Мы знаем теперь — с какого конца за жизнь хвататься... Я первого человека убил в четырнадцатом году. — Алексей коротко засмеялся. — Сижу, немец ползет, нос поднял, я — щелк, он и свалился на бок. А я жду — вылетит у него душа али нет? Я много людей убил, ни у одного души не видел... Ну и довольно, спасибо за науку... На угольках дом будем ставить: первый — деревянный, второй — каменный, третий — под золотой крышей... Напрасно, напрасно, Екатерина Дмитриевна, ведете со мной такую политику. Я вас силой не удерживаю, не мил, поган, — идите на четыре стороны. Невеста! От нынешнего моего жениховства удовольствия ждать не приходится...

Матрена скользнула губами по Катиной щеке и в самое ухо: «Дурак пьяный, не слушай его...» Катя повесила на протянутую веревочку полотенце и вышла за занавеску. Алексей сидел у стола боком, — нога на ногу, — свесив набухшую большую руку, и провалившимися глазами глядел на Катю. Она села на табурете, напротив него. Взгляд Алексея был не пьяный, пристальный, — она опустила глаза.

— Алексей Иванович, нам давно нужно поговорить... Алексей Иванович, я вас считаю хорошим человеком. За все время нашей походной жизни я видела от вас только настоящую доброту. Я к вам привязалась... Что вы объявили сегодня, — чему же удивляться, я давно этого ждала... Алексей Иванович, здесь, по приезде, что-то случилось... Вы здесь — другой человек...

Алексей захрипел, прочищая горло, потом спросил:

— То есть как — другой? Тридцать лет был одним; теперь стал другой?

— Алексей Иванович, моя жизнь была, как сон без пробуждения... Ну, вот... Я была бесполезное домашнее животное... Ах, меня любили, — ну, и что ж! — немножко отвращения, немножко отчаяния... Когда нас окружила война, — это было пробуждение: смерть, разрушение, страдания, беженцы, голод... Бесполезным домашним животным оставалось, поскулив, умереть... Так бы и случилось, — меня спас Вадим... Он говорил, и я верила, что наша любовь — это весь смысл жизни... А он искал только мщения, уничтожения... Но ведь он был добр? Не понимаю... (Она подняла голову, глядя на привернутый огонек жестяной лампы над столом.) Вадим погиб... Тогда меня подобрали вы.

— Подобрал! — Он усмехнулся, не спуская с нее глаз. — Кошка вы, что ли...

— Была, Алексей Иванович... А теперь не хочу... Была ни доброй, ни злой, ни русской, ни иностранкой... Русалкой... — Уголки ее губ лукаво приподнялись, Алексей нахмурился. — Оказалось, что я просто — русская баба... И с этим не расстанусь теперь... С вами я увидела много тяжелого, много страшного... Выдержала, не пискнула... Помню один вечер... Распрягали телеги, подъезжали всадники... Около кипящего котла собрались разгоряченные, шумные люди...

— Помнит! Матрена, смотри...

— Их все больше собиралось у кипящего котла... Каждый рассказывал о славных ударах, как он срубил голову, и налетел еще, и сшибся... Наверно, они много выдумывали... Но в этом было большое и сильное.

— Матрена, это она вот что вспоминает, — бой с германцами под Верхними хуторами... Лихое было дело...

— Я помню, как вы соскочили с тачанки. К вам страшно было подойти... — Катя помолчала, будто всматриваясь куда-то расширенными зрачками. — Вот, это было... Когда мы ехали сюда, я думала: передо мной широкая жизнь... Не на маленьком кусочке земли, — тут только поросята, куры, огород, и дальше — глухой забор, и — серые деньки без просвета... (Катя наморщила лоб, — ее бедный ум только хотел выразить это большое, ощутимое, что ей почудилось в степях, но выразить не мог.) Когда мы приехали — точно вернулись с праздника... Сегодня вы огласили меня невестой, огласили обдуманно. Вот, все и кончилось. Дальше — ну, что? Рожать... Вы построите дом, скоро будете зажиточным, а там и богатым... Все это я знала, все это осталось по ту сторону... Было в Петербурге, было в Москве, было в Париже, теперь начинается сызнова в селе Владимирском...

Такая тоска была в ее руках, упавших на колени, в ее склоненной голове с чистым пробором в темно-русых, как пепел, теплых волосах, — Алексей с силой зажмурился... Улетела, не давалась ему в руки эта жар-птица...

— Глупая вы очень, Екатерина Дмитриевна, — сказал он тихо. — Такая у вас путаница... Вроде брата Семена, что ли, — хотите в кровях умываться?.. Удивили вы меня этим разговором... Нет, все равно, не отпущу я вас...

13

Иван Ильич и Даша приехали в полк и поселились на хуторе в мазаной хате. Приемная Телегина, с телефонами, денежным ящиком и знаменем в чехле, находилась рядом, через сени. А здесь было только Дашино

царство: теплая печь, в которой не варили, но где Даша мылась, как ее научили казачки, залезая внутрь на расстеленную солому; кровать с двумя жесткими подушками и тощим одеяльцем (Иван Ильич покрывался шинелью); накрытый чистым полотном стол, где ели; зеркальце на стене; веник у порога, и в углублении штукатуренной печи — в печурке — стояли фарфоровые кошечка и собачка.

Два года тому назад Даша и Иван Ильич так же поселились вдвоем, влюбленные и шалые. Даша никогда не забывала того первого вечера на их молодой квартире, с окнами, раскрытыми на влажный после дождя Каменноостровский: ей было по-девичьему ясно и покойно, Иван Ильич сидел в сумерках у окошка, она видела, что он смущен почти до страдания, и она первая решилась,— зная, что сейчас доставит ему огромную радость, она сказала: «Идем, Иван». Они вошли в спальню, где на полу в банке стояла огромная охапка сладко пахнущих мимоз. Даша отворила дверцу шкафа, за ее прикрытием разделась, босиком перебежала комнату, залезла под одеяло и спросила скороговоркой: «Иван, ты любишь меня?»

Даша была несведуща в любовных делах, хотя они занимали ее больше, чем было нужно. То, что произошло в тот вечер между ней и Иваном Ильичом, — разочаровало Дашу. Это оказалось не тем, ради чего было написано столько поэм, романов и музыки, — этой заклинательной силы, вызывающей восторги и слезы, когда, бывало, Даша, одна, в пустой Катиной квартире, сидела за черным «стейнвеем» и вдруг, оборвав, вставала, сунув пальцы в пальцы, и если бы все тело ее не было в эти минуты холодноватым и прозрачным, как стекло, — то, что клубилось и кипело в ней, наверно бы, задушило ее.

Даша вскоре тогда забеременела. Она очень любила Ивана Ильича, но стала гнать его от себя. Потом начались страшные месяцы, — голод и тьма петроградской осени, дикий случай на Лебяжьей канавке, окончившийся преждевременными родами, смерть ребенка и одно желание — не жить. Потом — разлука.

Теперь все началось заново. Их чувство было сложнее и глубже былой невесомой влюбленности, в которой все казалось загадками и ребусами, как в пестро

раскрашенном волшебном ящичке с неизвестными подарками. Оба они много пережили и ничего еще не успели передать друг другу. Теперь любовь их,— в особенности для Даши, — была полна и ощутима так же, как воздух ранней зимы, когда отошли ноябрьские бури и в легкой морозной тишине первый снег пахнет разрезанным арбузом. Иван Ильич все знал, все умел, на все мог найти ответ, разрешить любое сомнение. И раскрашенный волшебный ящичек снова выплыл перед Дашей, но в нем уже не своевольные, самодовлеющие ощущения, не ребусы и загадки, — в нем были подарки, радости и горести суровой жизни.

Одно ей не совсем было понятно в Иване Ильиче и стало даже огорчать Дашу, — его сдержанность. Каждый вечер, ложась спать, Иван Ильич делался озабоченным, — переставал глядеть на Дашу, снимая сапоги, кряхтел на лавке, иногда, уже разувшись, говорил: «Дашенька, родная, спи, милая», — и уходил босиком через холодные сени в канцелярию; возвращался на цыпочках и осторожно, чтобы не заскрипела кровать, ложился с краю и сразу засыпал, накрывшись с головой шинелью.

А днем он был весел, жизнерадостен, румян, — убегал и прибегал, целовал Дашу в щеки, в ее русую, теплую, милую голову.

— Еще раз здравствуй, мать командирша... Ну что — налаживается у тебя?

Об этом он спрашивал тридцать раз на дню. Даше было предложено комиссаром Иваном Горой наладить местными силами полковой театр.

С перепугу Даша отказалась было: «Господи, так я же ничего не понимаю...» Иван Гора похлопал ее по руке:

— Справитесь, голубка, научитесь на ошибках, — и не такие дела вытягивали. Лишь бы нам от этой обыденщины отойти. Валяйте что-нибудь революционное, задушевное, чтобы у бойцов глаза щипало.

Комиссар очень заторопил с театром. Качалинский полк, пополненный и переобмундированный из скудных запасов царицынского интендантства, готовился вскорости выступить на фронт. Несмотря на утомительные строевые занятия, на два часа ежедневного политпро-

свещения, бойцы, отъевшись на хуторах, начинали баловаться от избытка сил. Был созван митинг.

Сергей Сергеевич Сапожков выступил на нем, после стольких лет молчания дождавшись случая раскрыть рот, чтобы выбросить в мир кучу идей, распиравших его. Он сказал о революционной ломке театра, об уничтожении всяких границ между сценой и зрителем, о будущем театре под открытым небом или в гигантских цирках на пятьдесят тысяч зрителей, где будут участвовать целые полки, стрелять пушки, подниматься воздушные шары, низвергаться настоящие водопады и героическими персонажами будут уже не отдельные актеры, но массы.

— Где вы, грядущие драматурги? — размахнув руками, будто силясь взмыть под стропила сарая, спрашивал Сапожков у красноармейцев, весело слушавших его, хотя и туманны были многие его слова и чересчур быстро он низал их одно к одному. — Где вы, драматурги нашей непомерной эпохи? Новые Шекспиры? Софоклы, сошедшие с мраморных пьедесталов, чтоб разделить с нами пир искусства, пир творчества? Разве был когда-нибудь так раскрыт перед вами человек? Разве история выбрасывала когда-нибудь столь роскошные груды идей?

Само собой, Даша после такого выступления совсем оробела. Но отступать было некуда.

Она поехала вместе с Сапожковым в Царицын за книжками, холстом, красками. Кое-что удалось достать. Сергей Сергеевич надавал ей много полезных, а еще более сумасшедших советов. Решено было безо всякой предварительной волокиты подобрать актеров и сразу начинать репетировать «Разбойников» Шиллера.

Телегин был в восторге не столько от предстоящей постановки «Разбойников», сколько от того, что Даша наконец нашла работу, увлечена ею, бегает, суетится, разговаривает с красноармейцами, сердится, иной раз плачет от досады и теперь уже не вернется (как ему в простоте душевной казалось) к напряженной сосредоточенности на одних своих переживаниях.

Приказом по полку в драматическую труппу были отчислены Аграппина, Анисья, Латугин, — ходивший к комиссару, чтобы его не обошли в этом деле, — Кузьма

Кузьмич, Байков и еще несколько красноармейцев, гармонистов, балалаечников и певцов.

Вечером в сарае при свете огарка Даша прочла пьесу. В скудном освещении лица актеров едва проступали сквозь пар от дыхания. В щели ворот поднявшийся ветерок наносил снег. Даша читала ясным, чистеньким голосом, стараясь по памяти подражать тому, как читал когда-то Бессонов: одна рука за лацканом черного сюртука, отрешенный от жизни голос, и слова, как кусочки льда, и жадно глотающие их, тяжело дышащие литературные дамы — вокруг на креслицах...

Уже с середины чтения Даша поняла, что пьеса не нравится, хотя в ней были сделаны большие вымарки. Под конец Даша совсем заторопилась. Окончив, сказала после тягостного молчания:

— Ну вот, это — «Разбойники» Шиллера, которых мы должны играть...

Мужчины закурили, один из них, Латугин, — негромко:

— Умственная штучка.

Тогда Кузьма Кузьмич, достав из кармана свежий огарок, зажег его и сел рядом с Дашей.

— Товарищи, Дарья Дмитриевна ознакомила нас с произведением, теперь я его прочту.

И он, взяв у нее книгу, начал громко читать, изображая голосом и всем лицом то отцовскую скорбь старика графа Моора, то шипел с присвистом, и нос его приплющивался, и глаза лезли наискось: «...Я был бы жалким ротозеем, когда бы не смог исторгнуть любимчика сына из родительского сердца, хотя бы он был прикован к нему железными цепями... О совесть! Отличное пугало для воробьев... Плыви, кто может плыть, а кто тяжел, — тони...»

И слушатели воочию видели ползучего гада Франца Моора. Но вот голос Кузьмы Кузьмича крепнул, рукой он ерошил волосы, сбивая их над лысиной, страшно вытягивались губы у него, блестели глаза благороднейшим гневом: «О люди! люди! Лживые, коварные отродья крокодилов! На устах — поцелуй, в руке — кинжал, чтобы вонзить в сердце... Ад и тысячу дьяволов! Пылай огнем, терпенье благородного мужа, превращайся в тигра, кроткая овца...»

Анисья Назарова тихо ахала; Латугин весь подался к свече, озаряющей волшебную книгу, по строчкам которой ползал ноготь Кузьмы Кузьмича. Сам Карл Моор гремел в темном сарае, — взбунтовавшийся человек, понятный взволнованным слушателям. Да еще какие находил слова, чтобы рассказать о своих обидах, вот это — пьеса, бьет под самый корень!

Когда догорел огарок и Кузьма Кузьмич мрачно проговорил последние слова Карла, вспомнившего, идя на страшную казнь, о бедняке-поденщике, — Анисья и Агриппина стали вытирать глаза рукавами шинелей. «Правдивая вещица», — проговорил Латугин. И все сошлись на том, что Карл зря, сгоряча, неправильно убил возлюбленную Амалию, ее надо было взять в шайку, перековать. В этом месте Шиллера придется поправить, иначе из-за такой мелочи хорошая пьеса не понравится красноармейцам, и могут быть даже вредные последствия среди бойцов. Амалию, тут же у стола, решили не закалывать, а Карл ей говорит: «Иди домой, несчастная», — заплакав горько, она уходит.

Анисье поручили играть Амалию, Карла — взялся Латугин. Подлеца и гада Франца хотели дать Байкову, — побоялись: не удержится, станет смешить публику; красноармейцы, как увидят его бороду, — так и грохнут. Решили: Франца играть Кузьме Кузьмичу, а чтобы он казался помоложе — обязать его наголо обриться. Старика графа Максимилиана фон Моора отдали красноармейцу Ванину, с густым голосом. Остальные роли расхватали Агриппина и молодые бойцы. Кто-то принес паклю и керосину, в сарае стало светло от дыма горящего факела. Не расходясь, начали репетировать.

Даша вернулась домой только под утро и еще долго рассказывала Ивану Ильичу, — он, босиком, в накинутой шинели, сидя на кровати, хохотал до слез...

— Латугин Карла Моора играет? (И он прыскал и хрюкал, держась за живот.) Ой, не могу... Да знаешь ли ты, зачем он Карла Моора взялся играть, прохвостище? Он за Анисьей ухаживает... А ему Шарыгин обещался печенку вырвать... А Кузьма Кузьмич? Франца... Этот может... В чем же они — не в гимнастерках же будут ломаться? Я пошлю завхоза, на хуторе одном какой-то присяжный поверенный из Петрограда застрял с чемоданами... Разживемся сюртуками и фраками...

— Ты так хрюкаешь, что просто нет охоты ничего тебе рассказывать. Пусти меня. — Даша залезла в кровать и улеглась к самой стене, спиной к мужу. Когда он осторожно подоткнул ей одеяло и прикрыл ноги шинелью, так как печь уже остыла и в хате было свежевато, Даша проговорила, засыпая:

— Все будет хорошо.

В полку теперь только и говорили что о театре. Сапожков прочел лекцию о немецкой литературе времен «Бури и натиска», где сравнивал бурных гениев — Шиллера, Гете, Клингера — с молодыми орлятами, разбуженными приближающимися зарницами Великой французской революции. Сапожкову посыпалось столько вопросов, что пришлось объявить ряд лекций по истории конца восемнадцатого века. Он все ночи просиживал при свете коптилки, строча карандашом и выжимая свою память, так как за неимением книг и справочников довольствовался дымом махорки. На лекциях вопросы сыпались, как горный обвал, — красноармейцы хотели все знать. Упомяни он о чем-либо, — давай подробно. Дернуло его обмолвиться о декабристах, — давай их сюда, рассказывай.

Его слушали по многу часов, перемогая усталость, — иные задремывали и опять встряхивались. Увлекательна была повесть о давно прошедшем времени, о чужой стране, где вот так же люди, вздев на пику красный колпак, пошли напролом одни против всего мира. Голодные и разутые, выдумали новую военную тактику, чтобы победить. И, победив, были скручены по рукам и ногам теми, кому не догадались вовремя отрубить головы.

— О Максимилиан Робеспьер, Максимилиан Робеспьер! — восклицал Сапожков одним хрипом сорванного голоса. — Ты мог победить, ты мог спасти революцию! Твой роковой день, когда ты сорвал черное знамя Коммуны с парижской ратуши...

Уже пели петухи по дворам, приходил комиссар Иван Гора и гудел:

— Товарищи, через три часа побудка.

Суфлируя, Даша прерывала:

— Стоп! Товарищ Ванин, вы изображаете какого-то покойника. Не нужно нарочно кашлять, откуда у вас

этот отвратительный натурализм? Горячее, вкладывайте больше души... Все сначала.

Даше попался среди привезенных из Царицына книг театральный журнал со статьей Кугеля: «За неимением гербовой — пишут на простой», наполненной руганью по адресу Художественного театра. Автор вспоминал великих русских трагиков, потрясавших умы и сердца звероподобной гениальностью. Тогда театр был языческим храмом, занавес казался таинственным покрывалом Таниты. Увы, порода гигантов-трагиков вымерла, последний из них, Мамонт Дальский, променял свои котурны на колоду карт. Великих потрясателей душ заменил режиссер, ученый господин, предложивший почтеннейшей публике вместо распятой перед зрительным залом человеческой души — настроение, колышущиеся занавески, двери с настоящими косяками и жужжание комаров... «Нет, — восклицал автор, — истинный театр — это косматое чудовище страстей!» Из статьи Даша почерпнула также кое-какие практические сведения, помогавшие ей репетировать.

Латугин и Анисья сидели в стороне, дожидаясь выхода. За эти несколько дней у нее осунулось лицо, — еще бы, нелегко было влезать в чужую жизнь. Анисья потеряла аппетит, еда стала ей противна. Думала, думала, как ей поверить в Амалию? — и нашла лазейку, увидав в книге изображение этой барышни в широком платье (Амалия грустила, подперев рукой щечку). Анисья долго, со вздохами, рассматривала картинку, прикинула: вот тогда, в моем-то горе, куда горчайшем, брела я, спотыкаясь, от села к селу, не видя света от слез, протягивала руку за куском черствого хлеба... Нет, картинка неправильная. Ей бы, Амалии, — пускай в шелках, бархатах, — Анисьино горе, — вот бы как заломила руки в коротеньких рукавчиках с кружевцами, вот бы как завела глаза!

Так, понемногу, Амалия фон Эдельрейф, возлюбленная Карла Моора, стала Анисьей. Вчера на репетиции все даже приумолкли, когда она, сняв высокую шапку с нашитой звездой из кумача и коснувшись рукой

рассыпавшихся волос, села на табурет и заговорила, будто беря рукой за сердце:

«О, ради бога! Ради всех милосердий! Мне уже не нужно любви... Одной смерти прошу я... Покинута, покинута! Понимаешь ли ты ужасные звуки этого слова: «покинута...»

Сегодня утром на строевых занятиях отделенный за полнейшую невнимательность Анисьи вкатил ей наряд вне очереди; пришлось вмешаться комиссару, и ограничились строгим выговором. Сейчас она тихо сидела рядом с Латугиным, — в больших синих глазах ее бродила мечта, губы ее, то улыбаясь, то вздрагивая, беззвучно произносили слова.

— Была у нас Саша, девчонка, с ясненькими глазами, — вполголоса говорил ей Латугин, — мне четырнадцать в ту пору, ей — семнадцать. Походка у нее, что ли, была особенная? Идут девушки с поля, и она с ними, — полушалочка, кофтенка канареечная, идет с граблями, будто вот сейчас к тебе прильнет... Пропили за хрыча, поникла моя Саша... А ты спрашиваешь, отчего наш брат мечется! (Он говорил, у Анисьи чуть розовели щеки, будто ее ласкали.) Небывалой жизни ищем, небывалой, непробованной, дорогая моя Анисья. Об одной все думаем, о такой, какую и во сне не увидать...

— Таких не бывает.

— Тебе знать! В Тихом океане на коралловом острове такие-то живут.

Анисья посмотрела на его бычье лицо с широко расставленными глазами, и опять в ней что-то дрогнуло, и горячая, влажная нежность прошла по ее телу. Но теперь не томление покорное, бабье, — нет, этого уже больше нет, спасибо за то времечко! — теперь ей стало весело, — усмехнулась:

— А ты там бывал?

— Что ж из того... В лоции об этом написано.

— В какой такой лоции?

— В морской книге о разных чудах.

— Несешь ты, Латугин, горе тебя слушать.

— А ты слушай, а я буду врать. А вот тебе правда: задумал я, Анисья, с тобой нехорошо сделать, да был у меня разговор с одним человеком. Сунули меня, как кота мордой, в это самое... Ладно... Человек — царь природы. Спасибо за науку...

Анисья опять, но уже с удивлением, взглянула на него. Латугин так повысил голос, что Даша постучала карандашом: «Товарищи, мешаете репетировать».

— На Керженце у нас скопцы живут, — шепотом продолжал он. — Холостят себя через то, что не могут с собой справиться. Один рассказывал: «Снится мне жар-птица, снится, — раскроешь глаза — серая тоска...» И злодействуют, и жен лупят до полусмерти... Идет он к своему коновалу — белому голубю: «Спаси мою душу», — и тот его гасит, как свечу... «Живи, мерин, благополучно, господь с тобой...» Нет, Анисья, кровью умоемся, в трех щелоках вываримся, — поймаем ясную птицу, хоть она на край жизни улети...

Даша стучала карандашом.

— Товарищи, Карл, Амалия, последняя сцена, делайте перестановку...

Когда утренняя малиновая, морозная заря проступила за дымами хутора, — около хаты, где помещался штаб полка, соскочил верхоконный, бросил заиндевевшую лошадь и бешено начал стучать в дверь. Иван Ильич сам отворил ему. Красноармеец передал пакет. В тот же день были мобилизованы подводы на ближних хуторах, и полк выступил в поход.

Начиналось окружение Царицына, донской армией, — третье по счету с августа месяца. На этот раз генерал Мамонтов брал Царицын в клещи, с флангов. Верстах в пятидесяти севернее города три конных полка генерала Татаркина внезапным ударом прорвали фронт и выскочили к Волге около поселка Дубовка.

На день позже, на юге под Сарептой, стала наступать конница генерала Постовского. Сарепту прикрывали части Стальной дивизии Дмитрия Жлобы. Самого Жлобы уже не было: он разругался с военсоветом, запретившим ему самоснабжение и своевольство, и, опасаясь ареста, кинулся в Москву — жаловаться. В Стальной дивизии шло брожение, — одни говорили, что батько Жлоба вернется командармом, другие, что батько арестован и «треба всей громадой» идти на Царицын — выручать его, но больше верили слухам, что батько бежал в Астрахань и там собирает вольницу. Тысячи полторы конных бойцов, снявшись с фронта, пе-

реправились через Волгу и ушли левым берегом на Астрахань. Стальная дивизия была растрепана, генерал Постовский занял Сарепту и навис с юга над Царицыном.

В предвидении этих фланговых ударов военсовет Десятой еще за неделю до того стал сосредоточивать ударную группу из двух кавалерийских бригад: доно-ставропольской и бригады Семена Буденного. Но они не успели соединиться, — произошел прорыв, и всю силу удара приняли на себя доно-ставропольцы. На помощь к ним день и ночь гнал коней Буденный.

К месту сосредоточивания ударной группы были брошены качалинцы. Весь остаток дня и с коротким привалом всю следующую ночь полк двигался в направлении на мутное зарево в морозной мгле. Оно сбивало свет зари; солнце поднялось правее его, лишь ненадолго показавшись между раскалившимися, как медь, слоистыми тучами.

Телегин, Иван Гора и Сапожков ехали верхами, позади них по снежной степи во много рядов растянулись телеги с красноармейцами, пушки и обозы. Вдалеке маячили конные разведчики. Оба командира и комиссар с удивлением слушали сердитые вздохи артиллерийской стрельбы, доносившиеся не так уже издалека. Они пустили коней рысью, опередив полк — съехались, остановились и, вынув из планшета карту, стали рассматривать ее. Место, куда приказано было прибыть полку, находилось еще далеко, но слышимость орудийной стрельбы указывала, что фронт придвинулся. Связи у них с ним не было ни по проволоке, ни по конной цепочке. Такая неясность могла быстро повернуться гибелью.

— Степь проклятая, ползем, как жуки по скатерти, — сказал Иван Гора, — хорошо, если казачишки нас еще не выследили.

— Ну, как не выследили, — сказал Телегин, — у них своя почта, от самых хуторов за нами следят.

Сапожков, нахлобучив папаху по самые брови, ускакал к разведчикам.

Подходили передние воза на тяжело дышащих, косматых от пота лошадях. Иван Ильич приказал соскочившим красноармейцам бежать — махать и кричать отставшим, чтобы подтягивались и держались плотнее. Пробираясь между телегами, он увидел Кузьму Кузьмича, обвязанного по ушам тряпицей, — он правил ло-

шадью; на куче декораций сидела Даша, в башлыке, в нагольном белом кожухе, лицо ее было, как у маленькой, ярко-румяное и заспанное. Щурясь от снежного света, она что-то закричала ему, но за скрипом телег, шумным говором он ничего не расслышал. Потом увидел Агриппину, сидевшую с тремя красноармейцами,— она тоже что-то начала кричать, указывая варежкой на небо. Чего ей там понадобилось? Иван Ильич запрокинулся в седле. Ясно виднелся самолет — черной птичкой, пониже слоистого облака, под которым расходились мглистые солнечные лучи.

Теперь его увидели все. Иван Ильич, ударив лошадь, врезался между возами. «Рассыпайся!» Огромный Иван Гора, привстав на стременах, заорал басом: «Огонь по самолету!» Мимо Ивана Ильича промчалась телега,— Даша со страшными глазами и Кузьма Кузьмич, хлещущий лошадь концами вожжей. Началась беспорядочная стрельба. Свирепо ревущий самолет с отогнутыми крыльями стал уходить за облака, из брюха его посыпались яйца, со свистом понеслись вниз и взорвались на чистом снегу черными кустами.

Такую страсть многие из красноармейцев видели в первый раз,— иные телеги ускакали далеко в степь. Протяжно заиграла труба, собирая рассыпавшийся строй. И долго еще молодые ребята опасливо поглядывали на облака.

Теперь надо было ждать и самих казаков. Телеги шли ось к оси, тесными рядами. С пушек, ползущих внутри вытянутого четырехугольника, были сняты чехлы. На закате дня впереди залиловели очертания селенья. Оттуда рысцой возвращался Сапожков с двумя разведчиками. Возбужденный и веселый, подъехал к Телегину и Ивану Горе, снял папаху, взъерошил мокрые волосы:

— Все в порядке, на хуторе никого, кроме баб и ребят. Дальше, верстах в пяти, станица, там — казаки...

— Казаки, казаки, утешили тоже! — сердито перебил Иван Гора. — А где наши?

— Не знаю же, тебе говорят... Наши от станицы отошли, а на хуторе их и не было...

— Хутор надо занимать, — сказал Иван Ильич, — покуда не свяжусь с фронтом — ни шагу дальше хутора не двинусь.

В сумерках заняли хутор, раскинувшийся по берегу запруженного оврага. Красноармейцы стучали в ставни, кричали устрашающе: «Хозяева, вылазь!» Заходили в натопленные, темные хаты. Лишь кое-где за печкой обнаруживали где женщину с ребенком, где бормочущую со страху бабушку. Все мужское население убежало в станицу. Телегин приказал окапываться. Оба конца улицы загородили сдвинутыми возами. Сапожкова он еще засветло послал с охотниками в глубокую разведку, чтобы за ночь связаться с фронтом.

Ночь прошла тревожно. Хотя казаки не большие охотники драться по ночам, все же можно было ждать от них всякой пакости. Иван Ильич и Иван Гора ходили из конца в конец хутора, пробирались по еще зыбкому льду на ту сторону пруда. Небо было непроглядно, орудийная стрельба на северо-востоке затихла. Поднимался ветер, тянущий сыростью, мороз спадал, и снег уже не хрустел под ногами.

— В мышеловку, ну чисто в мышеловку попали,— гудел Иван Гора, угрюмо шагая рядом с Телегиным,— не смогли довести полка... Позор! Нас ищут, мы ищем, что за хреновина! Кто виноват, ну — кто?

— Брось ты, никто не виноват.

— С кого первого спросят? С меня. И правильно. Комиссар в степи с полком потерялся, ах, хреновина!..

Гулко раздался одинокий выстрел. Иван Гора с размаху остановился. Были слышны удары его сердца. И сразу началась ураганная стрельба и так же внезапно затихла. В темноте лишь переговаривались люди, выскочившие спросонок из хат.

— Нервничают ребята,— сказал Иван Ильич.— Молодежь необстрелянная. Давай покурим.

Перед рассветом он зашел на минутку в хату, осторожно шагая через ноги спящих, ощупью добрался до печки. Дашина рука в темноте отыскала его и погладила по лицу, он прижал к губам ее теплую ладонь.

— Что ты не спишь?

— Знаешь, я о чем, Иван,— если мы долго простоим на хуторе,— в конце концов можно сыграть «Разбойников» под открытым небом и даже просто в шинелях, не в этом суть...

— Ну конечно, Дашенька.

— Так горячо у нас пошло — жалко, если они все растеряют...

— Правильно... Я завтра взгляну, — может быть, сарай какой-нибудь найдется... Спи, деточка...

Он опять вышел на улицу и глубоко вдохнул сырой ветер. После стольких лет тоски по счастью Иван Ильич никак не мог привыкнуть к тому, что оно было в двух шагах, в низенькой хате, на теплой печи, под овчинным тулупчиком...

«Не спит, в тревоге... И ведь ни словечка... Только обрадовалась, лапку протянула... Что за удивительная женщина!..»

То, что она отыскала его в темноте, и погладила, и прижала ладонь к его губам, так взволновало Ивана Ильича, что и на ветру лицо его пылало... Неужели он все-таки ошибается? «Нет, дорогой мой, эти глупости — прочь... Подруга — да, да, да... Верная — да, да, да... И на том будь счастлив...»

Он никогда не мог забыть тех темных вечеров в Петрограде, когда, прибегая с добытым пирожком, с конфеткой какой-нибудь для Дашеньки, он внушал ей только отвращение и ужас... Значит, в нем было такое и никуда оно не девалось. Но, боже мой, до чего он любил эту женщину, до чего желал ее!

Из темноты подошел Иван Гора, глубоко засунувший руки в карманы бекеши.

— А если они Сапожкова у нас перехватят?

— Очень возможно. Я на рассвете высылаю вторую разведку.

— Раньше, гораздо раньше надо было все это делать!.. — Иван Гора вытащил руку из кармана и постукал себя кулаком по лбу. — Не оправдал доверия, коммунист! Выдеремся из этой истории благополучно, — все равно не прощу себе... Я бы такого комиссара повел вон за тот амбарчик: прощай, товарищ!

— Иван Степанович, я в такой же мере виноват, если хочешь...

— Брось, брось. Ну — пойдем, давай закуривай...

Всю эту ночь Сергей Сергеевич Сапожков с пятью разведчиками-охотниками колесил по степи, в надежде обнаружить какие-либо признаки фронта. Но степь

была глуха и непроглядна. Зажигали спичку и ориентировались по компасу. Некормленые лошади приустали, а та, на которой был навьючен пулемет, захромала и тянула повод. Сапожков приказал спешиваться, разнуздать, отпустить подпруги. Из заседельных мешков достали пшеницы, насыпали в шапки, стали кормить лошадей, поставив их спиной к ветру.

— Товарищ командир, я нашел объяснение, почему мы не смогли соприкоснуться с фронтом, — сказал Шарыгин, как всегда вдумчиво подбирая слова. — Фронт сконцентрировался... (Он озяб, губы у него плохо шевелились.) Мы подтянули фланги в район боя, и казаки сконцентрировались... Возможен такой факт?

— О казаки, казаки, лживые и коварные отродья крокодилов! Ад и тысячу дьяволов! — серьезно проговорил Латугин. Трое молодых красноармейцев (мобилизованные на казачьих хуторах) прыснули со смеху. Шарыгин сейчас же ответил:

— Не всегда шутка к месту, товарищ Латугин. Нахальство надо попридержать в серьезных делах.

Сапожков тихо:

— Будет, ребята, не ссориться.

Лошади позвякивали удилами, с хрустом жуя пшеницу. За спинами у разведчиков посвистывал ветер в дулах винтовок.

— Жри, не балуй, холера! — прикрикнул Латугин, когда лошадь, выдернув голову из шапки, начала ему кланяться.

Давеча, на хуторе, у колодца, где собрались красноармейцы, Сергей Сергеевич Сапожков крикнул охотников в разведку, и первым подошел к нему Шарыгин: «Я иду с вами», — причем не удержался, добавил, волнуясь: «Не подумайте, товарищ командир, я не из лихачества выскакиваю, но, как комсомолец, сознательно, так сказать...»

Латугин, который привел к колодцу артиллерийскую упряжку и смеялся с красноармейцами, услышал это, увидал красное, возбужденное лицо Шарыгина... «Ах, черт курносый, подумал, нет, врешь, не обскачешь...» И, подернув плечами, подошел к Сапожкову.

— Не лишний буду у вас, Сергей Сергеевич? А то — сбегаю на батарею, отпрошусь.

Всю дорогу он цеплялся к Шарыгину и смешил красноармейцев. Сейчас его обозвали нахалом, и командир сделал замечание. Так! Латугин высыпал из шапки в горсть остатки зерна, бросил их в рот:

— Языка надо добыть, что ж без толку по степи кружиться... Тогда будем знать — где фронт сконцентрировался...

— Правильно, — подтвердил Шарыгин, — дельное предложение.

— Ну, товарищи, по коням!

Сапожков надел шапку, взнуздал лошадь, кряхтя, подтянул подпруги и вскочил в седло. Перед рассветом стало подмораживать, и ночь была уже не так темна. Предутренний зеленоватый свет обозначил мутные края облаков. Ребята, нахохлившись, трусили рысцой.

— Стой. Вон они! — Латугин, роняя шапку, через голову потащил карабин. — Шестеро... семеро! — В зеленоватой мути только его морские глаза могли увидать что-то совсем неразличимое... — Да нет же, черт, — шипел он съехавшимся разведчикам. — Не туда глядишь, вон они — чуть брезжут...

Пока торопливо развьючивали пулемет, послышался топот лошадей, и обозначились преувеличенные, неясные очертания всадников.

— Снохачи, клади оружие, сдавайся! — диким голосом закричал Латугин. Не по-кавалерийски ударил лошадь дулом карабина и поскакал, и, догоняя его, поскакал вслед Шарыгин. «Назад, назад!» — надрывался Сапожков. Приостановившиеся было казаки, — видимо, тоже разведчики, — повернули коней и стали уходить. Латугин с седла выстрелил несколько раз; под одним, скакавшим позади (остальные уже едва были видны), лошадь кинулась вбок и повалилась. Латугин и Шарыгин завертелись вокруг соскочившего человека. «Давай сюда, товарищи!» — звал Латугин, возясь с ним около упавшей лошади. Когда к нему подбежали, он уже сидел верхом на казаке и крутил ему руки. «Небольшой, а какой здоровый дядька...» Казак лежал ничком, щекой в снегу, и хрипел, морщинисто зажмурив глаза.

Ему приказали встать, толкнули его, перевернули на спину. Казак начал ругаться забористо, сложно, так, будто нарывался, чтобы его скорее прикончили. Сапожков,

побледнев, ударил его ножнами шашки: «Встань!» Казак, приподняв голову, дико взглянул на него, встал, пошатываясь. Был он невелик ростом, покатый в плечах, с широкой, как сияние, бородой, забитой снегом.

— Типун тебе на язык, матершинник, куродав! — закричал на него Сапожков. — Перед тобой командир полка, отвечай на мои вопросы.

Казак потянул за спиной скрученные ремнем руки. Круглыми желтыми глазами, поворачивая бороду, глядел на стоящих перед ним. Вдруг облизнул губы.

— Я тебя знаю, — сказал он одному из красноармейцев, румяному и смешливому, — ты Куркина родной племянник, не стыдно тебе?

— Тю! И я тебя знаю, Яков Васильевич...

— Яков Василевич, здравствуй, желанный, — сказал Латугин, и смешливый красноармеец опять прыснул. — Чудо бородатое, мы-то вас всю ночь ищем. Какого полка? В составе какого корпуса?

Сапожков, отстранив его, достал карту и начал допрос. Казак отвечал неохотно, потом, видимо, рассудил, что за разговором можно выгадать время, — краснопузые немного поостынут, можно будет выпутаться, — и разговорился. Из его слов узнали о прорыве фронта генералом Татаркиным и о том, что дальнейшее развитие успеха приостановлено доноставропольцами и что сейчас идет кровопролитный бой под Дубовкой, куда стягиваются и белые и красные.

Конец ниточки был найден. Решили казака отправить в полк с одним человеком, остальным, не щадя коней, идти на Дубовку — рапортовать командующему о прибытии качалинского полка. И тут только спохватились — где же Шарыгин?

— Мишка, — позвал Латугин, — заснул с конями?

Брошенная лошадь Латугина стояла, наступив на повод. Из-под брюха другой лошади, повесившей худую шею, виднелись странно подогнутые ноги Шарыгина. Он обхватил седельную подушку, прижался к ней лицом.

— Мишка! — с тревогой Латугин взял его за плечи, потянул к себе.— Братишка, чего дуришь?

Шарыгин откачнулся и тяжело повалился на него. Лицо его было землистое. Шинель от груди до патронташа набухла кровью. Латугин опустил его на снег, за-

голил белый живот его, прижал ладонью кровоточащую рану.

— Ты его угодил шашкой? Эх, Яков, Яков!.. — Латугин сорвал с себя шинель и гимнастерку, от ворота разодрал рубаху, скрутил ее жгутом и живо и ловко стал перевязывать Шарыгину живот.

— Сергей Сергеевич, надо его на хутор везти.

— Позволь, как же...

— Что — как же!.. Я один его довезу и пленного пригоню.

На мертвенном лице Шарыгина выступил пот, закаченные глаза ожили, к ним возвращалось сознание, и изумление, и страх: что такое произошло с ним,— молодое, никогда не болевшее, сильное тело его сломалось...

— Товарищи, родные, как же мне теперь?

— Снегу, снегу схвати, дурной! — Латугин щипал снег и клал ему на губы.

Покуда возились с Шарыгиным и перевьючивали пулемет с захромавшей лошади,— стало уже совсем светло, ветер гнал низкие, растрепанные облака, сеющие мелким ледяным дождичком. За хлопотами не заметили, как с юга, вместе с клочьями тумана, надвинулись огромные скопления конницы.

От топота ее загудела степь. На рысях проходили колышущиеся колонны всадников, упряжки пушек, четверни тачанок. Разведчики глядели на них, держа лошадей в поводу. Уходить было поздно.

Разведчиков заметили, десятка два верхоконных отделились от головы проходившей колонны и вскачь погнали к ним. Оглянувшись, Сапожков видел, как Латугин, серьезный и побледневший, медленно потянул шашку; смешливый красноармеец, неосмысленно щелкая затвором винтовки, все лицо собрал морщинками, как от боли...

Передний всадник, в заломленной бараньей шапке, в плечистой бурке, покрывающей до репицы небольшую лошадку, что-то закричал и указал на разведчиков. Сапожков выстрелил, и тотчас Латугин, падая на него с седла, схватил за руку:

— Г...но! Не стреляй! Свои!

Они подскакивали. Фланговые, окружая, стлались на конях. Высокий человек в бурке налетел на Сапожкова и так тряхнул за грудь, что тот потерял оба стремени...

— Ослеп!.. Что за люди, какой части?

Черные глаза у него вращались, усы взъерошились, он едва удерживался, чтобы рукоятью шашки не стукнуть оробевшего Сапожкова.

— Мы качалинского стрелкового полка. Ищем связь с фронтом.

— Плохо же вы ищете связь с фронтом, когда он у вас на носу,— остывая, ответил усатый и с треском бросил шашку в ножны.— Садись, езжай с нами.

— У нас раненый, вот в чем дело-то...

— Ах, боже ж ты мой, весь полк у вас такой бестолковый? Подымай раненого на коня, вот к тому здоровому, — указал он на Латугина. — А это что за герой?

— Языка взяли.

— Давай нам языка. (Сапожков заикнулся было, что языка нужно отослать в полк.) Ах, с вами трудно мне разговаривать. С вами будет разговаривать начштаба бригады, надо же иметь понятие.—Он поправил плечом бурку и пошел крупной рысью, так, будто лошадь выплясывала под ним, поблескивая копытами, кидая снег. За ним поскакали все,— и Латугин с привалившимся к нему Шарыгиным, и насупившийся от стыда и горя в широкую бороду пленный казак, которому развязали руки.

Кавалеристы несказанно удивились вопросу Сергея Сергеевича: что это за кавалерия, идущая так быстро в походных колоннах, теперь уже смутно виднеющихся сквозь туман и дождь?

— Как что за кавалерия? То ж бригада Семена Михайловича Буденного.

— Отдохнули немножко, Дарья Дмитриевна? Что-то личико озабоченное? С утра-то и не покушали? Так, так... А я целое ведро молока надоил. Сбегал бы, честное слово, принес,— красноармейцы все съели. Хлеба мы накрошили и втроем прититюшили. Вот как животы набили...

Кузьму Кузьмича распирало от переизбытка жизни. Даша не могла смотреть на его лицо, обритое наголо,— до того оно было неприличное: маленький суетливый подбородок и рот, такой откровенный и голый, будто сам просился, чтобы его прикрыли... Даша проснулась

поздно, ни в хате, ни на дворе никого уже не было. В воздухе пахло оттепелью, хлевами, по камышовым крышам цеплялись клочья тумана. Кузьма Кузьмич увидел ее с соседнего двора, живо перелез через плетень и давай вокруг нее притоптывать, потирая маленькие грязные руки.

— Во-первых — все хорошо, благополучно, Дарья Дмитриевна... Супруг ваш на том берегу пруда. Вы изволили крепко спать, не слышали,— была перестрелка. Казачишки хотели нас пощупать, мы их так стукнули — они кубарем назад в станицу. Пока что окапываемся... Бегал я на батарею,— Карл Моор еще не вернулся из разведки. Проезжала с бочкой Анисья — на ней лица нет, губы сжаты, нос вострый, не пожелала со мной разговаривать. Таков обзор внешних событий. Что касается вас,— берите ведро, налейте в ковшик теплой воды из чугуна, идем доить корову. Ничего нет более успокоительного для души и тела, особенно для мечтательной интеллигенции, как прикосновение к коровьим соскам.

Даша засмеялась. Но он настаивал:

— Шиллер — Шиллером, а на вашем дворе хозяева удрали, бросили скотину не поену, не кормлену, не доену. Это не порядок. Идите за ведром.

— Я же не умею, Кузьма Кузьмич.

— Вот типичный ответ. Ничего вы не умели, Дарья Дмитриевна, иголки держать не умели, мужа из-за неуменья едва не потеряли навек. А вот мы надоим молока, я вас научу, как наводить молочные блины, на лучинках яичницу жарить. Придет Иван Ильич, голодный, как зверь. И красавица жена подаст ему сковороду, на ней сало шипит как бешеное. Он накинется, а вы ему еще — блинков! Садитесь напротив и глядите на него со спокойной улыбкой, и она ему кажется загадочной, как у Джиоконды. Вот какие жены у командиров Красной Армии!

Кузьма Кузьмич настоял на своем,— уж если попала ему идея какая-нибудь, как шип в голову, лучше было с ним согласиться. В полутемном хлеву Даша, подобрав юбку, присела под коровой,— та ее не боднула и не лягнула. Даша помыла теплой водой вымя и начала тянуть за шершавые соски, как учил Кузьма Кузьмич, присевший сзади. Ей было страшно, что они оторвутся, а он повторял: «Энергичнее, не бойтесь». Широкая корова

обернула голову и обдала Дашу шумным вздохом, горячим и добрым дыханием. Тоненькие струйки молока, пахнущие детством, звенели о ведро. Это был бессловесный, «низенький», «добрый» мир, о котором Даша до этого не имела понятия. Она так и сказала Кузьме Кузьмичу — шепотом. Он — за ее спиной — тоже шепотом:

— Только об этом вы никому не сообщайте, смеяться будут: Дарья Дмитриевна в коровнике открыла мир неведомый! Устали пальцы?

— Ужасно.

— Пустите... (Он присел на ее место.) Вот как надо, вот как надо... Ай, ай, ай, вот она, русская интеллигенция! Искали вечные истины, а нашли корову...

— Слушайте, а вы сами-то...

— Я? — От возмущения он даже бросил доить.

— Сидите под коровой и философствуете.

— Душенька, вы с бывшим попом лучше и не связывайтесь спорить.

Он взял ведро и вместе с Дашей пошел из коровника в хату. Там он стал колоть лучинки.

— Философствование есть праздношатание мыслей. Иоганн Георг Гаман, прозванный северным магом, утверждал: «Наше собственное бытие и существование других предметов вне нас никак доказаны быть не могут и требуют только веры...» А если веры нет, значит, и мира нет? И вас и меня нет? И не лучинка это, а — ничто? На ничто яичницу будем жарить?

Он положил лучинки на шесток, из печи выгреб несколько угольков и стал раздувать их.

— Иное дело — философия жизни, Дарья Дмитриевна. Изучи жизнь, познай ее и овладей... Без вмешательства высокого разума жизнь идет по злым путям. Существование мое есть факт самый несомненный и лично для меня чрезвычайно важный. И так как я общителен и любопытен, то хочу все видеть и все понять. И скоро пойму многое из того, что совершается вокруг нас и с нами самими, потому что это — не стихия, но руководится человеческим разумом. Я вот не могу добиться поговорить с нашим комиссаром. А мне бы не с ним, мне бы с человеком в штатском пиджачке, вот с такой головой, посидеть бы часок... Дарья Дмитриевна, сбегайте на двор, там в глубине — амбарчик, я его давеча запри-

метил и даже замок на двери сломал. Принесите муки— ну, горсти две...

Завтрак был готов. Вместо Ивана Ильича, которого Даша ждала с минуты на минуту, в хату ворвался красноармеец с винтовкой и набитым подсумком.

— Командир приказал, запрягай, грузись... Собирай барахло! — Он потянул носом, сдвинул шапку на затылок, придерживая винтовку, подошел к печи, взял со сковороды, сколько мог захватить, горячих блинов, стеснительно подшмыгнул и пошел.

— Товарищ,— крикнула Даша,— товарищ, а что случилось?

— Как что случилось? Взгляните на улицу...

Совсем близко, должно быть во дворе, рвануло с такой силой, что вылетели стекла в обоих маленьких окошечках.

План декабрьского наступления на Царицын был разработан военными специалистами в ставке Деникина. На огромную важность овладения этим городом указывал один из самых молодых генералов, барон Врангель. Атаман Краснов принял план. На помощь донской армии была послана освободившаяся после разгрома красных на Северном Кавказе дивизия под командой Май-Маевского, усиленная лучшими боевыми частями корниловцев, марковцев и дроздовцев. Май-Маевский двинулся через Донбасс, чтобы прикрыть тыл донской армии, которая была открыта ударам с запада, со стороны Украины и на своих северных границах оставила лишь сильные заслоны. Пятьдесят тысяч отборных донских войск устремилось к Царицыну.

В то же время ставка главного командования красных армий республики разрабатывала план встречного наступления. Восьмая и Девятая красные армии, стоявшие на северной границе Донской области, вторгались в нее по обеим сторонам Дона, прижимали красновских белоказаков к штыкам Десятой и совместно перемалывали донскую армию в царицынских степях. Разгромив ее, красные армии поворачивались на сто восемьдесят градусов и двигались на запад, к Днепру, очищать Украину от петлюровцев.

В этом плане опущено было главное: то, что под линиями и кружочками военной карты, под сеткой знаков и цифр кипела классовая борьба со своими особенными законами и возможностями. Точки и линии были различные по качеству: одни могли влить новые силы в красные полки, бригады и дивизии, другие — ослабить их.

План главкома посылал красные армии не по тем направлениям, которые предусматривались высшей стратегией гражданской войны. Движение их с севера на юго-восток, по Дону, Хопру и Медведице, мимо враждебно настроенных казачьих станиц, ослабляло силы наступления, затягивало время его, давало противнику возможность маневрировать и перестраиваться.

Таковы были дальнейшие крадущиеся шаги тайного предательства в недрах Высшего военного совета республики, принявшего порочный план главкома к исполнению. Ошибка, на первый взгляд как будто трудно уловимая, выросла через полгода в грозную опасность.

Декабрьское контрнаступление красных армий началось. Оно происходило значительно восточнее Донбасса, где в заводских и шахтерских районах нетерпеливо ожидали Красную Армию, чтобы поднять восстание. Но туда с юга вторглась дивизия Май-Маевского с шомполами и виселицами. Правый фланг красного наступления оказался под угрозой. Наступление затормозилось. Всю силу удара снова, в третий раз с августа месяца, принимала на себя Десятая армия.

Враг был многочисленнее, лучше вооружен и богаче снабжаем. У него был злобный наступательный порыв. Силы оказались слишком неравными. Царицын послал на фронт последнее пополнение, все, что мог, — пять тысяч рабочих. На помощь пришло творчество революции.

Французский народ в 1792 году, голодный, разутый, вооруженный самодельными пиками, для того чтобы победить обученные войска европейской коалиции, придумал ураганный артиллерийский огонь и, противно всем военным уставам, массовую атаку пехоты против знаменитых каре короля Фридриха.

Русский народ создал новые формы организации конной боевой части. Такой была вышедшая из Сальских степей бригада Семена Буденного. Не в одной только храбрости заключалась ее сила. Белоказаки то-

же умели рубить до седла. От обозного бородача до знаменосца, с усами в четверть, буденновская бригада была спаяна верностью и дисциплиной. Ее эскадроны, ее взводы формировались из односельчан. Бойцы, когда-то вместе ловившие кузнечиков в степи, шли рядом на конях. Сыновья, племянники — в строю, отцы, дядья — на тачанках и в обозе. С того первого дня, когда Семен Буденный вывел из станицы Платовской отряд сотни в три сабель, и по сей день у них не было ни одного случая дезертирства... Да и куда бы отъехал такой боец? Не к себе же в станицу или на хутор — на позор и на суд.

По обычаю, не написанному в уставе, в бригаде было два суда: официальный — трибунальский и неофициальный — товарищеский. Провинившегося бойца,— сплоховал ли в бою, не подчинился ли приказу, или дрогнула рука на чужое добро,— судил трибунал. А помимо трибунала, в особых случаях, бойцы сами судили виновных. Собирались где-нибудь подальше от глаз, в сумерках, и начинали свой суд над этим человеком. И случалось так, что трибунал, принимая во внимание то-то и то-то, оправдает, а товарищеский суд рассудит суровее, и человек пропадал, и не у кого было допроситься об его участи.

По новому и опять-таки ни в каких полевых уставах еще не написанному правилу был построен боевой порядок. Эскадрон разворачивался для атаки лавой в два ряда. Впереди шли опытные рубаки с тяжелой рукой, обычно кавалеристы старой службы, — бывали у них такие удары, что вражеский конь уносил на себе одну половину хозяйского туловища. За ними скакали меткие стрелки с наганами и карабинами, каждый охраняя в бою своего переднего. Передние, под завесой огня товарищей, смело и без оглядки врезались с клинками в противника, и еще не было случая, чтобы вражеская конница, даже вдвое и втрое сильнейшая численностью, могла выдержать такую, слитую из отдельных осмысленных звеньев сосредоточенную атаку буденновцев.

Хутор горел во многих местах. Валил дым среди скученных крыш, выбивалось пламя, выбрасывая под низко летящие облака искры и клочья пылающей соломы. Голуби, кружась, падали в огонь. По хлевам мычала ско-

тина. Разломав плетень, вырвался племенной бык и с ревом носился по улице. Женщины с детьми на руках выбегали из горящих хат, ища — куда им скрыться. Со стороны станицы, из-за холмов, била и била казачья артиллерия...

В середине дня оттуда показались первые цепи пластунов редкими точечками на большом протяжении, намереваясь охватить и окружить горящий хутор и загнать в огонь качалинский полк, сидевший в наспех вырытых окопах. Они начинали от кузницы — с краю хутора, тянулись по берегу пруда, где гранатами был взорван лед, и загибали к ветряной мельнице на кургане.

Вдоль окопов ехали верхами Телегин и Иван Гора, за ними — вестовой комиссара Агриппина, в заломленной, как она переняла это от казаков, барашковой шапке. Около отделения, сидевшего по пояс в узенькой канавке, нахохлившись под такой погодой, или около пулеметного расчета останавливались: Иван Ильич — румяный, с веселыми глазами, Иван Гора — потемневший и спавший в лице от ночных переживаний, но теперь успокоившийся, когда ясна стала обстановка. Телегин поправлялся в седле, рукой в перчатке проводил по губам будто для того, чтобы согнать с них улыбку, и говорил, выгадывая тишину среди грохота разрывов:

— Товарищи, вам представляется возможность нанести врагу кровавый урон. Стрелять без паники, спокойно, с выбором, — по пуле на человека: такой стрельбы мы с комиссаром ждем от вас. В штыковую контратаку переходить дружно, зло... Приказываю — не отступать ни при каких обстоятельствах.

Комиссар, Иван Гора, мотнув головой, вскрикивал:

— Да здравствует товарищ Ленин! Да похилится и позавалится мировой капитализм!

Сказав, ехали к следующей группе бойцов. Обогнув весь фронт, слезли с коней у ветряной мельницы. Разведка к этому времени установила, что за ночь в станицу вошли крупные силы казаков. По тому, как они очертя голову наступали, можно было понять, что появление на хуторе качалинского полка застало их врасплох при выполнении какого-то другого задания и что

они, видимо, решили смести красных с пути одним ударом.

Под крышей мельницы свистел ветер, поскрипывали деревянные шестерни, домовито пахло мукой и мышами. Иван Гора, тяжело вздыхая, нет-нет да и высовывался между оторванными досками, поглядывая, не покажется ли в бурой степи на востоке Сергей Сергеевич. Телегин, кричавший внизу в телефон, взбежал по отвесной лесенке.

— Повторяем царицынскую операцию!— возбужденно проговорил он, поднимая бинокль.

— Какая, к черту, операция, окружены, как бараны... А я тебе говорю — убили его, ведь второй час.

— Сергея Сергеевича не так-то легко убить...

— Ты-то чего больно весел?..

— Драться надо весело, Иван Степанович.

Дым от горящей на гумнах соломы тянул низко над землей в сторону наступающих. Теперь можно было различить отдельные перебегающие фигуры. Передовые заставы, отстреливаясь, отошли к окопам. Весь фронт качалинского полка, опоясавший неправильной подковой горящий хутор, затаился.

— Ага! Ложатся! — крикнул Телегин.— Нервы не выдержали, желторотые! Смотри, смотри — ложатся цепи... Иван Степанович, беги, Христа ради, скажи посерьезнее, только бы не стрелять... Без моего приказа ни одного выстрела.

. . . .

— Комиссар! — нарочно испугано прикрикнул Байков. — Расчет по местам!

Расчет первого орудия: Байков, Задуйвитер, Гагин и Анисья — подносчица — поднялись и стали на места. Из-за глиняной стены обгоревшей хаты показался Иван Гора, на шаг позади него — Агриппина. Они шли к отделению, прикрывавшему батарею. Иван Гора начал говорить красноармейцам. Агриппина, вытянутая, как хлыст, стояла рядом с ним, держа в опущенной руке наган.

— ...без особого приказа — строжайше — ни одного выстрела,— донесся напористый голос Ивана Горы. — Товарищи, предупреждаю, за ослушание — расстрел на месте...

Байков тряхнул бородой, поседевшей от капелек дождя:

— Братва, бойся этой девки с наганом, шлепнет — глазом не моргнет...

Анисья ответила:

— Зачем над ней смеешься? Агриппина правильный товарищ...

Иван Гора повернул к орудию, такой серьезный, что расчет замер. Агриппина шла, как привязанная, шаг в шаг — за мужем. Первое орудие стояло на невиданном сооружении из сколоченных досок, тележных колес, кругом валялись пилы, топоры, щепки. Иван Гора взглянул на эту диковину — моргал, моргал, спросил:

— Это что ж такое?

— Наше изобретение, товарищ комиссар,— ответил Байков.— Вроде морской поворотной башни...

— Тележные колеса к чему?

— Для быстрого поворота орудия. Способная вещь...

— Так, так, так.— Иван Гора пошел дальше, Агриппина — вслед. Байков повел веком на нее.

— В одной с ней драматической труппе, товарищи, а комиссара не боюсь — ее боюсь... Глаза круглые, как у мыши, ну — никакой жалости... Эх, бабы, бабы, за что воюем!..

— Дарья Дмитриевна, отнес... На мельницу не пустили... Он сверху мне покивал: «Да неужто сама Дашенька пекла?» — «Сама, говорю, да жалко — холодные...» — «А я, говорит, холодные блины больше люблю... Передай ей тысячу поцелуев...»

— Это вы все сочинили.

— Ей-богу, нет... Происшествие слыхали? Наш-то Иванов, ну — врач, до того струсил, мальчишка,— рвота, колики... Комиссар рассвирепел: «Поправить ему нервы!» Приказал раздеть и у колодца облить водой... Слышите — верещит, третью бадью на него льют... Смеху-то! А ведь я тоже трус, Дарья Дмитриевна...

Даша, как в клетке, ходила от окна к двери в хате, где были разложены перевязочные средства и уже пахло карболкой и йодоформом. Кузьма Кузьмич вертелся около нее.

— Ко мне один сон привязался, чуть не каждую ночь вижу: в руках ружье, сердце трясется, как тряпочка, и я стреляю, я нажимаю изо всей силы эту самую собачку, и весь бы я так и влез в это проклятое ружье... А оно не то что стреляет, а вяло-вяло спускается курок, вялый дымишко ползет из дула, а тот — в кого стреляю — без лица,— никогда лица не вижу,— надвигается, ширится... Фу, какая гадость!..

— Почему так тихо? — спросила Даша, хрустнула пальцами и остановилась около окошка... Уже начинались ранние сумерки... Пожары отгорали. Разрывов и надрывающего посвиста снарядов больше не было слышно. Затихла ружейная стрельба. Казачьи цепи придвинулись, подползли,— они почти окружили хутор. Даша отвернулась от окна и опять заходила.— Будет много раненых. Как мы справимся?

— Комиссар пришлет Агриппину, это большая подмога. Слушайте, я у него и Анисью выпросил: «Ей, говорю, не место около пушки, из чистой романтики она — около пушки...» Так вот, мой сон,— что это такое?

— Вы правду скажите — Иван Ильич здоров? Все хорошо?

— Высунулся ко мне в дыру в крыше,— рот до ушей. Абсолютно уверен в победе...

— Ах! — Даша встряхивала головой. Нужно было заставить себя не думать об этих тысячах мужчин, подползающих, как звери. Все равно — этого не понять... Она изо всей силы, точно сказочное чудовище за веревку, тащила свое воображение сюда, на эти мелкие предметы, разложенные на столе,— бинты, склянки, хирургические инструменты... Вот йоду мало, это ужасно! Воображение мягко повиновалось и незаметно, какими-то неуловимыми лазейками, снова оказывалось там, расширив глаза, как два озера... Почему, почему этим людям так нужно убить всех невиноватых, всех хороших, любимых? Ненависть,— что может быть страшнее в человеке? Ненависть окружала Дашу, подступала — выжидающая, неумолимая, — чтобы вонзить штык, за который судорожно схватишься пальцами...

— Нет, это просто бесстыдно — так,— сказала Даша, и дикий взгляд ее раскрытых глаз испугал Кузьму Кузьмича. — Ну чего на меня глядите? Мне тошно, понимаете, так же, как нашему доктору... Не могу вынести

ненависти... Деликатно воспитана?.. Ну, и подавитесь этим...

Она бесцельно переставляла пузырьки и пакетики.

— Тоже не понимаю — для чего мне какой-то сон начали рассказывать...

— Ага, Дарья Дмитриевна, сон в руку... Есть ненависть, очищающая, как любовь... Ненависть — как утренняя звезда на высоком челе... Есть ненависть утробная, звериная, каменная,— ее-то вы и боитесь... Я тоже ужаснулся, помню, в четырнадцатом году... рассказывали: русских застигла мобилизация за границей, кинулись к последнему поезду... Деткам маленьким ручки отхлопывали вагонными дверями немецкие кондуктора... А сон вот к чему,— я его комиссару не стал бы рассказывать, никому, кроме вас, и то уж в такую минуту. Бессилен я, кончено мое путешествие по земле. — Он неожиданно всхлипнул. — Ружье мое не стреляет, а только шипит.

— Ненавижу! — вдруг крикнула Даша и шепотью стала ударять себя в грудь. — Я видела, я знаю эти лица: глаза несостоявшихся убийц, угри на щеках от вожделения, отвалившиеся подбородки... Сволочи! Тупые, темные... Таким нет, нет места на земле!..

— Спокойно, спокойно, Дарья Дмитриевна. Давайте лучше посмотрим — вскипела вода в чугуне?

Даша быстро подошла к окошку,— в сизых сумерках пробегали, нагнувшись, красноармейцы, с винтовками, уставленными, как в атаку. Она разглядела даже лица, напряженные до морщин. Один споткнулся, падая, пробежал и, взмахнув руками, выправился, обернулся, оскалив зубы.

. . . .

В степи взвилась ракета, раскинула зеленые ядовитые огни. Медленно падая, они озарили приникшие серые спины в окопах и близко, — саженях в двухстах, не более,—поднимающиеся фигуры пластунов. Между ними бежал человек, крутя над головой шашкой. Огни погасли. В мгновенной черной темноте начался крик, усиливаясь, как грозовой ветер: «Уррр-а-а-а!..»

Телегин снял шапку, провел ладонью по мокрым волосам. Все, что можно было продумать, предусмотреть и сделать,— сделано. Теперь начиналась психология боя.

Враг был, наверно, вчетверо сильнее, если считать скопление его резервов, едва различимых в бинокль.

Всматриваясь, он по самые плечи высунулся в пролом в крыше. Вдруг хутор опоясался огнем выстрелов. У Ивана Ильича все поплыло в глазах... То там, то там по окопам сбивались кучки людей... Он стал было искать шапку: «Черт, обронил такую шапку!..» И затем очутился уже внизу и побежал с кургана к окопам.

Первая казачья атака почти повсюду отхлынула, лишь около кузницы, как и предполагал Иван Ильич, бой разгорался. Там была свалка, дикие крики, рвались гранаты. Он добежал до земляной стены сарая, где находился резерв, но его там не было,— красноармейцы, не выдержав, распорядились сами и кинулись к кузнице на подмогу. Туда же трусил рысцой, согнувшись под тяжестью мешка с гранатами, Иван Гора.

— Комиссар! — крикнул Иван Ильич.— Что делается! Беспорядок! Нельзя так!

Иван Гора только повернул к нему свирепый нос из-под мешка. Через два шага Иван Ильич увидел Дашу,— она уходила в ворота, поддерживая бойца, ковылявшего на одной ноге. Иван Ильич остановился... Поднял руку с растопыренными пальцами. «Так,— сказал он,— так вот я зачем шел...» Повернулся и побежал обратно к батарее.

— На батарее все благополучно?

— Как у господа бога в праздник. Здравствуйте, Иван Ильич.

— Товарищи, — шрапнель... По резервам!..

Взобравшись поблизости на крышу, Иван Ильич влип глазами в бинокль. Резервы, которые он давеча заметил с мельницы, приближались густыми массами. Он закричал с крыши:

— Беглый огонь!

В свинцовых сумерках начали вспыхивать один за другим шрапнельные разрывы. Ряды наступающих шарахались и шли. Все ниже и ниже лопались шрапнели над головами их,— цепи шли. Поднялась ракета и повисла, как змея, огненными головками над рядами оловянных солдатиков, осеняя их молодецкий подвиг: погуляйте, братцы, нынче на большевистских косточках... И только погасла — справа на востоке взвились подряд

три ракеты, распавшись красными огнями, мутными и зловещими, по всему небу. Телегин закричал:

— Ответить ракетами: три красных подряд!

. . . .

Буденновцы, подойдя в сумерках руслом плоского оврага, бросились на левое крыло наступающих неожиданно и с такой злостью, что в минуту ряды пластунов были смяты, опрокинуты, и началось то страшное для пехоты при встрече с конницей, от чего нет спасения,— рубка бегущих. Огни ракет, поднимающиеся с хутора, освещали степь, где повсюду — смерть от свистящего клинка. Люди на бегу бросали оружие, закрывали голову руками,— их настигала черная тень от коня и всадника, и буденновский кавалерист, пружиня на стременах, завалясь влево, во весь размах плеча рубил, и катилось казачье тело под конские копыта.

Буденный, когда увидал, что уже по всему полю казачьи массы опрокинуты и бегут, придержал коня и поднял шашку: «Ко мне!» Со съехавшейся к нему полусотней он повернул и поскакал к хутору. Конь под ним был резвый. Семен Михайлович скакал, откинувшись в седле, держа клинок опущенным к стремени, чтобы отдохнула рука, серебристую барашковую шапку сдвинул на затылок, чтобы ветер освежал вспотевшее лицо и вольно гулял по усам. Кавалеристам приходилось, поспевая за ним, шпорить коней. Проскакали по берегу пруда, где в полыньях отражались падающие звезды ракет. Какие-то люди кидались от всадников и прилегали к земле. Не обращая на них внимания, Семен Михайлович указал шашкой туда, где около кузницы все еще не могли расцепиться пластуны с качалинцами: та и другая сторона по нескольку раз кидалась в штыки, отступала и залегала.

Буденновская полусотня рассыпалась лавой и, отпустив поводья, глядя на подпрыгивающую впереди серебристую шапку, налетела от пруда с пригорка на пластунов,— ни пулеметная очередь, ни выстрелы, ни уставленные штыки не могли остановить храпящих от натуги коней. Что попалось под клинки — было порублено. Семен Михайлович осадил коня только на улице хутора.

К нему торопливо шел Телегин. Семен Михайлович не сразу ответил ему,— платком вытер лезвие, платок этот бросил на землю, положил в ножны большую,

с медной рукоятью, шашку, и, поднеся к виску прямую ладонь, сказал:

— Здравствуйте, товарищ, с кем я говорю? С командиром полка?.. С вами говорит командующий группой комбриг Буденный. Приказываю вам: оставить одну роту для охраны обоза и раненых, с остальными силами и с артиллерией немедленно наступать к станице, занять ее и очистить от белоказаков.

— Слушаю, будет исполнено...

— Минутку, товарищ...

Он соскочил с коня, подсунул ладонь под подпругу, ударил пальцами по губам коня, норовившего схватить его за рукав, и протянул руку Ивану Ильичу.

— Потери большие?

— Никак нет.

— Это хорошо. А что — продержались бы своими силами, кабы не мы?

— Да продержались бы, отчего же, огнеприпасов достаточно.

— Это хорошо. Ступайте.

— Боли в области живота окончательно прошли, Анисья Константиновна, я даже не чувствую — где у меня живот... Так это неконструктивно устроено, — самый серьезный аппарат, и никакой защиты... Шашка-то вошла не больше чем на вершок — и такое разрушение... такое разрушение... Попить дайте...

Анисья сидела около него — утомленная, молчаливая. Госпиталь помещался теперь в станице, в двухэтажном кирпичном доме. В нем оставались только легко раненные да те, которых тяжело было везти, остальных несколько дней тому назад эвакуировали в Царицын. Шарыгин умирал. Так ему не хотелось умирать, так было жалко жизни, что Анисья замучилась с ним. Она уже не утешала его,— только сидела около койки и слушала.

Анисья встала, чтобы зачерпнуть кружкой воды из ведра и дать ему попить. Лицо его горело. Большие, синие, как у ребенка, глаза не отрываясь следили за Анисьей. Она была одета по-женскому — в белый халат; золотые волосы, которые он часто видел во сне, завиты в косу и обкручены вокруг головы. Он боялся, что она

уйдет, тогда — только закинуть голову за подушку, стиснуть зубы и слушать неровные удары крови, отдающиеся в висках. Он говорил не переставая. Мысли его вспыхивали, как в догорающей плошке огонь фитиля,— то лизнет по краям и поднимется и ярко осветит, то поникнет и зачадит.

— Некрасивая вы тогда были, Анисья Константиновна, старше вдвое казались... Подопрет рукой щеку и глядит, ничего не видит,— в глазах темно от горя... Однако я нежалостливый, это я в себе вытравил... Жалостливые люди — самые черствые. Надо один только раз в жизни пожалеть... И стоп! — выключил рубильник... Сердце давай на наковальню, да еще раз его — в горящие угли, да опять под молот... Такие должны быть комсомольцы... Я тогда на пароходе собрал секретное совещание и товарищам разъяснил, что недостойно борцам за революцию вас трогать... Латугин тогда завернул насчет судомойки... Ах, Латугин, Латугин!.. Совсем не нужно это вам, Анисья Константиновна... Подобрала вас революция. Налились вы красотой,— не для него же... Это же тупик... Вопрос этот надо ставить, надо бороться за этот вопрос...

Огонек его лизнул края жизни, измерил близкую темноту и поник. Шарыгин провел по губам сухим языком. Анисья поднесла ему кружку. Он снова заговорил:

— Я знаю, за что умираю, у меня это не вызывает сомнений... Хочется мне, чтобы вы обо мне помнили... Я из Петрограда, с Васильевского острова. Папаня мой столяр, я в ремесленном учился, у папани работал... Он строгает — я строгаю, он строгает — я строгаю... Оба молчим и молчим... Ушел я работать на Балтийский судостроительный... Там открылось мне самое главное — для чего я существую... Началась горячка мыслей, нетерпение. Высокое поманило, внизу уж ни часу нет сил оставаться... Ну, а там — война, призвали во флот,— от злобы зубы во рту крошились... Как вы не можете понять, Анисья Константиновна, что увидел я живого человека, которого мы сами выдумали, завоевали, сами сделали... Да как же — отпустить вас опять бродить с опущенной головой?.. Зачем тогда революция? Неправильно это... Вы должны быть актрисой... Я каждый вечер у того сарая крутился, видел, слышал... «О, ради бога! Ради всех милосердий... Покинута, покинута...»

Будете фронты потрясать... Кончится гражданская война — станете мировой актрисой... По этой дороге вам идти... Слабость вам ни к чему... Он вам будет петь, а вы не слушайте, Анисья Константиновна, хочется мне вам доказать: на личную жизнь вы прав не имеете. Милая... Зачем отвернулась?.. Отдохну, соберусь, еще хочу сказать... Что-то я упустил, одно важное доказательство...

Голова его заметалась на подушке, потом он затих и молчал так долго, что Анисья близко наклонилась: зрачков у него не было видно сквозь полуоткрытые веки. Не его разговоры, а в тоске закаченные глаза сотрясли Анисьино сердце. Ей стало понятно все, что он старался ей высказать горячечными и смутными словами. Наверно, те двое маленьких так же тогда звали ее, напугавшись огня, зашумевшего кругом их скирдочки, где они присели близенько друг к другу. Анисья с тех пор ни разу не вспоминала детских лиц, боялась этого,—сейчас они, точно живые, выплыли перед ней: Петрушка — четырехгодовалый и младшая — Анюта, кудрявые, толстощекие, смешливые, с маленькими носиками... И теперь этот, третий, звал ее. С ним она простится, его она проводит.

Анисья тихонько приглаживала его слежавшиеся волосы. Ресницы его дрожали, и она видела, что синеватые пятна разливаются по вискам его...

14

Главнокомандующий Деникин каждую пятницу вечером играл в винт у Екатерины Алексеевны Квашниной, своей дальней родственницы по материнской линии. Этот винт начался еще в девяностых годах, когда Антон Иванович учился в академии и снимал комнату у Екатерины Алексеевны на 5-й линии Васильевского острова в опрятной — по-петербургскому — квартире ее в полунизку. С того времени из четырех постоянных партнеров в живых остались только они двое, заброшенные жестокими временами в Екатеринодар, где Антон Иванович, волей бога, встал во главе вооруженных белых сил, а Екатерина Алексеевна, бежавшая из Петербурга в начале восемнадцатого года, скромно проживала здесь

со своей дочерью — тоже Екатериной Алексеевной — младшей.

Главнокомандующий не раз предлагал ей под тем или иным предлогом вспомоществование, но она отвечала: «Лучше, чтобы это не стояло между нами, Антон Иванович,— деньги портят дружбу». Она брала на дом корректуры изданий Осведомительного агентства, и, кроме того, у нее с дочерью оставались кое-какие ценные мелочи про черный день.

Вечер пятницы был священным, никто, даже начальник штаба, генерал Романовский, не смел отрывать главнокомандующего от традиционного винта. Ровно в двадцать часов у деревянного неказистого домика с воротами — в отдаленной степной части города — останавливалась одноконная коляска с поднятым кожаным верхом. Главнокомандующий приказывал кучеру — бородачу, с «Георгиями» во всю грудь,— приехать за ним в полночь, тихим шагом входил в калитку и поднимался на крылечко, где уже сама собой открывалась перед ним дверь.

Шпики, каждую пятницу посылаемые сюда начальником контрразведки, старались не попадаться на глаза главнокомандующему. Один, сидя на крыше, прятался за печной трубой, другой — за старым пирамидальным тополем на другой стороне улицы, и еще двое — на дворе за помойкой. Деникин как военный человек терпеть не мог шпиков. Однажды, с картами в руках, он рассказал по поводу этой печальной необходимости историю про покойного государя. Николай II любил уединенные прогулки в царскосельском парке. Шпиков сажали с утра за куртинами и кустами вдоль тропинок, где мог пройти царь. В зимнее время их заносило снегом и совсем не было видно. Прогуливаясь однажды, он услыхал, как за спиной его раздался осипший голос из-за куста: «Седьмой номер прошел». Николай был крайне раздосадован — почему именно он проходит у шпиков под кличкой «седьмой», и сместил начальника охраны, после чего его именовали уже «номером первым».

Войдя в крошечную прихожую, где горела свеча, Деникин стаскивал кожаные калоши с медными задками, снимал,— всегда сам, без чьей-либо помощи,— просторную солдатского сукна шинель на малиновой подкладке, приглаживал поредевшие и зачесанные назад волосы

свинцового оттенка и подходил к ручке Екатерины Алексеевны. Он брал в свои руки и ласково трепал красивую, слабую ручку Екатерины Алексеевны младшей и здоровался кратко и мягко — «Здравствуйте, господа» — с остальными двумя партнерами: своим адъютантом, князем Лобановым-Ростовским, и с Василием Васильевичем Струпе, бывшим начальником отделения какого-то из министерств, старым петербуржцем, приятнейшим человеком.

В гостиной уже был раскрыт стол, с двумя свечами и веером раскинутыми картами на зеленом сукне. Даже мелки и круглые щеточки были традиционные, как в те светлые годы, на Васильевском.

Екатерина Алексеевна, в черном поношенном платье, всегда веселая, очень маленького роста, с преувеличенно полной нижней частью тела, катилась на коротеньких ножках к столу. Круглое лицо ее смеялось, большой рот уютно пришепетывал. Из-за ее непоседливости под ней непрестанно скрипел старый гнутый стул, под который она ставила скамеечку для ног. Прежде чем вытянуть карту, чтобы разместиться за столом, она загадывала, и каждый раз так случалось, что ее партнером оказывался главнокомандующий. Она весело хлопала в пухлые ладошки перед своим носом:

— Вот видите, господа, я загадала... Катя, мы опять с Антоном Ивановичем...

— Прелестно,— мрачным голосом говорил Василий Васильевич Струпе, садясь и выбирая себе мелок и щеточку.

Василий Васильевич — хладнокровный, всезнающий, остроумный скептик, с худощавым, строгим, рано состарившимся лицом — был опаснейшим соперником в винт и, как все петербуржцы, относился с серьезным изяществом к этой игре.

— Прелестно, как сказал один титулярный советник, отдавая все козыри,— повторил он, и холеные пальцы его с твердыми ногтями быстро начинали тасовать колоду.

Четвертый партнер, князь Лобанов-Ростовский, несмотря на молодость, был также сильным винтером. Этим да кое-какими личными поручениями главнокомандующего ограничивались его адъютантские обязанности. Для оперативных дел имелись другие люди,

современной складки. Как все Лобановы-Ростовские, князь был некрасив, с вытянутым плешивым черепом и величественным лбом при незначительных чертах лица. Если не считать одного недостатка — дерганья длинными ногами под столом, как бы от нетерпенья по малой нужде,— князь был прекрасно воспитан. Он никогда не выражал своего мнения; если его о чем-либо спрашивали — отвечал неожиданной глупостью, так как прекрасно понимал, что ни с чем дельным к нему не обратятся; был предупредителен без услужливости и этим летом в боях, до своего ранения и отчисления, выказал храбрость.

Играли, как бы священнодействуя. В этом доме в эти часы о политике и о войне не говорили. Слышались только: «Бубны... Черви... Без козыря... Два без козыря...» Потрескивала свеча. Дымилась папироса, положенная на край стеклянной пепельницы. И — наконец:

— Ну что ж, Екатерина Алексеевна, отдадим?

— Жалко, ах, как жалко, Антон Иванович...

Екатерина Алексеевна младшая сидела тут же на плюшевом диванчике и, не поднимая головы, вязала и улыбалась... Лицо, глаза и волосы у нее были бесцветные, в изгибе нежной шеи и в красивых руках чувствовалась неутоленная жажда ласки. Екатерина Алексеевна младшая была влюбчива, ей шел двадцать шестой год, все ее чувствительные истории оканчивались печально: то он, наспех простившись, уезжал на войну, то у него неожиданно оказывалась любимая женщина, и он безжалостно сообщал об этом. Теперь она влюбилась в некрасивого, но ужасно милого Лобанова-Ростовского. Он шутливо ухаживал за ней,— это доставляло удовольствие главнокомандующему, относившемуся к Екатерине Алексеевне почти как к дочери. Она старомодно мечтала о том, как он забудет у них свой портсигар, на следующее утро, в отсутствие Екатерины Алексеевны старшей, появится перед окном домика верхом на лошади, войдет, звякнув шпорами, поздоровается (на ней черное шерстяное платье с белым воротничком и манжетками), извинится, и одна из шуточек его замрет на губах,— всмотревшись в ее лицо, он поймет. Они войдут в гостиную, оба взволнованные... Вдруг он берет ее за руки выше локтей, привлекает к себе: «Я вас не знал,— скажет взволнованно,— я вас

не знал, вы другая, вы благоуханная...» На этом слове полет фантазии обрывался... Екатерина Алексеевна вязала и улыбалась, не поднимая глаз на князя, сидевшего между двумя свечами: ей было достаточно, что он здесь и она чувствует запах его дорогого табака.

Таков был маленький мирок, осколочек старой России, где по пятницам отдыхал от тяжелых забот главнокомандующий Деникин.

Сегодня главнокомандующий, против правил, прибыл с опозданием, чем-то озабоченный и несколько рассеянный. Снимая калоши, он наступил на лапу коту, вертевшемуся под ногами,— кот взвыл гадким голосом, Лобанов-Ростовский схватил его и унес на кухню. Екатерина Алексеевна старшая засмеялась. Василий Васильевич сказал: «Коты бывают несносны». Все ждали, что Деникин пройдет в гостиную. Но он задумчиво повесил шинель и продолжал стоять, пощипывая седую — клинышком — бородку. Тогда лица все стали серьезны, и тревожная пауза длилась, покуда князь, вернувшись, не сообщил, что с котом все благополучно...

— Ага,— сказал Деникин,— тем лучше... Не будем терять времени.

Играл он хуже, чем обычно, сбрасывая не те карты, и все оборачивался к окошкам, хотя они были закрыты ставнями. Екатерина Алексеевна младшая тихонько встала, накинула шубку и вышла на двор — проверить, на местах ли охрана. Шпик, который сидел на крыше за трубой, где свистел колючий ветер, а выше, как сумасшедшая, ныряя в тучи, неслась половинка мутного месяца,— крикнул оттуда, стуча зубами:

— Барышня, вынеси, Христа ради, водочки...

Около десяти часов подъехал автомобиль. Главнокомандующий положил карты, напряженные глаза его заблестели. Вошел в офицерской шинели, перехваченной на груди концами башлыка, высокий, румяный, надменный генерал Романовский. Сняв фуражку, сухо звякнул шпорами, отдал общий поклон.

— Антон Иванович, я за вами.

— Итак — свершилось?

— Так точно, Антон Иванович.

Деникин заторопился:

— Я вернусь, господа, вы уж простите, — такие

обстоятельства.— И в прихожей, не сразу попадая в рукава: — Вы-то, князь, оставайтесь, сыграйте робберок с болваном... Так я не прощаюсь, Екатерина Алексеевна...

Партнеры вернулись к столу, но играть не хотелось. Екатерина Алексеевна старшая сдержанно вздыхала. Василий Васильевич, сдвинув густые брови, рисовал мелом на сукне маленькие виселицы и чертиков. Князь подсел на диван к Екатерине Алексеевне младшей, она расцвела и опустила вязанье. Подрыгивая ногой, он стал рассказывать про то, что здесь разыскал необыкновенную гадалку и хочет привезти ее к Антону Ивановичу.

— Она берет у вас волос, сжигает его на свечке, и у нее показывается пена изо рта...

— Что она вам нагадала?

— Предсказала дорогу на коне, представьте,— буду ранен три раза, и все кончится веселой свадебкой.

Дрыгнув обеими ногами и раскачиваясь, точно его трясли за плечи, князь начал давиться смехом. Нежная шея и маленькое ухо Екатерины Алексеевны порозовели.

— Все так тревожно, право,— сказала Екатерина Алексеевна старшая, вытирая глаза. — Так натянуты нервы у всех... Боже мой, когда мы думали, что так будем жить...

— Да, да, маловато мы думали,— ответил Василий Васильевич и нарисовал топор и плаху. — Россия — курьезная страна...

Главнокомандующий сдержал обещание: когда английские часики в футляре тоненько прозвонили одиннадцать, за окнами заквакал автомобиль, и Антон Иванович, снова стаскивая калоши, говорил:

— Я знал, я знал, Екатерина Алексеевна, что у вас сегодня индейка с каштанами... Посему, князь дорогой, достаньте-ка у меня из автомобиля бутылочку шампанского...

Он был очень оживлен, потирал руки, но предложение — докончить роббер — отклонил: «А бог с ним, мы с Екатериной Алексеевной заранее капитулируем, спасаем только честь». Он даже взял у Василия Васильевича из золотого портсигара папироску и закурил, чего с ним никогда не бывало. С ужином заторопились. Все прошли в маленькую столовую, где две свечи мягко, постаринному, озаряли дешевенькие обои и на столе — на

побитых тарелочках — домашние вкусные паштеты и закусочки. Не было только любимого кушанья Антона Ивановича — миног в горчичном соусе. И не было обычного спокойствия, когда по окончании роббера садятся за стол, продолжая спорить: «Да уж вы мне поверьте — надо было сбрасывать пики...» Или: «Матушка моя, да ведь я знаю, что у него на руках туз, король, дама, а вы меня под столом толкаете...»

Князь, чувствуя некоторую натянутость, самоотверженно овладел вниманием, рассказав об одном дворнике с Петербургской стороны, обладавшем таинственной силой заговаривать зубную боль, ожоги и рожу, он же, между прочим, и предсказал германскую войну, глядя в блюдечко с кофейной гущей. Упоминание о войне прозвучало не совсем уместно. Василий Васильевич сейчас же, взяв графинчик, налил водки:

— Приходится выпить за то, чтобы на Руси не перевелись чудесные дворники...

В это время внесли индейку. Главнокомандующий, откинувшись на спинку стула, строгим взором следил, как несли это блюдо, как его поставили среди тесноты на столе, от него поднялся пар к огонькам свечей, и они слегка заколебались.

— А ведь только в России такие индейки, — сказал он и выбрал себе крыло. Князь поднялся, без звука раскупорил бутылку шампанского и налил вино в чайные стаканы. Антон Иванович медленно вытащил салфетку из-за воротника, взял стакан, поднялся, держась за стул, и сказал:

— Господа, я не могу удержаться, чтобы не порадовать вас... Дело в том, что сегодня утром французские войска высадились в Одессе, греческие войска заняли Херсон и Николаев. Наконец-то долгожданная помощь союзников пришла...

В Екатеринодаре приземлился на английском самолете человек настолько странный, что в правящих и влиятельных кругах не знали, как и подумать: то ли это тайный агент Клемансо, то ли просто проходимец, а может быть, и серьезная птица. Фамилия его была французская — Жиро́, звали — Петр Петрович, по-русски говорил без запинки, с южным акцентом; паспорт — уруг-

вайский, хотя это обстоятельство указывало не столько на его национальность, сколько на пронырливость. Приехал он из Парижа на пароходе, выгрузившем в Новороссийске винтовки, патроны и другое оружие. Документы, предъявленные им военному коменданту города, оказались в блестящем порядке, это были: рекомендательные письма от парламентских депутатов; письмо от министра исповеданий и еще одно — от французской герцогини с трудно произносимой фамилией; журналистская карточка газеты «Пти паризьен» и, наконец, деловые предложения разных контор, начавших в то время возникать, как мухоморы, на гигантских запасах всевозможных товаров и скоропортящихся грузов, свезенных со всего света во Францию.

Сколько ни ломай голову — деваться было некуда: из Парижа в захолустный Екатеринодар, еще хранивший следы мартовских и летних боев, свалился с неба шикарно одетый, вполне европейский человек, в куцей шубейке со скунсовым воротником, в пестром кашне во всю грудь, с двумя новенькими чемоданами и фотографическим аппаратом через плечо, в невиданно красивых желтых башмаках с такими толстыми подметками на ранту, что даже военный комендант не мог оторвать от них глаз, не говоря уже о публике на улице, где Петр Петрович Жиро шел позади казака с его чемоданами, весело подняв голову в изящно надвинутой светло-серой шляпе.

Иностранца поместили в лучшей гостинице, в номере «люкс», выкинув оттуда приезжего спекулянта Паприкаки вместе с его девкой. На другой день Жиро нанес визит генералу Деникину.

Антон Иванович смутился и выслал к нему в приемную генерала Романовского с извинением, что главнокомандующий несколько недомогает, но рад видеть у себя в городе такого интересного гостя.

Жиро заехал с визитом к профессору Кологривову, одному из столпов Государственной думы, группирующему здесь вокруг Деникина атмосферу государственной мысли под именованием «Национальный центр». Профессор Кологривов хорошо знал и любил Париж и продержал милейшего Жиро несколько часов, с восторгом вспоминая обеды в маленьких ресторанчиках и ночные развлечения на Монмартре. Он вспоминал запах

бульваров и, несмотря на дряблый живот и беспорядочно отросшую бороду, изобразил на лице молодое лукавство:

— Шер ами, да что говорить,— а этот особенный, неповторимый запах парижских женщин!.. Ах, я готов целовать камни на улицах Парижа. Да, да пусть это не покажется вам странным,— в каждом русском вы найдете пылкого патриота Франции... Вот о чем вам надо писать!..

Было решено: собраться в частном доме ограниченному кругу представителей «Национального центра» и за завтраком выслушать сообщения господина Жиро о международной политике.

— Шер ами! — восклицал профессор Кологривов, дружески откручивая пуговицы на пиджаке гостя. — Вы увидите людей, которые поняли раньше, чем вы в Европе, чудовищную опасность красной мясорубки... Большевизм — это всеразрушающая злоба низов, ярость подонков человечества... Вы, даже лучшие, умнейшие из вас, делаете реверанс в сторону социализма. Чушь! Пошлость, о пошлость! Социализм есть, но социалистов нет, потому что социализм неосуществим... Мы это вам докажем! Волею истории Россия призвана быть барьером, о который разбиваются вечные волны анархии,— тем самым мы, платясь нашими боками, даем возможность спокойного развития европейской цивилизации... Ради этого, ради спасения Европы, всего мира от красного призрака мы простираем к вам руки: помогите же нам... Мы готовы идти на любые уступки, Россия принесет любые жертвы... Вот о чем вам надо писать...

Много хлопот было с этим завтраком: достань-ка в Екатеринодаре что-либо тонкое, все — сало, гусятина да свинина: не галушками же кормить парижанина! Член «Национального центра» фон Лизе, известный гурман, посоветовал меню: бульон, пирожки, матлёт из налима в красном вине и на третье — курицу, варенную без капли воды в мочевом пузыре свиньи. Приличное вино достали через спекулянта Паприкаки. Ровно в час на квартире у члена Государственной думы и редактора-издателя газеты «Родная земля» Шульгина собрались шесть человек, включая Петра Петровича. Завтрак действительно оказался тонким. Когда подали кофе из жженого ячменя, Жиро начал свое сообщение:

— Несколько слов о Париже, господа... Вы его хорошо знали. Иностранцы оставляли в нем ежегодно свыше четырех миллиардов франков золотом. Не мудрено, что испарения его улиц кружили голову даже таким мечтателям, кто смотрел на потоки блистающих автомобилей с высоты мансардных окошек. Увы, мечтателей в Париже больше нет, их трупы, заражая воздух, гниют на Сомме, в Шампани и в Арденнах. Париж более не веселый город, где пляшут на улицах и хохочут во все горло над бородой короля Леопольда или над любовными неудачами русского грандцюка. Парижу и Франции не хватает полутора миллионов мужчин,— они убиты. Париж наводнен мальчишками, профессионально занимающимися гомосексуализмом. На террасах кафе печально сидят одни старики, не интересные даже двадцатифранковым девчонкам. По разбитым торцам дребезжат такси, помятые на Марне. В шикарные рестораны и кафе до сих пор еще пускают американских солдат с темпераментом стоялых жеребцов. Женщины! О — женщины всегда на высоте: они обрезали юбки по колено и упразднили нижнее белье.

Голоса за столом:

— Яснее, пожалуйста...

— Женщины вечером — в театре, в ресторане — прикрывают сверху только то, что не существенно; точнее, все их платье — это две узкие полоски материи, на которых держится коротенькая юбка. Весь шик в открытых ногах, — у парижанок они прелестны. При чем тут нижнее белье? Для чего-нибудь мы терпели лишения в окопах, черт возьми! Но все это мелочи. Париж сегодня — это город-победитель. Он мрачен, он плохо подметен, но весь пронизан тревожными и двусмысленными разговорами. Париж выиграл мировую войну, он готовится выиграть мировую контрреволюцию.

Трое за столом тихо сказали: «Браво!» Четвертый воздержался, так как был занят катаньем хлебного шарика. Пятый с неопределенной усмешкой неопределенно пожал плечом.

— Париж сегодня — это логовище разъяренного тигра. Клемансо жаждет мщения: раньше, чем будет подписан мир,— а это случится еще не скоро,— Германия испытает все ужасы голодной блокады. У нее на-

всегда вырвут зубы и обрежут когти. В одной частной беседе Клемансо сказал: «Я убью у немцев самую надежду стать чем-либо иным, кроме заштатной страны. Гороха и картофеля у них хватит, чтобы не умереть с голоду». Но, господа, пятьдесят лет тому назад Клемансо, кроме унижения стыда под Седаном, испытал унижение страха перед Парижской коммуной. Однажды, на завтраке журналистов, он предался воспоминаниям и рассказал о своем впечатлении, когда на Вандомской площади увидел осколки колонны великого императора, опрокинутой коммунарами при помощи множества канатов и лебедок: «Я был потрясен не самым фактом разрушения, а идеей, которая воодушевила французских рабочих сделать это. На цивилизацию надвигается смертельная опасность, ее можно отдалить, но она придет, и придет в тот день, когда в руки народа дадут оружие. Это будет день нашего реванша за Седан, день, когда нам придется драться на два фронта». Господа, Клемансо оказался прав: в Париж возвращаются демобилизованные. Они перешагнули через ужасы Вердена и Соммы, и строить баррикады и драться на улицах для них одно развлечение. По всем кабачишкам, собирая у стойки слушателей, они кричат, что их обманули: те, кто дрался, получили нашивки, кресты и протезы, а те, за кого они дрались, прикарманили миллиарды чистыми денежками... С крикунами чокаются буржуа, разоренные инфляцией. Парижские предместья взволнованы. Заводы остановлены. Войска парижского гарнизона загадочны. В Германии — хаос революции, социал-демократы едва сдерживают ее напор. Венгрия не сегодня-завтра объявит Советы... Англия бьется в параличе забастовок,— правительство Ллойд-Джорджа старается только лавировать между рифами. Взоры всех обращены на Клемансо. Он один понимает, что смертельный удар всеевропейской революции должен быть нанесен у вас, в Москве: итальянские рыбаки, когда вытаскивают из сети осьминога, перегрызают ему зубами воздушный мешок, — щупальца его с чудовищными присосками повисают бессильно.

За столом ерошили волосы, снимали запотевшие очки. Когда Жиро приостановился, чтобы откусить кончик у свежей сигары, посыпались вопросы:

— Сколько французских дивизий послано в Одессу?

— Французы намереваются наступать в глубь страны?

— В Париже известны последние неудачи красновского наступления на Царицын? Краснову будет помощь?

— Разделены ли уже сферы влияния в России? В частности, кто намерен серьезно помогать Добровольческой армии?

Жиро медленно выпустил сизый дымок.

— Господа, вы спрашиваете меня, как будто бы я — Клемансо. Я — журналист. Русским вопросом заинтересовались некоторые газеты, меня послали к вам. Вопрос о непосредственной помощи войсками осложняется. Ллойд-Джордж не хочет дразнить гусей. Если он пошлет в Новороссийск хотя бы два батальона английской пехоты, он потеряет на дополнительных выборах в парламент две дюжины голосов. Мои последние сведения таковы: Ллойд-Джордж примчался в Париж на самолете, предпочитая этот способ передвижения возможности взлететь на воздух, потому что из-за штормов Ла-Манш опять полон блуждающих мин, и — это было на днях — в Совете десяти высказал следующие мысли: надежда на скорое падение большевистского правительства не осуществилась, имеются сведения, что сейчас большевики сильнее, чем когда-либо, а влияние их на народ усилилось; что даже крестьяне становятся на сторону большевиков. Принимая во внимание, что большевистская Россия вошла в свои естественные границы времен Московско-Суздальского царства пятнадцатого века и не представляет ни для кого серьезной опасности, — нужно предложить московскому правительству приехать в Париж и предстать перед Советом десяти, подобно тому как Римская империя созывала вождей отдаленных областей, подчиненных Риму, с тем, чтобы те давали ей отчет в своих действиях... Вот, господа, таково положение у нас на Западе... У вас есть еще какие-нибудь вопросы?..

Через несколько дней после этого завтрака (занесенного профессором Кологривовым в анналы) военный комендант на докладе у главнокомандующего сообщил:

— Аккурат напротив гостиницы «Савой», ваше высокопревосходительство, открылся скупочный магазин,— берут только золото и бриллианты, платят даже черес-

чур хорошо донскими купюрами... Сомневаемся насчет качества денег: бумажки новенькие...

— Вы всегда сомневаетесь, Виталий Витальевич,— сердито сказал Деникин, просматривая гранки военных сводок,— вот опять потихоньку от меня высекли какого-то еврея, а он оказался не еврей совсем, а орловский помещик... Среди орловских попадаются брюнеты, даже похожие на цыган... Эх, вы!..

— Виноват-с, затемнение нашло, ваше высокопревосходительство... Так вот-с, насчет магазина,— патент на него взят екатеринославским спекулянтом Паприкаки, а мы выяснили, что истинный хозяин, вложивший в скупочное предприятие капитал сомнительного качества (тут комендант наклонился, поскольку позволяла ему тучность),— француз, Петр Петрович Жиро...

Деникин бросил на стол гранки.

— Слушайте, полковник, вы мне тут из-за каких-то мелочей, из-за каких-то цепочек, колечек хотите испортить отношения с Францией! Что вы там еще натворили с этим магазином?

— Опечатал кассу...

— Ступайте немедля — все распечатать и извиниться... И чтобы...

— Слушаюсь...

Комендант на цыпочках унес за дверь свой живот. Главнокомандующий долго еще барабанил пальцами по военным сводкам, седые усы его вздрагивали.

— Жулье народ! — сказал он, не ясно, к кому относя это, — к своим или к французам...

15

Новое разочарование поджидало Вадима Петровича на хуторе Прохладном. Хата, где жила Катя с Красильниковым, стояла с настежь раскрытыми воротами, чистый снежок занес все следы и лежал бугорком, источенным капелью, на пороге опустевшей хаты.

Ни один человек не захотел сказать Вадиму Петровичу — куда уехал Красильников с двумя женщинами. Был здесь такой Красильников — это не отрицали, но откуда он, из какого села,— кто его знает, много тут всякого народа прибивалось к батьке Махно.

В хате пахло холодной печью, на полу — мусор, через разбитое стеклышко нанесло снег, у стены — две голые койки. На облупившихся стенах даже тени не осталось от ушедшей Кати. После стольких усилий скрестились пути, и вот — опоздал.

Вадим Петрович присел на койку из неструганых досок. На этой или на той было у них супружеское ложе? Алексей — мужик красивый, нахальный... «Поплакала — и будет, подотри глаза»,— сказал он ей не грубо,— он умен, чтобы не грубить нежной барыньке,— сказал весело, категорично... И кошечка затихла, подчинилась, покорилась. Стыдливо и опрятно предоставила ему делать с собою все, что ему хочется... Да ну же,— не разбила небось голову об стену! — без страсти, без воли обвилась вокруг такого ствола бледной повиликой, прильнула горькими цветочками...

Вадим Петрович заметался по хате, топча пустые жестянки из-под консервов. Воображение, распущенное, блудливое, лжешь! Катя боролась, не далась, осталась верна, чиста! О трус, о пошляк! Честна, верна — светлой памяти твоей, что ли? Ответь лучше: убил бы ты их обоих на этой скрипящей койке? Или так: с порога взглянул бы на них, увидал Катюшины глаза,— твой потерянный мир: «Простите,— сказал бы,— я, кажется, здесь лишний...» Вот тебе, вот тебе испытание на боль... Вот оно наконец страшное испытание!.. Терпеть больше не можешь? Нет, можешь, можешь! Катю искать будешь, будешь, будешь...

Криволицый Каретник, сопровождавший Вадима Петровича, ждал в тачанке. Рощин вышел за ворота, влез в тачанку и поднял воротник шинели, загораживаясь от ветра. Личный кучер Махно, он же телохранитель, приводивший в исполнение на ходу короткие батькины приговоры, — под кличкой Великий Немой,— длинный и неразговорчивый мужчина, с вытянутой, как в выгнутом зеркале, нижней частью лица, погнал четверку коней так, что едва можно было сидеть, цепляясь за обочья тачанки.

Каретник, подскакивая и шлепаясь, говорил фамильярно:

— Брось скулить, дурья голова, — батька прикажет — под землей найдем твою жинку. Эх, мать честная, есть о чем горевать! Бабы снаружи только разма-

леваны, а все они — одна сырая материя. Одна зараза... Плюнь на свою, не уйдет она от него,— Алешка Красильников три воза ей добра награбил... Первый в роте мародер,— его счастье, что вовремя ушел...

Вадим Петрович, прячась до бровей в поднятый воротник, повторял про себя: «Можешь, можешь. Это начало, только начало твоих испытаний...»

Не сбавляя хода, пронеслись по булыжной мостовой Гуляй-Поля. Около штаба Великий Немой осадил взмокшую четверку. Рощина дожидались и сейчас же позвали к батьке. Махно заседал на большом военном совете в нетопленной классной комнате, где командиры неудобно разместились на маленьких партах, а Нестор Иванович, в черном френче, перетянутом желтыми ремнями, ходил, как ягуар, перед партами. Лицо у него, у трезвого, было еще более испитое, руки он держал за спиной, схватясь правой рукой за левую, висящую плетью. Он с минуту выдержал под немигающим взглядом Вадима Петровича.

— Поедешь в Екатеринослав,— сказал он въедающимся голосом,— предъявишь в ревкоме мандат. От моего штаба будешь инспектировать план восстания. Ступай.

Рощин коротко козырнул, повернулся и вышел. В коридоре его ждал Левка Задов.

— Все в порядке. Мандат у меня. — Он обнял Вадима Петровича за плечи и, ведя по коридору, бедром подтолкнул его к одной из дверей.— Шинелишку придется сбросить. Я тебе подарю бекешу.— Не отпуская его плеча, он тремя ключами отмыкал дверь. — Лично мою, на роскошном меху. С Левой дружить надо. Лева такой: кому Лева друг — у того девятка на руках.

Заведя Рощина в комнату с тем же прокисшим запахом, как и в культпросвете, продолжая хвастаться собой и своими вещами, наваленными повсюду, он обрядил Вадима Петровича в бекешу, действительно хорошую, лишь несколько попорченную пулевыми дырками в груди и спине. Кряхтя от тучности, залез под койку; вытащив оттуда кучу шапок, выбрал одну — смушковую с малиновым верхом — и через комнату бросил ее Рощину, уверенный, что тот ее подхватит на лету. И — уже роскошествуя— сорвал со стены кавказскую шашку в серебре: «Была не была — пользуйся,— конвойская...»

Он и сам стал снаряжаться,— на обе руки надел золотые часы-браслеты,— опоясался поверх поддевки ремнем с двумя маузерами, прицепил шашку в облупленных ножнах, предварительно приложив палец к лезвию: «Это моя — рабочая...» Вбил ноги в высокие резиновые калоши: «Ну, скажем, я не кавалерист, как говорят в Одессе-маме...» Поверх всего надел нагольный тулуп: «Едем, котик, я тебя сопровождаю...»

На вокзал их повез тот же Великий Немой. Про него Левка сказал — так, чтобы тому не было слышно:

— Редкой силы человек, уголовник. Батька с ним с царской каторги бежал. Ты с ним будь осторожен,— не любит, зверь, чтобы на него долго глядели... Его даже я боюсь...

Левка самодовольно развалился в тачанке, счастливый, румяный:

— Подвезло тебе, Рощин, нравишься ты мне почему-то... Люблю аристократов... Пришлось мне — вот недавно — пустить в расход трех братьев князей Голицинских... Ну, прелесть, как вели себя...

В купе вагона, куда Левка велел принести из станционного буфета спирту и закусок, продолжались те же разговоры. Левка снял кожух, распустил пояс.

— Непонятно,— говорил он, нарезая толстыми жербейками сало,— непонятно, как ты раньше обо мне не слыхал. Одесса же меня на руках носила: деньги, женщины... Надо было иметь мою богатырскую силу. Эх, молодость! Во всех же газетах писали: Задов — поэт-юморист. Да ну, неужто не помнишь? Интересная у меня биография. С золотой медалью кончил реальное. А папашка — простой биндюжник с Пересыпи. И сразу я — на вершину славы. Понятно: красив как бог,— этого живота не было,— смел, нахален, роскошный голос — высокий баритон. Каскады остроумных куплетов. Так это же я ввел в моду коротенькую поддевочку и лакированные сапожки: русский витязь!.. Вся Одесса была обклеена афишами... Эх, разве Задову чего-нибудь жалко,— все променял шутя! Анархия — вот жизнь! Мчусь в кровавом вихре. Да ты, котик, не молчи, поласковей с Левой,— или все еще сердишься? Ты меня полюби. Многие бледнеют, когда я говорю с ними... Но кому я друг,— тот мне предан до смерти... Шибко любят меня, шибко...

У Вадима Петровича голова шла кругом. После утреннего потрясения ему было в пору завыть, как псу на пустыре под мутной луной. Неожиданное поручение — короткий и неясный приказ — было новым испытанием сил. Он понимал, что за каждый неверный или подозрительный шаг он ответит жизнью,— для этого и приставлен к нему Левка. Что это за военревком, куда нужно явиться для инспектирования? Что это за план восстания? Кого, против кого? Левка, конечно, знал. Несколько раз Рощин пытался задавать ему наводящие вопросы,— у Левки только бровь лезла кверху, глаза стекленели, и, будто не расслышав, он продолжал бахвалиться; ел — чмокал, не вытирая губ, раскраснелся, расстегнул ворот вышитой рубашки.

Вадим Петрович тоже вытянул стакан спирту и без вкуса жевал сало. Всеми силами он подавлял в себе отвращение к этому страшному и смешному, поганому человеку... О таких он даже не читал ни в каких романах... Видишь ты, придумал про себя: «Мчусь в кровавом вихре...» Спирт разливался по крови, отпускались клещи, стиснувшие мозг, и на место почти уже автоматического, почти уже не действующего повеления: «Можешь, можешь»,— находило уверенное легкомыслие.

— Ты все-таки брось со мной дурака валять, — сказал он Левке,— батька дал мне определенную директиву, я человек военный, загадок не люблю. Рассказывай — в чем там дело?

У Левки опять остановилась улыбка. Пухлая, с крупными порами, рука его повисла с бутылкой над стаканом:

— Советую тебе — меньше спрашивай, меньше интересуйся. Все предусмотрено.

— Значит, мне не доверяют? Тогда — какого черта!..

— Я никому не доверяю... Я батьке не доверяю... Ну, давай выпьем...

Раскрыв рот так, что край стакана коснулся нижних зубов, Левка медленно влил спирт в глотку. От него пахло сладкой прелью, сырым мясом с сахаром... Помотав пышными, насыщенными электричеством волосами, он начал выламывать куриную ногу.

— Я бы на твоем месте не принял этого поручения. Мало что — батько приказал. Батько любит дурить. Засыплешься, котик...

Рощин шибко ладонями потер лицо, рассмеялся:

— Советуешь уклониться? Может быть, пойти в уборную, да и выскочить на ходу?.. Как друг, значит, советуешь?

— А что ж... Я сказал, ты делай вывод...

— Дешевка, дешевка... Ты как думаешь — я смерти боюсь?

— А чего мне думать, когда я тебя насквозь вижу, ползучего гада... Спрячь зубы, вырву... Ну, наливай стакан...

Рощин с трудом глубоко вздохнул.

— Ты меня знаешь?.. Нет, Задов, ты меня не знаешь... Вот тебя поставить к стенке — вот ты-то, сволочь, завизжишь, как свинья...

Левка, приноровившийся укусить курячью ногу, закрыл рот так, что стукнули зубы, вспотевшее лицо его обвисло.

— Покуда замечалось обратное,— проговорил он брюзгливо.— Покуда визжали другие. Интересно — не ты ли меня собираешься гробануть?

— Да уж попался бы мне месяца три назад...

— Нет, ты не виляй, белый офицер, договаривай до конца...

— Не терпится тебе, мясник?..

— Ну, жду, договаривай...

Говорили они торопливо. Оба уже дышали тяжело, подобрав ноги под койку, глядя с напряжением в зрачки друг другу. Свеча, прилепленная к откидному столику, потрескивала, и огонек начал гаснуть. Тогда Рощин заметил, что багровое Левкино лицо сереет,— он сказал глухо:

— А ну, выйдем в коридор... Выходи вперед.

— Не пойду...

— А ну...

— А ты не нукай, я не взнузданный...

Синенький огонек остался на кончике фитиля, как кощеева смерть. Левка, видимо, понимал, что в тесном купе у жилистого, небольшого Рощина все преимущества, если в темноте они кинутся друг на друга... Он заревел бычьим голосом:

— Встать... в коридор!

Дверь в купе дернули,— огонек свечи мигнул и разгорелся,— вошел Чугай.

— Здорово, братки.— Под усиками рот его усмехался, выпуклые глаза перекатывались с Левки на Рощина.— А я вас ищу по всему поезду.

Он сел рядом с Рощиным — напротив Левки. Взял пустую бутылку, встряхнул, понюхал, поставил.

— А чего невеселые оба?

— Характерами не сошлись, — сказал Левка, отворачиваясь от его насмешливого взгляда.

— Ты при нем вроде как комиссар?

— Не вроде, а поднимай выше, а ну — чего спрашиваешь.

— Тем более должен понимать — на какую ответственную работу везешь товарища. Характер надо придержать. Ты, браток, выйди из купе, я с ним без тебя хочу поговорить.

Чугай сидел плотно, — руки сложены на животе, ляжки широко раздвинуты; при огоньке свечи лицо его казалось розовым, как из фарфора, детская шапочка с ленточками чудом держалась на затылке. Он спокойно ожидал, когда Левка переживет унижение и подчинится.

Засопев, надутый, багровый, Левка угрожающе взглянул на Рощина, шумно поднялся и, блеснув в дверях лакированными голенищами, вышел. Чугай задвинул дверь:

— Чего вы с ним не поделили-то?

— А пустяк, — сказал Рощин, — просто напились.

— Так, правильно отвечаешь. Но вот что, браток,— ты поступил в мое прямое распоряжение, отвечать должен на каждый мой вопрос.

Чугай пересел напротив и близко у свечи развернул четвертушку бумаги, подписанную батькой Махно, где сбитыми машиночными буквами, с грамматическими ошибками, без знаков препинания, было сказано, что Рощин отчисляется в распоряжение военно-революционного штаба Екатеринославского района.

— Убедительно для тебя? (Рощин кивнул.) Вот и отлично. Скажи — что тебя привело в эту компанию?

— Это формальный допрос?

— Формальный допрос, угадал. Не зная человека, довериться нельзя, да еще в таком важном деле. Согласен? (Рощин кивнул.) Кое-какие справки я о тебе навел... Неутешительно: враг, матерый враг ты, браток...

Рощин вздохнул, откинулся на койке. За черным

окном, где отражался огонек свечи, проносилась ночь, темная, как вечность. Ему стало спокойно. Тело мягко покачивалось. За эти трое суток, проведенных почти без сна, начинался третий допрос и, видимо, последний, окончательный. В конце концов какую правду он мог рассказать о себе? Сложную, запутанную и мутную повесть о человеке, выгнанном в толчки неизвестными людьми из старого дома — с той улицы, где он родился, из своего царства. Но так ли это? Не сам ли он взял себя за шиворот и швырнул в помойку? Чего он, собственно, испугался? Что он, собственно, возненавидел? Так ли нужен был ему для счастья и старый дом, и старое уютное царство? Не призраки ли они его больного воображения? Вспоминать — так ничего разумного не найти в его поступках за этот год и ничего оправдывающего. Здесь, в купе, не суд с присяжными заседателями и красноречивым адвокатом, взмахивающим романтической гривой. Здесь с глазу на глаз нужно сделать почти невозможное — рассказать правду, не о поступках маленького человека,— это не важно, в этом разговоре они не в счет,—но о своем большом человеке... Здесь ты и подсудимый, и сам себе судья... И не важен и практический вывод из этого разговора,— если уж дошло дело до большого человека...

— Ты чего бормочешь про себя, говори уж вслух,— сказал Чугай.

— Нет, я не враг, это слишком просто, — проговорил Рощин, прижимаясь затылком к спинке койки. — У врага — цель, злоба, коварство... Вопрос хочу вам задать...

— Давай.

— Я вам нужен как военный спец?

Чугай помолчал, разглядывая его лицо с глубокими тенями во впадинах щек.

— А ты сам как ответишь?

— Думаю, что нужен, и в особенности не батьке, а вам.

— Ты меня лучше тыкай, мне легче разговаривать-то.

— Ладно, буду тыкать.

— Батька сказал, что ты будто по мобилизации попал в Добровольческую армию, убежденный анархист, и происхождения вроде даже подходящего...

— Все это вранье... Происхождения самого неподходящего. В Добрармию пошел по своей охоте. И ушел по своей охоте.

— Стыдно стало?

— Нет... А ты чего мне подсказываешь? Я за соломинку не цепляюсь,— давно уж на дне... Если бы верить в возмездие за грехи тяжкие!.. Нет у меня даже этого утешения...

— Налютовал, что ли, много?

— Было, было... Всю жизнь я требовал от себя честности, моя честность оказалась бесчестьем... И все так,— перевернулось с живота на спину, из белого стало черным...

— Биографию, браток, расскажи для порядка.

— Кончил петербургский университет... Юрист... Ах, вам нужно о происхождении... Помещик, из мелкопоместных. После смерти матери продал последние крохи — дом, сад и могилы за оградой. Вышел из полка... Ну, что еще... Был, как все мало-мальски порядочные люди, либералом... (Вадим Петрович брезгливо поморщился.) Будущей революции, разумеется, сочувствовал, даже во время забастовок,— в тринадцатом, что ли, году,— открыл форточку и крикнул проходящим конным полицейским: «Палачи, опричники...» Вот вроде как этим и ограничилась моя революционная деятельность... Зачем было особенно торопиться, когда и так жилось сладко... (На этот раз у Чугая дрогнули усики.) Нет, уж ты погоди мной брезговать... Я говорю честно. Я все-таки бокалов с шампанским на банкетах не поднимал за страждущий русский народ. А в семнадцатом на фронте от стыда и позора сошел с ума. В окопах два с половиной года просидел, не подав рапорта... И шелкового белья от вшей не носил.

— Заслуга.

— А ты не издевайся, обойдись без этого... (Вадим Петрович сморщил лоб. Глубокими тенями избороздилось его худое лицо.) Ты ответь: что для тебя родина? Июньский день в детстве, пчелы гудят на липе, и ты чувствуешь, как счастье медовым потоком вливается в тебя... Русское небо над русской землей. Разве я не любил это? Разве я не любил миллионы серых шинелей, они выгружались из поездов и шли на линию огня и смерти... Со смертью я договорился,— не рассчитывал

вернуться с войны... Родина — это был я сам, большой, гордый человек... Оказалось, родина — это не то, родина — это другое... Это — они... Ответь: что же такое родина? Что она для тебя? Молчишь... Я знаю, что скажешь... Об этом спрашивают раз в жизни, спрашивают — когда потеряли... Ах, не квартиру в Петербурге потерял, не адвокатскую карьеру... Потерял в себе большого человека, а маленьким быть не хочу,— стреляй, если хоть в одном моем слове смущен... Серые шинели распорядились по-своему... Что мне оставалось? Возненавидел! Свинцовые обручи набило на мозг... В Добрармию идут только мстители, взбесившиеся кровавые хулиганы... «Так за царя, за родину, за веру мы грянем громкое ура...» И — на цыганской тройке за растегаями к Яру...

— Готов, браток, прямо — на лопате в печь,— сказал Чугай, и напряженный взгляд его выпуклых глаз повеселел.— Что за оказия — разговаривать с интеллигентами! Откуда это у вас — такая мозговая путаница? Ведь все-таки русские же люди, умные как будто... Значит — буржуазное воспитание. Сам себя потерял! Есть он, нет его,— и этого не знает. Ах, деникинцы! Ну, ну, развеселил ты меня... Как же мы теперь с тобой договоримся? Хочешь работать не за жизнь, а за совесть?..

— Если так ставишь — буду работать.

— Без охоты?

— Сказал — буду, значит — буду.

Чугай опять взял пустую бутылку, тряхнул; посмотрел под откидной столик; взглянул на багажную сетку.

— Давай уж твоего сукиного кота позовем.— Он открыл дверь и позвал: — Комиссар, куда спирт спрятал? — И значительно подмигнул Рощину: — Ты с ним покороче, чуть что,— его на мушку. Самый у батьки вредный человек.

Рощин, Чугай и обрюзгший за ночь Левка вылезли на последней остановке перед мостом. Туман, поднимавшийся с Днепра, застилал Екатеринослав на том берегу. Все трое, помалкивая, поеживались от сырого холода. Поезд наконец загромыхал буферами и пополз через мост. Тогда на дощатой платформе появилась женщина, закутанная в шерстяной платок, видны были

только ее быстрые глаза. Прошла мимо стоящих, прошла в другой раз, и когда все медленнее проходила в третий, Чугай сказал не ей, а вообще:

— Где бы чайку попить?

Она сейчас же остановилась.

— Можно провести,— ответила,— только у нас сахару нет.

— Сахар свой.

Тогда она отгребла с лица шерстяной платок,— лицо у нее оказалось до удивления миловидное, юное, с ямочкой на круглой щеке, с маленьким припухлым ртом.

— Откуда, товарищи?

— Ну, оттуда же, оттуда, будет тебе,— конспирация! — веди,— сердито ответил Левка.

Девушка удивленно подняла брови, но Чугай сказал ей, что «они те самые, кого она встречает». Она спрыгнула с платформы и повела их по путям, где стояло много искалеченных составов. Ни одна живая душа не попалась им, когда они, то перелезая через тормозные площадки, то проныривая под вагонами, подошли к товарной теплушке. Девушка постучала:

— Это я, Маруся,— привела.

Створы вагона осторожно прираздвинулись, выглянуло худое, суровое, бледное лицо с антрацитовыми глазами.

— Лезьте скорее,— тихо сказал этот человек,— холоду напустите.

Все трое — за ними Маруся — влезли в вагон. Человек задвинул створы. Здесь было тепло от раскаленной железной печурки; огонек, плавающий в банке из-под гуталина, слабо освещал непроницаемое лицо председателя военревкома и две неясные фигуры в глубине.

Чугай предъявил мандат. Левка тоже вытащил бумажку. Председатель, присев на корточки у огонька, читал долго.

— Добре,— сказал, поднявшись,— мы вас третью ночь ждем. Седайте.— Он покосился на Левкины лакированные голенища.— Не торопится что-то батько Махно.

Левка сел первым на единственный табурет у дощатого столика. Чугай примостился на чурбане. Рощин отошел к вагонной стенке. Так вот он каков, штаб большевиков... Голый вагон и суровые лица,— по обличью

железнодорожных рабочих, молчаливых и настороженных.

Председатель говорил ровным голосом:

— Мы готовы. Народ горит. Начинать надо вот-вот... Есть сведения: петлюровцы что-то уже пронюхали, вчера в городе выгрузилась тяжелая батарея. Ждут войск из Киева. У нас предателей нет,— значит, сведения могут поступать только из Гуляй-Поля.

Левка — угрожающе:

— Но, но, легче на поворотах!

Тотчас две фигуры из темноты придвинулись. Председатель продолжал так же ровно:

— У вас все нараспашку. Так нельзя, товарищи... В Екатеринославе начались аресты. Пока что хватают беспорядочно, но уже взяли одного нашего товарища...

— Мишку Кривомаза, комсомольца,— звонко, слегка по-девичьему ломая голос, сказала Маруся. Отбросив на плечи платок, она стояла рядом с Вадимом Петровичем.

— Допрашивал его сам Нарегородцев, начальник сыскного. Значит, у них тревога...

— Мишку Кривомаза били резиной по лбу, глаза вылезли у бедного,— быстро сказала Маруся и вдруг всхлипнула носом.— Отрубили ему два пальца, распороли живот, он ничего не выдал.

Левка, поставив шашку между ног, сказал презрительно:

— Дешевая работа. Нарегородцев, говоришь? Запомним. А кто здесь прокурор? Кто начальник варты?

— Фамилии и адреса мы вам скажем...

Председатель остановил Марусю:

— Давайте организованно, товарищи. Федюк нам сделает доклад о силах противника. (Он указал на плотного человека с пустым рукавом засаленной куртки, засунутым за кушак.) О работе ревкома доклад сделаю я. О Махно предоставлю слово вам. Четвертый вопрос — о меньшевиках, анархистах и левых эсерах. Сволочь эта чувствует, что пахнет жареным, как чумные готовятся драться за места в Совете. Начинай, Федюк.

Твердым голосом Федюк начал издалека,— о кровавых планах мировой буржуазии,— председатель сейчас же перебил его: «Ты не на митинге, давай голые факты». Голые факты оказались очень серьезны: в Екате-

ринославе стояло петлюровцев около двух тысяч штыков и шестнадцать орудий, из них четыре тяжелых. Кроме того, имелись добровольческие дружины из буржуазных элементов и офицеров, с большим количеством пулеметов. Да еще Киев готовился подбросить подкрепление.

Из второго доклада выяснилось, что военревком может рассчитывать на три с половиной тысячи рабочих, которые без колебаний пойдут за большевистской организацией, и на приток крестьянской молодежи из окружных сел, где проведена агитация. Но оружия мало: «можно сказать, десятую часть вооружим, а остальные — с голыми руками».

Видя, как завертелся Чугай, как Левка отвалил нижнюю губу, — председатель, антрацитово блеснув глазами, повысил голос:

— Мы не настаиваем, если батько побоится сам идти на город, пускай сидит в Гуляй-Поле, только даст нам оружие и огнеприпасы.

Левка побагровел, стукнул в пол шашкой.

— Не дурите мне голову, товарищ... Мы не торгуем оружием... Батько выметет петлюровскую сволочь, как мух, одним мановением...

Тогда сказал Чугай:

— Товарищ Лева, не горячись, помолчи минутку. Так вот, товарищи, с батькой Махно мы договорились. Батько подчиняется Главковерху Украинской. Народная армия батьки, теперь — Пятая, дивизия, выступает на Екатеринослав немедленно по приказу. Приказ Главковерха у меня в кармане. Давайте согласуем действия... С нами — военный спец. Товарищ Рощин, притуляйся поближе.

Чугай уехал в ту же ночь обратно к батьке в Гуляй-Поле. Он увез с собой и Левку, — чтобы рабочие не косились на его толстую морду, на лакированные голенища и высокие калоши, да и не хотелось оставлять такого дурака вдвоем с Рощиным.

К Рощину приставили для связи и наблюдения Марусю. Военный план ревкома никуда не годился, Рощин высказал это тогда же со всей прямотой. Ревком предложил ему самому обследовать город и представить

свой план. Каждое утро они с Марусей переплывали на лодке среди льдин дымящийся Днепр, вылезали на правом берегу, в слободе Мандыровке, просили кого-нибудь из крестьян, едущих на базар, подвезти их до вокзала, и оттуда — пешком или на трамвае — попадали в центр.

Вокзал с железнодорожным мостом находился на южной стороне, оттуда через весь город тянулся широкий, в акациях и пирамидальных тополях, Екатерининский проспект; по обеим сторонам его стояли новые, солидные, с зеркальными окнами, здания — банков, гостиниц, почты и телеграфа, городской думы. Проспект круто поднимался к старому городу, раскинутому вокруг соборной площади. Там же помещались казармы.

Вадим Петрович научил Марусю считать шаги, на глаз определять углы, запоминать особо важные точки обстрела. Время от времени они заходили в кофейню и на листочке набрасывали план. Листочек этот, сложенный конвертиком, Маруся носила зажатым в кулаке, чтобы сунуть в рот и проглотить, если их остановят вартовые. Но на них ни разу никто не покосился, хотя хорошенькая Маруся в простом платке, повязанном по-украински, и Рощин в шапке с малиновым верхом только ленивому могли бы не примелькаться. Но здесь было не до них. Петлюровские власти, объявившие себя республиканско-демократичными, барахтались среди всевозможных комитетов: боротьбистов, социалистов, сионистов, анархистов, националистов, учредиловцев, эсеров, энесов, пепеэсов, умеренных, средних, с платформой и без платформы; все эти дармоеды требовали легализации, помещений, денег и угрожали лишением общественного доверия. Окончательную путаницу вносила городская дума, где сидел Паприкаки младший (Паприкаки старший, более умный, бежал к Деникину). Дума проводила политику параллельной власти и даже настаивала на учреждении отдельного полка,— по-петлюровски — куреня,— имени покойного городского головы Хаима Соломоновича Гистория. Понятно, что петлюровским властям оставался один свободный участок для деятельности — хватать кое-где в ночное время по квартирам рабочих-коммунистов, и то тех, кто жил на правом берегу.

После дия беготии Рощин и Маруся возвращались уже кратчайшим путем — через мост — иа левый берег, в слободу, в белый мазаиый домик иа обрыве иад Днепром.

В домике всегда была горячо иатоплеиа печь и уютио пахло особеино кисловатым запахом кизяка. Марусиа мать входила с толстой вагоиной свечой (Марусин отец работал на железиой дороге), трогала ладоиью печь, спрашивала тихим голосом:

— Тепло ли?

— Тепло, мама.

— Ужииать будете?

— Как собаки, голодные, мама.

Вздохиув, оиа говорила:

— Мы уж с отцом отужииали. Идите, поужииайте, молодым всегда есть хочется.

Медлеиио, будто думая о чем-то иевыразимо грустиом, оиа шла за перегородку. Брала ухват, приседая от натуги и приговаривая: «Христос с тобой, ие свались, ие развались»,— вытаскивала из печи большой чугуи с борщом. Отец, куря трубочку, иеудобио сидел иа кровати. И ои и мать старались не замечать Рощииа (между собой они иазывали его «секретиым», но если Вадим Петрович просил чего-иибудь — ковш воды, спичек,— Маруси отец торопливо срывался с койки и мать готовио топотала).

Рощии и Маруся хлебали борщ, подливая из чугуиа в облуплеииые тарелки. Маруся ие переставая разговаривала,— впечатлеиия дия отражались с мельчайшими подробностями в прозрачиой влаге ее памяти.

— Христос с тобой, ешь разборчивее,— говорила ей мать, стоя у печки,— еда ие впрок за разговором.

— Мама, я за деиь иамолчалась.— Маруся изумлеииыми ярко-синими иебольшими глазами взглядывала на Рощииа.— Вы зиаете, я ужасио разговорчивая, за это меия в комсомол ие хотели брать. Ну где же коиспирация, поиимаете, если человек болтлив? Испытаиие проходила, семь суток молчала.

После ужииа Маруся иакидывала теплый платок и бежала иа партийиое собраиие. Рощии, поблагодарив за хлеб-соль, шел за глухую перегородку, в узеиькую комнатку, такую иизкую, что, подияв руку, можно было провести по шершавому потолку. Засуиув ладоии за

кушак, он ходил от окошка, закрытого ставней, до Марусиного соснового комодика. Снимал кушак и гимнастерку и садился у окна, слушая сквозь ставню, как далеко внизу глухо и мягко шуршат льдины на Днепре. За перегородкой уже легли спать. В тишине маленького дома потрескивала печная штукатурка да, пригревшись, пилил сверчок крошечной пилой крошечную деревяшку. Вадиму Петровичу было неожиданно хорошо и покойно, и лишь простые, обыденные мысли бродили в голове его.

До Марусиного возвращения лечь спать не хотелось, и, чтобы отогнать дремоту, он снова вставал и ходил. Ему ужасно нравилась эта выбеленная мелом, крошечная комната; Марусиных вещей здесь было немного: юбка на гвозде, гребешок и зеркальце на комоде да несколько книжек из библиотеки... У стены — коротенькая железная кровать, Маруся уступила ее Рощину, а сама стелила себе на полу, на кошме.

Хлопала дверь в сенях, осторожно скрипела дверь на кухне. Появлялась Маруся, румяная от холода. Разматывая платок, говорила:

— Вот и хорошо, что вы меня подождали. Знаете новость? Махно будет здесь через три дня. Завтра вам уже надо представить план. А ночь какая, мамыньки! Тихо, звезд высыпало!..

Маруся до того была поглощена важными делами, разными впечатлениями, до того простодушна, что, постлав себе на полу, без стеснения раздевалась при Вадиме Петровиче. Юбку, кофту, чулки швыряла как попало. Секунду сидела на кошме, обхватив коленки: «Ой, устала»,— и, ткнув кулаком в подушку, укладывалась, натаскивая на голову ватное одеяло. Но сейчас же высовывалось ее лицо, с неугасаемым румянцем, с ямочкой, с коротеньким носом. Она бросала голые руки поверх одеяла.

— Вот так жарко! Слушайте, вы не спите?

— Нет, Маруся, нет.

— Это правда, что вы были белым офицером?

— Правда, Маруся.

— Вот я сегодня спорила... Некоторые товарищи вам не верят. Есть у нас такие, знаете, угрюмые... Мать родная у них на подозрении... Да как же не верить в человека, если верится! Уж лучше я ошибусь, чем про каж-

дого думаю, что — гад. С кем, говорю, вы революцию будете делать, если кругом одни гады? А ведь мы — всемирную делаем... Революция, говорю,— это особенная сила... Понятно вам? Ну что бы я делала без революции? Мазала бы столярным клеем по двенадцати часов в картонажной мастерской... Одна радость — в воскресенье погрызть семечки на Екатерининском бульваре... Ну, разжилась бы высокими ботинками, — подумаешь, радость! Так как же, говорю, вы, товарищи, не верите: интеллигент ошибался, ну,— хорошо,— служил своему классу, но ведь он тоже человек... Революция и не таких затягивала. Может он свой классишко паршивый променять на всемирную? Может... И он сознательно приходит к нам — драться за наше рабочее дело... Угрюмым надо быть, если не верить в это... Ну! Я многих убедила.

Рощин, подобравшись, лежал на коротенькой кровати и глядел на Марусю. Она то взмахивала голыми руками, то страстно сжимала их. Низенькая комната, казалось, была наполнена ее девичьей свежестью, точно внесли сюда ветку белой сирени.

— Другое дело, слушайте, что интеллигентов надо перевоспитывать... Мы и вас будем перевоспитывать... Чего смеетесь?

— Я не смеюсь, Маруся... За много, много лет я не чувствовал себя таким пригодным для хорошего дела... Вот что я сейчас думаю: с первым отрядом для занятия моста — пойду я...

— Ой, ей-богу, пойдете?

Маруся живо вылезла из-под одеяла и присела к нему на край койки:

— Вот теперь верю, что вы наш по-настоящему... А то — кричала, кричала, спорила, спорила, а все-таки, знаешь, доказательства-то прямого нет.

Днем двадцать шестого по железным плитам моста через Днепр с грохотом пронеслась полусотня конных петлюровцев, наскочила на товарную станцию, порубила рабочих, стоявших на охране состава из четырех платформ, бронировавшихся мешками с песком, и рассыпалась по путям, стреляя в вагоны,— все это торопливо, с опаской. Налет предполагался на штаб ревкома, но

петлюровцы побоялись засады в тесноте между составами, поскорее выскочили в поле и ушли, откуда пришли.

На мосту с той стороны они поставили пулеметы и у каждого проходящего спрашивали документы. Напряжение росло. Из городских районов поступали сведения о повальных обысках. Пригородные крестьяне приходили в этот день уже не поодиночке, а десятками, налегке, в туго подпоясанных кожухах. Ревком формировал из них отдельный полк. Формальности были короткие, — каждого спрашивали:

— Зачем пришел?

— А затем пришел — давай оружие.

— Зачем тебе оружие?

— Советы надо ставить, а то чепуха опять начинается.

— Советскую власть признаешь без оговорки?

— Да уж какие там оговорки...

— Ступай во вторую роту.

Но с оружием было плохо, покуда в середине дня неожиданно на паровозе с одним вагоном не прикатил Чугай, привез триста австрийских винтовок с патронами. Это несколько облегчило положение. И, наконец, поздно вечером загремело, застучало в степи,— начала подходить долгожданная армия батьки Махно.

Первой появилась в поселке конная сотня — гвардия «имени Кропоткина»,— дюжие батькины сынки — рост в рост. Они сейчас же заняли школу, выкинули оттуда книжки, парты и учительницу и пошли властно стучать по хатам. За ними въехало до двухсот телег и тачанок с пехотой. И позже всех около школы остановилась большая, по видимости архиерейская, дорожная карета — четверней в ряд — с Великим Немым на козлах, из нее важно вышел Махно с Левкой и Каретником.

Батько немедленно потребовал к себе на совещание штаб ревкома. К тому времени около ревкомовского вагона собралось уже немало взволнованных рабочих. Они кричали председателю:

— Мирон Иванович, ты поди сам взгляни — какие это советские войска, это ж бандиты... Вот послушай-ка тетку Гапку — она тебе скажет, что они с ней сделали...

Тетка Гапка заливалась слезами,

— Мирон Иванович, прожитки мои ты знаешь... Шасть ко мне в хату два хлопца... Давай молока, давай сала... Ну, такие великаны голодные... Веди на двор, показывай — где кабан, где птица... Все слизнули, чтоб им на пупе нарвало, проклятым...

Председателю пришлось суровым голосом растолковывать, что, коль скоро дело сделано, — Махну с войском позвали, — пятиться поздно, и теперь одна задача: штурмом взять город и передать власть Советам. И вдруг прикрикнул на тетку Гапку:

— Двух кабанов, — мало тебе? — стадо кабанов тебе подарим... Перестань народ смущать...

На заседании Махно вел себя странно, — нахально и трусливо. Он потребовал, чтобы его назначили главнокомандующим всеми силами, и пригрозил: в противном случае армия сама повернет коней обратно. Он повторял, что у Советской власти нет еще другой такой боевой единицы и эту единицу надо беречь, а не разбазаривать в непродуманных выступлениях. Он грыз ногти и нет-нет — да запускал руку под куртку и почесывался. Выяснилось, что он больше всего на свете боится шестнадцати орудий у петлюровцев. Тогда Чугай сказал ему:

— Хорошо! Если у тебя свербит от этих пушек, — нынче ночью я съезжу в город, поговорю с командиром артиллерии.

— То есть — как поговоришь?

— А уж это мое дело — как...

— Врешь!

— Нет, не вру. Кто у них командир артиллерии? Мартыненко. Наш — балтиец, комендор с броненосца «Гангут», мой земляк, а может — свояк, а может — кум... Он по нас стрелять не станет...

— Врешь! — повторил Махно, вцепляясь ногтями ему в рукав. И, видимо, поверил, и вдруг успокоился, и приосанился:

— Рассказывайте — какой у вас план наступления...

Ревком представил ему такой план: отряд рабочих, вооруженных гранатами, ночью переправляется на ту сторону, люди поодиночке сходятся близ железнодорожного моста, на рассвете атакуют пулеметчиков у предмостного укрепления, захватывают пулеметы и держат под обстрелом улицы, выходящие к мосту. Когда

раздадутся взрывы гранат, — бронепоезд (из четырех платформ), с вооруженными рабочими и частью только что сформированного крестьянского полка, двинется через мост и атакует городской вокзал. В то же время штаб оповещает по одному ему известным адресам и телефонам районные большевистские комитеты, и те поднимают восстание в городе, — сбор у вокзала, где будет роздано оружие, привезенное на бронепоезде. Туда же к тому времени перенесет свои операции штаб. Конница Махно врывается в город по пешеходному мосту. Пехота двумя колоннами переправляется через Днепр выше и ниже моста и соединяется в указанных местах на Екатерининском проспекте, оттуда ведет наступление вверх для захвата городских учреждений и казарм. Успех восстания зависит от быстроты и неожиданности нападения, поэтому штурм нужно назначить сегодня ночью.

— Люди приустали в походе, кони побились, надо ковать, — сказал Махно.

Председатель ревкома ответил ему на это:

— Люди отдохнут, когда заберем город, а коней перековывай уж на советские подковы.

Чугай сказал:

— Ты что, батько, расположился табором на виду у всего города, — отдыхать? Попотчуют тебя завтра из шестидюймовых. Коротко говори: или нынче в ночь, или уходи...

Днепр в эту ночь стал, но лед был ненадежный. Рабочие всю ночь таскали на берег доски для переправы, приволакивали половинки ворот, целые плетни. Работали наравне и все члены ревкома вместе с председателем.

Одни батькины сынки, роскошно увешанные оружием, похаживали по берегу, боясь вспотеть, и подмигивали друг другу на редкие городские огни на той стороне. Велик и богат был Екатеринослав!

Часа за два до рассвета двадцать четыре человека вышли на лед. Их вел Рощин. Все было заранее объяснено. Лед потрескивал в спайках между льдинами, местами приходилось бросать доски, которые несли в руках. Один только раз блеснуло на берегу близ черной и смутной громады решетчатого моста, раскатился одино-

кий выстрел. Все прилегли. И отсюда уже поползли, насколько возможно отделяясь друг от друга.

Рощин вылез на берег там, где он и наметил, около полузатопленной баржи. Отсюда в гору шла глухая уличка. Он поднялся по ней и свернул к задней стороне как раз того двора, — торгового склада, теперь опустевшего, — где был назначен сбор. Огни вокзала посылали сюда неясный свет. Весь город крепко спал. Рощин некоторое время ходил вдоль забора легкими шагами, повторяя одну и ту же фразу: «Ишь ты, поди ж ты, что же говоришь ты». Он с удовольствием посматривал на высокий забор, зная, как без усилия перебросить через него свое невесомое тело. Поодиночке, как тени, стали появляться товарищи. Всем он велел прыгать на двор и идти к воротам. И опять ходил легким шагом.

Из двадцати четырех человек собралось двадцать три, один или заблудился, или был взят разъездами. Рощин подпрыгнул, подтянулся на руках, зацарапал носками сапог по доскам и не так легко, как думалось, перекинулся на ту сторону и спрыгнул в битые кирпичи.

Рабочие стояли у ворот, молча глядя на подходившего Рощина. Некоторые сидели на земле, опустив лица в поднятые коленки. До рассвета оставалось недолго. Решающими и самыми томительными были эти последние минуты ожидания, в особенности у людей, впервые идущих в бой. Рощин смутно различал стиснутые волевым напряжением рты, сухой блеск немигающих глаз. Это были честные ребята, доверчиво и просто думающие, тяжелорукие русские люди. По своей воле пошли черт знает на какое опасное дело. За всемирную, — как говорила Маруся в белой комнатушке, озаренной свечой. К нему подступило чувство налетающего восторга и опять та же легкость, — волнением стиснуло горло.

Все это было не похоже ни на что, все — небывалое...

— Товарищи, — сказал он, нахмуриваясь. — Если мы спокойно сделаем это дело, — будет удача и дальше. От нас сейчас зависит успех всего восстания. (Те, кто сидел на земле, поднялись, подошли.) Еще раз повторяю — хитрости тут большой нет, главное — быстрота и спокойствие. Этого враг боится больше всего, — не оружия, а самого человека... Вот если у тебя... — Он взгля-

нул снизу вверх на юношу с оголенной сильной шеей. — Если у тебя, товарищ... — Ему неудержимо захотелось, и он положил руку ему на плечо, коснулся его теплой шеи. — Если у тебя под сердцем холодок, так ведь и у врага тоже под сердцем холодок... Значит, кто прямее, — тот и взял.

Юноша мотнул головой и засмеялся.

— А ведь и верно ты говоришь, — кто кого надует... Они дураки, а мы умные... Мы-то знаем, за что... — Он вдруг освободил надувшуюся шею, красивый рот его исказился. — Мы-то знаем, за что помирать...

Другой, протискиваясь, спросил:

— Ты вот скажи — я кинул гранаты, что я дальше буду, без оружья-то?

Кто-то сиплым шепотом ответил ему:

— А руки у тебя на что? Дурила!

— Товарищи, еще раз повторяю вам всю операцию, — сказал Рощин. — Мы разделимся на две группы...

Рассказывая, он поглядывал — когда же наконец в непроглядной тьме за Днепром забрезжит утренняя заря... Плотные тучи скрывали ее. Дальше томить людей было неблагоразумно.

— Пора. — Он осунул кушак. — Разделяйся. Отворяй ворота.

Осторожно отворили ворота. Вышли по одному и, крадучись, дошли до того места, где кончался забор. Отсюда хорошо был виден мост на пелене замерзшей реки. Перед ним неясно различался бугор предмостного окопа, с пулеметами и, видимо, спящей командой. Второй такой же окоп находился по другую сторону полотна.

— Бери гранаты... Побежали...

Побежали разом все двадцать три человека молча, из всей силы, как бегают в лапту, — половина людей — прямо на окоп, другие тринадцать человек — сворачивая направо к полотну. Рощин старался не отстать. Он видел, как длинные тени в подпоясанных куртках высоко перепрыгивают через железнодорожную насыпь. Он свернул туда, за ними. Он понял, что произошла ошибка, — они не успеют добежать до второго окопа, нарвутся на тревогу. За спиной его раздался взрыв, дико закричали голоса, еще, и еще, и еще рвались гранаты... Первый окоп взят... Не оборачиваясь, захваты-

вая разинутым ртом режущий воздух, он карабкался на насыпь. Тринадцать человек — впереди него — неслись огромными прыжками... Они подбегали... Навстречу им забилось бешеной бабочкой пламя пулемета. Будто ветер пронесся над головой Рощина... «Господи, сделай чудо, это бывает, — подумал он, — иначе — только погибнуть...» Он видел, как тот, — высокий парень с голой шеей, — не пригибаясь, бросил гранату, и все тринадцать, живые, свалились в окоп. Он увидел барахтающиеся, хрипящие тела. Один, бородатый, в погонах, выдираясь, приподнялся и шашкой остервенело колол тех, кто хватался за него. Рощин выстрелил, — бородатый осел, уронил голову. И сейчас же оттуда полез другой, в офицерской шинели, лягаясь и вскрикивая. Рощин схватил его, офицер, вырвав руки, вцепился ему в шею: «Сволочь, сволочь!» — и вдруг разжал пальцы:

— Рощин!..

Черт его знает, кто это был, — кажется, из штаба Эверта. Не отвечая, Рощин ударил его револьвером в висок...

И этот окоп был взят. Рабочие поворачивали пулеметы. За Днепром выл паровоз. И по мосту, грохоча, пополз бронепоезд на штурм вокзала.

. . . .

Солнце давно поднялось и жгло, и не грело. Бронепоезд опять, черно дымя, пошел через мост, перевозя к захваченному вокзалу людей и оружие. Ребята криками проводили его из окопов. Дела шли хорошо. Махновская пехота давно уже переправилась по льду, как мураши, полезла на крутой берег, сбила полицейские заставы и рассыпалась по улицам. Не ослабевая, грохотали выстрелы то издалека, то — вот-вот — близко.

— Сашко, ступай на вокзал, найди главнокомандующего и скажи, что мы здесь сидим с пяти утра, зазябли и не ели, пускай нас сменят, — сказал Рощин парню с голой шеей. Безусое, лишь опушенное кудрявыми волосиками, мужественное и ребячье лицо его было в кровавых царапинах, — так его давеча обработал дюжий пулеметчик, прощаясь с жизнью.

Сашко прозяб в легкой куртке и резво побежал по открытому месту, хотя в воздухе часто посвистывали пули. Ему кричали: «Пропадешь, дура... Сашко, папирос принеси...» Он скоро вернулся, присел на корточки

перед окопом, кинул товарищам пачку папирос и Рощину передал записку со свежесмазанным штампом: «Ожидайте, пришлю. Махно».

— Вам поклон от Маруси, — сказал он Рощину.

Вадим Петрович от неожиданности разинул рот, с минуту глядел из окопа на присевшего Сашко.

— Товарищ Рощин, хорошая девочка, повезло тебе, слышь...

— Ты где видел ее?

— На вокзале шурует... Без нее я бы к Махне и не пробился. Что делается, ребята, — народу! Не поспевают оружие раздавать... Наш Екатеринослав!

. . . .

Штаб Махно расположился на вокзале. Батько сидел в зале I—II класса за буфетной стойкой с искусственными пальмами — с нее смахнули только на пол всякую стеклянную ерунду — и писал приказы. Каретник хлопал по ним печатью. Тот, кто получал их, опрометью кидался прочь. Не переставая вбегали возбужденные люди, требуя патронов, подкреплений, походных кухонь, папирос, хлеба, санитаров... Иной командир, разъяренный тем, что уже вплотную подобрался к торгово-промышленному банку, — осталось два шага до двери, — за недостатком огнеприпасов залег, кусая от досады землю, — подходил к батьке и, захватив висящие у пояса гранаты, для устрашения с грохотом бросал их на стойку:

— Ты что тут — богу молишься? В душу, в веру, в мать, — гони патроны!..

Батько отдавал приказы только тем, кто их требовал. Устрашающе шевеля челюстями, он делал вид, что распоряжается. На самом деле в голове его была невообразимая путаница. Продирая бумагу, он ставил крестики на карте города — там, где наступали или отступали части войск. В этом чертовом городе негде было развернуться, всюду теснота, враг — сверху, сбоку, сзади... Таращась на карту, батько не видел ни этих улиц, ни этих домов. Он терял всякую ориентировку. Игра шла вслепую. Недаром он всегда называл города вредной вещью, всем заразам — заразой.

Кроме того, тревожила его неопределенность с Мартыненко. Чугай подтвердил, что Мартыненко стрелять по своим не хочет. Виделся ли Чугай с ним этой ночью

или они сговорились раньше, — действительно, в артиллерийском парке было все спокойно, половина орудийной прислуги разбежалась, и сам Мартыненко, должно быть, от щекотливости, напился вдребезги пьян. Из его парка только две полевые пушки стояли у вокзала, брошенные петлюровцами. Махно обрадовался, — пушек он никогда не захватывал, — приказал выкатить их на проспект и сам дернул за спусковой шнур; лицо его морщинисто засмеялось, когда пушка рявкнула, — люди даже присели, — и снаряд завыл над высокими тополями.

Штаб ревкома помещался на привокзальной площади. Там горели костры, и около них кучками стояли рабочие, прибывающие из всех районов. Члены ревкома знали почти каждого в лицо и откуда он. Выкрикивали товарищей по заводам и мастерским — металлистов, мукомолов, кожевников, текстильщиков, — рабочие отходили от костров и строились человек по пятьдесят. Если среди них находился подходящий, — его назначали командиром, или команду принимал кто-нибудь из членов ревкома. Раздавали винтовки, тут же показывая незнающим — как с ними обращаться. Отряду давалась боевая задача. Командир поднимал винтовку, потрясал ею:

— Вперед, товарищи!..

Рабочие тоже поднимали эту дорогую вещь, наконец-то попавшую им в руки:

— За власть Советов!..

Отряды уходили в сторону Екатерининского проспекта, в бой.

. . . .

Рощин протискался к главнокомандующему и подробно рапортовал о занятии предмостных укреплений и о потерях в личном составе: четверо раненых, один задавленный насмерть. Махно, кусая карандаш, глядел на коричневое, осунувшееся лицо Рощина с твердым до дерзости и почти безумным взглядом.

— Хорошо, будешь награжден серебряными часами, — сказал он и на край стойки подвинул лежавшую перед ним карту города. — Гляди сюда. — И повел карандашом линию по крестикам. — Наступление задерживается. Мы доскочили вон куда, — улица, кривой переулок, бульвар... И дальше — вон куда кресты загибают... Я хочу знать причину — почему топчемся, как

в дерьме? — крикнул он резким, птичьим голосом. — Ступай и выясни. — На клочке бумаги он нацарапал несколько слов, и Каретник из-под его локтя, дыхнув на печать, стукнул по подписи. — Можешь расстреливать трусов, — даю тебе право...

Рощин вышел на площадь, где продолжали строиться неровными рядами рабочие отряды, раздавались крики команды и крики «ура!». От дыма костров, на которых уже кое-где пристроили варить в котлах кашу, у него закружилась голова, и в памяти проплыло: знакомый чугун со щами, который Маруся, вскочив из-за стола, подхватывала из рук матери, и Марусины зубы, кусающие ломоть душистого хлеба. Ну, ладно!

За Рощиным шли с винтовками Сашко и еще двое из команды: один — рябой, веселый, плотный, как казанок, по фамилии Чиж, другой — все время усмехающийся красивый юноша, с жестоким лицом и подбитым глазом, прикрытым низко надвинутым козырьком черного картузика, — водопроводчик, называл он себя Роберт. По Екатерининскому проспекту пришлось пробираться, хоронясь за выступами домов, от подъезда к подъезду. Пули так и пели. Бульвар был пуст, но повсюду за окнами, заваленными тюфяками, появлялись и прятались любопытствующие лица. В подъезде ювелирного магазина сидел человек в тулупе, — маленькое, высосанное нуждою лицо его было запрокинуто, будто он поднял его вместе с седой бородой к старому, еврейскому небу, вопрошая: что же это, господи?

— Ты что тут делаешь? — спросил Чиж.

— Что я делаю? — скорбно ответил человек. — Жду, когда меня убьют.

— Иди домой.

— Зачем я пойду домой? Господин Паприкаки скажет: что дороже — твоя паршивая жизнь или мой магазин?.. Так лучше я умру около магазина...

Не успели они отойти, сторож высунул бороду из-за дверного выступа:

— Молодые люди, там дальше убивают...

Когда дошли до угла, — над головами по штукатурке резанула очередь пулемета. Нагнувшись, побежали в боковую улицу и прижались в углублении ворот. Тяжело дыша, увидели и сосчитали: на перекрестке, на мостовой — семь лежащих трупов и отброшенные вин-

товки. Здесь нарвался на огонь один из рабочих отрядов. Роберт, усмехаясь и раздельно, со злобой произнося слова, сказал:

— Режут с чердака гостиницы «Астория». Предлагаю ликвидировать эту точку.

Предложение показалось дельным. Гостиница «Астория», где два месяца жил Рощин, находилась на той стороне бульвара, подойти к ней можно было только под огнем. Рощин раскинутыми руками прижал товарищей к воротам:

— Только по одному, с интервалами, быстро, риска никакого.

Нагнувшись, почти падая, он пробежал до перекрестка и прилег за труп. С чердака «Астории» стукнуло два раза. Вскочив, он кинулся зигзагами, как заяц, к тополям, на середину бульвара. С чердака, с опозданием, торопливо застучало, но он был уже в «мертвом» пространстве. Прислонясь к стволу тополя, сняв шапку, вытер ею лицо, забрал воздуху, крикнул:

— Сашко, беги ты...

В зеркальную дверь гостиницы пришлось постучать ручными гранатами, —тогда изнутри отвалили комод и дверь открыли. Роберт оттолкнул солидного швейцара, завопившего было: «Ромка, куда ты, стервец...» — и кинулся с поднятой гранатой. В вестибюле было полно постояльцами, спустившимися со всех этажей, — при виде романтически настроенного юноши с гранатой и за ним еще троих вооруженных публика молча начала удирать вверх по лестнице. Запыхавшиеся приплющивались к перилам. Рощин, поднимаясь, узнавал многих. И его узнали, — если бы можно было убить взглядом, он бы сто раз упал мертвым. Один только благодушный помещик, тот, на чьей шее висели три незамужние дочери, выйдя с запозданием из своего номера, где он в это время обедал всухомятку, едва не заключил Рощина в объятия, обдав запахом мадеры:

— Голубчик, Вадим Петрович, так это вы, а мои-то девки трещат, будто какие-то большевики ворвались...

Но слова замерли у него, когда он увидел огромного Сашко с кровавыми царапинами на щеках, и прикрытый козырьком глаз водопроводчика, и веселого, розового, но мало расположенного к классовому снисхождению Чижа...

Водопроводчик знал в гостинице все ходы и выходы. Когда взбежали на третий этаж, он повел на черную лестницу и оттуда — на чердак. Железиая дверь туда была приотворена... «Здесь они», — прошептал он и, распахнув дверь, кинулся с такой злобой, будто ждал этого всю жизнь... Когда Рощин, нагибаясь в полутьме под балками, добежал до слухового окна, Роберт все колол штыком какого-то человека в шубе, лежавшего ничком около пулемета.

— Я говорил — это сам хозяин!

Когда спускались с чердака, мальчик вдруг сплоховал, у него так задрожали губы — сел на ступени и закрыл лицо картузиком. Сашко, приняв у него винтовку, сказал грубо: «Ждать нам тебя!» — и Чиж сказал ему: «Эх, ты, а еще Роберт...» Ои вскочил, вырвал у Сашко свою винтовку и побежал вниз, прыгая через ступени. Его и Чижа Вадим Петрович оставил стеречь гостиницу. Сашко послал в штаб с запиской, чтобы в «Асторию» выслали наряд, и один вернулся на бульвар.

День был уже на исходе. Рабочие отряды заняли почту и телеграф, городскую думу и казначейство. Все эти места Рощин обошел и отовсюду послал в штаб связистов. По всем признакам, бой затягивался. Махновская пехота, исчерпав первый отчаяниый порыв, начала скучать в городских условиях... Будь драка в степи, — давно бы уже делили трофеи, варили на кострах кулеш да, собравшись в круг, глядели бы, как заядлые плясуны чешут гопака в добрых сапожках, содранных с убитых. Петлюровцы в свой черед оправились от растерянности, — отступив до середины проспекта, окопались и уже начали кое-где переходить в контратаки.

Только в сумерки Рощин вернулся иа вокзал. Но Махно там не было, свой штаб он перенес в гостиницу «Астория». Рощин пошел в «Асторию». Со вчерашнего дня не ел, выпил только кружку воды. Ноги от усталости подвертывались в щиколотках, бекеша висела на плечах, как свинцовая.

В гостиницу его не пустили. У дверей стояло два пулемета, и по тротуару похаживали, звеня шпорами, батькины гвардейцы, с длинными, по гуляй-польской моде, волосами, набитыми на лоб. Чтобы не застудиться, один поверх кавалерийского полушубка напялил хорьковую шубу, другой обмотал шею собольей шалью,

Гвардейцы потребовали у Рощина документы, но оба оказались неграмотными и пригрозили шлепнуть его тут же на тротуаре, если он будет настаивать и ломиться в дверь. «Идите вы к такой-сякой матери со своим батькой», — вяло сказал им Рощин и опять пошел на вокзал.

Там, в полутемном, разоренном буфете, куда сквозь высокие окна падали отблески костров, он лег на дубовый диван и сейчас же заснул, — какие бы там ни раздавались крики, паровозные свистки и выстрелы. Но сквозь тяжелую усталость плыли и плыли беспорядочные обрывки сегодняшнего дня. День прожит честно... Не совсем, пожалуй... Зачем ударил того в висок? Ведь человек сдался... Чтобы концы, что ли, в воду? Да, да, да... И увиделось: карты на столе, стаканчики глинтвейна... И тут же — убитый — капитан Веденяпин, карьеристик, с кариозными зубами и мокрым ртом, как куриная гузка, сложенным, будто для поцелуя в афедрон командующему армией, генералу Эверту, сидящему за преферансом... Ну, и черт с ним, правильно ударил...

Сон и тревожные удары сердца боролись. Рощин открыл глаза и глядел на спокойное, прелестное лицо, озаренное красноватым светом из окна. Вздохнул и пробудился. Рядом сидела Маруся, держа на коленях кружку с кипятком и кусок хлеба.

— На, поешь, — сказала она.

. . . .

В эту ночь Чугай и председатель ревкома пробрались в артиллерийский парк, где на охране остались только свои люди, разбудили Мартыненко, и Чугай сказал ему так:

— Пришли по твою черную совесть, товарищ, хуже, как ты поступаешь, — некуда... Либо ты определенно качайся к Петлюре, но живым мы тебя не отпустим, либо — впрягай орудия...

— А что ж, можно, — утречком приведу к вам пушки...

— Не утречком, давай сейчас... Эх, проспишь ты царствие небесное, Мартыненко...

— Да я что ж, сейчас — так сейчас...

На следующий день все окна в Екатеринославе задребезжали от пушечной стрельбы. На проспекте по-

летели в воздух булыжники, ветви тополей, куски бульварных киосков. Увлекаемые этой суровой музыкой, рабочие отряды, крестьянский полк и махновская пехота кинулись на петлюровцев и оттеснили их до полугоры. Тогда представители различных партийных и беспартийных организаций, а также Паприкаки младший, неся на тросточках белые флаги, с великими опасностями добрались до ревкома и предложили посредничество для скорейшего достижения перемирия и прекращения гражданской войны.

Мирон Иванович, сидя — сутулый, в пальтишке с оторванными пуговицами и в засаленной кепке — у стола в вестибюле «Астории» и без малейшего выделения слюнных желез жуя черствый хлеб, сказал делегатам:

— Нам самим не интересно разрушать город. Предлагаем ультиматум: к трем часам пополудни все петлюровские части складывают оружие, контрреволюционные дружинники прекращают стрельбу с чердаков. В противном случае в три часа одну минуту наша артиллерия открывает огонь по городу в шахматном порядке.

Председатель говорил медленно, жевал еще медленнее, лицо его было темное от копоти. Делегаты упали духом. Долго шепотом совещались и захотели спорить. Но в это время на мраморной лестнице в вестибюль с шумом спустились пестро и разнообразно одетые люди: впереди шли двое, держа в руках — в обнимку — пулеметы Льюиса, за ними — дюжина нахальных парней, обвешанных оружием, и в середине — длинноволосый человечек с окаянными глазами...

Делегаты выхватили из рук председателя ультиматум и поспешили на бульвар, на свежий воздух, под летящие пули.

Петлюровское командование отклонило ультиматум. В три часа одну минуту батько Махно бесновался и стучал револьвером по столу, за которым заседал реввоенсовет, требуя раскатать город без пощады в шахматном порядке. Членам реввоенсовета, местным рабочим, родившимся здесь, жалко было города. Все же слабости обнаруживать было нельзя, решили попугать буржуев. С запозданием, четырнадцать пушек Мартыненко рявкнули. Кое-где из стен больших домов, поднимавшихся уступами, брызнули осколки кирпича и

штукатурки. Представители комитетов забегали, как мыши, от петлюровцев в реввоенсовет. Атаки рабочих отрядов не прекращались. Петлюровцы стали отступать в конец бульвара, на самую гору.

В ночь на четвертые сутки восстания ревком объявил в городе советскую власть.

. . . .

Всю ночь ревком формировал правительство. Как тогда в вагоне и предполагал Мирон Иванович, — анархисты и левые эсеры заключили блок с батькой Махно, на его плечах ворвались на заседание и бешено дрались теперь за каждое место. Эсеры подобрались почему-то все небольшого роста, но крепенькие, выспавшиеся, и переспорить их было очень трудно.

Каждый из них, вскакивая, со свежей улыбкой первым делом обращался к батьке: он-то, Махно, — истинный представитель народной стихии, он-то — сказочный вождь и великий стратег, всеочищающий огонь и железная метла... А что за красота его хлопцы, беззаветные удальцы!

Батько, сжав бледные губы, слушал и только кивал испитым лицом. А неукротимый эсер поднимал голос так, чтобы слышали его за раскрывающимися дверями в коридоре, где толпились махновцы и разная публика, черт ее знает как просочившаяся в гостиницу.

— Товарищи большевики, о чем нам спорить? Вы за Советы, и мы за Советы... Расхождение наше чисто тактическое. Мы получаем в наследство буржуазный аппарат городского хозяйства. Вы хотите сделать его советским в один день. А мы знаем, что с коммунистами городской аппарат работать не станет. Саботаж обеспечен. Гарантированы голод и разруха. А с нами работать они хотят, — есть постановление городской думы. Вот почему мы деремся за кандидатуру комиссара продовольствия товарища Волина. Предлагаю закрыть прения и голосовать...

Анархисты, державшиеся загадочно и даже презрительно, выкинули неожиданно такое, что даже батько завертел цыплячьей шеей.

Их представитель, студент, в красной, как мак, феске, выставил кандидатуру в комиссары финансов Паприкаки младшего...

— Мы его будем отстаивать всеми имеющимися у нас средствами... Паприкаки младший — наш единомышленник, анархист кабинетного типа, знаток финансов, и в наших руках будет послушным и полезным орудием восставшего свободного народа... Предлагаю прений не открывать и голосовать простым поднятием рук...

Маруся с Вадимом Петровичем сидели тут же у стены, на одном стуле. Маруся возмущалась, негодующе сжимала руки, вскакивала, чтобы крикнуть надломанно и высоко: «Это позор!» — или: «А где вы были, когда мы дрались!» — и опять садилась с пылающими щеками. У нее был только совещательный голос.

За эти дни она похудела и обветрела. В расстегнутой бараньей куртке ей было жарко, волосы у нее распустились. В паузах между речами она торопливо рассказывала Рощину про свои похождения... Сначала работала в комиссии по снабжению отрядов хлебом и кипятком... Была переброшена в санитарный отряд и, наконец, назначена связистом... Носилась по всему городу... Ее обстреливали «сто раз». Она показывала Рощину подол юбки с дырками...

— Не будь я проворная, мне бы каюк. Кричат: «Маруська!» Я завертелась, а тут бомба на этом месте, где я минуточку была, как тарарахнет, а я — за тополь... Ну, так напугалась, до сих пор коленки трясутся.

Жизнерадостности у Маруси хватило бы еще на десяток восстаний. Во время ее болтовни в дверях появилось исцарапанное лицо Сашко. Он едва продрался сюда и поманил Марусю пальцем. Она подбежала, и он что-то ей зашептал. Маруся всплеснула руками...

Чугай гудел, отводя кандидатуры:

— Товарищи, мы не спорить собрались, мы тут не доказывать собрались, мы собрались повелевать... А повелевает тот, у кого сила...

Маруся едва могла дождаться, — подбежав к столу, сообщила:

— В городе идет повальный грабеж... Вот послушайте товарищей... Их сюда пускать не хотят... Им руки вывернули...

Тогда за дверью начался шум, возня, надрывающиеся голоса, и в комнату ввалились Сашко и несколько рабочих с винтовками. Враз они заговорили:

— Это что ж такое! Тут у вас полицию поставили! Подите лучше взгляните... Весь бульвар оцеплен, батькины хлопцы магазины разбивают... Возами вывозят...

У Махно обтянулись губы, точно он собрался укусить... Вылез из-за стола и пошел... Махновские хлопцы в коридоре и вестибюле расступились, видя, что батько кажет желтые, как у старой собаки, зубы. Идти ему далеко не пришлось, — на противоположной стороне проспекта у окон большого магазина суетились какие-то тени. Едва он шагнул за дверь гостиницы, на тротуаре появился Левка.

— В чем дело, из-за чего хай? — спросил Левка и пошатнулся. Махно крикнул:

— Где ты был, мерзавец?

— Где я был... Шашку тупил... Тридцать шесть одной этой рукой... Тридцать шесть...

— Ты мне порядок в городе подай! — завизжал Махно, сильно толкнул Левку в грудь и побежал через бульвар к магазину. За ним — Левка и несколько гвардейцев. Но там уже догадались, что надо утекать, тени около окон исчезли, и только несколько человек, тяжело топая, вдалеке убегали с узлами.

Гвардейцы вытащили все же из магазина одного зазевавшегося батькина хлопца с большими усами. Он плаксиво затянул, что пришел сюда только подивиться, як проклятые буржуи пили громадяньску кровь... Махно весь трясся, глядя на него. И когда со стороны гостиницы подбежали еще любопытствующие, — выкинул руку в лицо ему:

— Это известный агент контрреволюции... Не будешь ты больше творить черное дело!.. Рубай его, и только...

Усатый хлопец завопил: «Не надо!..» Левка вытянул шашку, крякнул и наотмашь, с выдохом, ударил его по шее.

— Тридцать седьмой! — хвастливо сказал, отступая.

Махно стал бешено бить ногой дергающееся тело в растекающейся по тротуару кровавой луже.

— Так будет поступлено со всяким... Вакханалия грабежей кончена, кончена... — И он круто повернулся к шарахнувшейся от него публике. — Можете идти спокойно по домам...

. . . .

Маруся неожиданно заснула на стуле, привалившись к плечу Рощина, растрепанная голова ее понемногу склонялась к нему на грудь. Был уже седьмой час утра. Старый, хмурый лакей, сменивший по случаю установления Советской власти свой фрак на домашнюю поношенную куртку с брандебурами, принес чай и большие куски белого хлеба. Правительство было уже сформировано, но оставалось еще много неотложных вопросов. Так, еще с вечера, был подан запрос железнодорожниками: кто будет им платить жалованье и в каком размере? Махно, поддерживаемый анархистами, предложил такую формулировку: пусть железнодорожники сами назначат цены на билеты, сами собирают деньги и сами же себе платят жалованье.

Но прения не успели развернуться. В комнате, прокуренной до сизого тумана, вдруг задребезжали стекла в окнах. Донесся глухой взрыв. Мартыненко, спавший на диване, замычал. Стекла опять задребезжали. Мартыненко проснулся: «А чтобы их черти взяли, чего балуют...» — и стал нахлобучивать папаху на обритый череп. Долетел третий тяжелый удар. Чугай и Мирон Иванович, опустив куски хлеба, тревожно переглянулись. В дверь ворвались Левка и кавалерист, мотающий, как медведь, головой без шапки.

— Пропали, — проговорил кавалерист и помахал рукой над ухом, — пропал весь эскадрон...

— Под Диевкой! — крикнул Левка, тряся щеками. — Все разговариваешь, батько!.. Полковник Самокиш подходит с шестью куренями... Бьет по вокзалу из тяжелых...

. . . .

Злорадно и открыто, не прячась уже за матрацы, изо всех окон глядели жители Екатерининского проспекта, как уходит махновская армия. Мчались всадники, хлеща нагайками направо и налево, ветер взвивал за их плечами шубы, бурки, гусарские ментики, шелковые одеяла... Кони, тяжело обремененные узлами в заседельных тороках, спотыкались на обледенелой мостовой, — и конь, и всадник, и добыча катились к черту, под копыта... «Ага! — кричали за окнами, — еще один!» Скакали груженные награбленным добром телеги; разметывая все на пути, мчались четверни с тачан-

ками, так что искры сыпались из-под кованых колес. Бежали пехотинцы, не успевшие вскочить в телеги...

Все это с дикими воплями, грохотом и треском устремлялось вверх по проспекту, к нагорной части города, потому что полковник Самокиш уже захватил железнодорожный мост и вокзал... Батько Махно, выбежав тогда из ревкома, в бессильной злобе затопал ногами, заплакал, говорят, кинулся в тачанку, которую Левка пригнал к гостинице, накрылся с головой тулупом, — от стыда ли, не то для того, чтобы его не узнали, — и ушел из проклятого города в неизвестном направлении.

Бегущая без единого выстрела батькина армия при выходе из города неожиданно наткнулась на петлюровские заставы, заметалась в панике и повернула коней к Днепру, на явную гибель. Берег здесь был крут. Ломая кусты и заборы, перевертываясь вместе с телегами, махновцы скатились на лед. Но лед был тонок, стал гнуться, затрещал, и люди, лошади и телеги забарахтались в черной воде среди льдин. Лишь небольшая часть махновской армии — жалкие остатки добрались до левого берега.

В эту ночь многие рабочие из отрядов отпросились — сходить домой, погреться, переобуться, похлебать горячего. Под ружьем оставались только патрульные отряды да бойцы крестьянского полка, которым некуда было пойти. Этому крестьянскому полку и пришлось в неравных условиях принять весь удар петлюровских куреней полковника Самокиша. Полк был окружен близ вокзальной площади и истреблен почти весь в штыковом бою, лишь немногим удалось пробиться и уйти через проходные дворы и, возвратясь в деревни, рассказать про страшное дело, где легло три сотни добрых хлопцев, пришедших в Екатеринослав, чтобы ставить советскую власть.

Члены ревкома, Мирон Иванович и Чугай, кинулись собирать рабочие отряды и стягивать патрули. Они не рассчитывали удержать город, — задача была в том, чтобы дать возможность всем принимавшим участие в восстании уйти через пешеходный мост на левый берег. Собранные отряды засели за углами домов, за вывороченными камнями, за баррикадами, отбрасывая пулеметным огнем наседающих петлюровцев. Отовсюду к мосту и через мост бежали сотни рабочих с женами и

детьмн... Иные уноснли на руках жалкнй скарб, который без сожаления можно было бросить. По ннм стрелялн с крыш, стреляли снизу, с берега.

Чугай, Мнрон Ивановнч, Рощин, Маруся, Сашко, Чиж н десяток товарищей отступалн последннмн. Волоча пулемет, они перебегали от угла к углу, от прнкрытня к прикрытню. Серые папахн самокншцев то и дело высовывалнсь неподалеку от подъездов. Оставалось самое тяжелое — ступить на мост, где не было никакой защнты, кроме трупов да брошенных узлов... Чугай повернул пулемет, прнлег за щнтком, оставив около себя Сашко, н крикнул остальным: «Бегите прытко...» Под грохот пулемета, заработавшего на расплав ствола, все побежалн.

На самой середине моста Маруся споткнулась н пошла тяжело, неуверенно... Рощнн нагнал ее, поддержал, она уднвленно взглянула, что-то хотела выговорить н только глядела на него. Рощнн, прнсев, поднял ее, как берут ребят, на рукн. Маруся все тяжелее прнжималась к нему. Вот н конец моста, — по бедру Вадима Петровича ударнло будто железной палкой. Он силился удержаться на ногах, чтобы не уронить, не зашнбить Марусю. Сзадн набежал Чугай. Рощин — ему: «Уроню ведь, возьми ее...» И сейчас же с него сбнло шапку, и начало темнеть в глазах. Он еще слышал голос Чугая:

— Сашко, нельзя его бросать...

16

«Разбойникн» былн поставлены только в феврале, во время короткой передышкн качалинского полка. Длинные переходы в мороз н метели, когда впереди вместо теплой ночевки разливалось под тучами мрачное зарево н в снежных степях не найти было щепкн — обогреть закоченевшее тело у костра, — затяжные бои, утреннне тревогн, злобные короткне схватки с казакамн — все осталось позади. Мамонтов с остатками потрепанных полков был далеко за Доном. Армия его таяла. Ему больше не верили: напрасно он уложнл десятки тысяч — цвет донского войска — в трех наступленнях на Царнцын.

Качалннцы, заняв без боя большую замнрнвшуюся

станицу, повеселели, — поели сытно и выспались тепло. Впереди — весна, а там и конец, может быть, затяжной войне.

Полтора месяца тяжелого похода изнурили Дашу, — ей и в голову не приходило браться снова за этот спектакль. Театральное имущество растерялось, несколько человек из труппы было ранено, пропала и сама книжка с пьесой. Даше хотелось хоть несколько вечеров побыть в тепле с Иваном Ильичом, посидеть около него, — без слов, без дум, коротая в сумерках тихий покой под бессонную песенку того же сверчка под печкой.

Надо было постирать и поштопать белье, отдать подшить Ивану Ильичу валенки. Привести себя немножко в порядок, а то и муж, и все на свете, да и сама она в том числе, забыли, что она женщина. В первый же вечер Даша и Агриппина шли из бани по замерзшим лужам, легкий мороз веял около горячих, распаренных щек, — вот было счастье! Они с Агриппиной поставили самовар, собрали ужинать. Иван Ильич и Иван Гора тоже вернулись из бани, и вчетвером сели за стол, — мужчины кряхтели от удовольствия, — щи-то как пахли, из самовара-то как хорошо пахло! Иван Гора сказал:

— Вот, Иван Ильич, по трудам и отдых...

Отдохнуть Даше не пришлось. На второй день, перед тем часом, когда вернуться Ивану Ильичу, пришла Анисья с книжкой — Шиллером, — сдержанная, серьезная, и заговорила, поднимая мечтательные глаза:

— Тоска у меня, Дарья Дмитриевна... То ли я испорченная... Все люди как люди, а я испорченная. У меня еще у маленькой это замечалось... Ну, потом, конечно, рано вышла замуж, дети... Да вот — горе мое случилось... Мне двадцать четыре года, Дарья Дмитриевна. Кончится война — куда я пойду? С мужиком жить в хате, глядеть в степь пустую? После всего, что видела, что я слышала, — мне другое нужно...

У Анисьи под шинелью поднялась грудь, глаза полузакрылись.

— Я эту книгу всю прочла, в боях не расставалась с ней... Может быть, я малосознательная, темная, необразованная, но это можно поправить. Дарья Дмитриевна, во мне разные голоса живут... Про себя я ничего не знаю, а про людей знаю... Слезы кипят, когда думаю, как бы могла хоть про ту же графиню Амалию расска-

зать... Живая бы она встала из этой книжки... Мне и Шарыгин покойный про то же говорил... Дарья Дмитриевна, мы сегодня нашли помещение, в школе, — человек на триста... Здесь и плотники есть, и лесу можно достать, и холстины... Отчего бы нам не сыграть «Разбойников»? Роли мы помним... Сегодня ребята поминали: хорошо бы посмеяться...

Пришел Иван Ильич и, разумеется, восхитился: «Великолепная идея! Недельку здесь постоим... Замечательный будет праздник ребятам!..» Удивительный был человек Иван Ильич, — ничто в нем не могло затуманить жизнерадостности: раз Даша около него, — значит, мчимся полным ходом к счастью... Как в те далекие, синие, ветреные июньские дни на пароходе...

Так Даше и не удалось послушать в сумерки, как бьется сердце у любимого человека, подобраться осторожно, будто кошачьей лапкой, к его затаенным мыслям... Да и было ли у него затаенное? Да и зачем оно тебе, Даша? Иван Ильич — просто щедрый человек, все, что есть у него, до последнего, — бери... И лицо его, огрубевшее от морозов и ветра, — простое, как солнце... Ах, все бы обернулось по-другому, если бы у Даши, в нежной тьме ее худенького тела, зачалась добрая жизнь, плоть от его плоти...

Труппа начала репетировать. Что это были за муки! Даша молча плакала, артисты стыдились глядеть в глаза друг другу. Огрубели, ожесточились, застудили голоса... Помог Сапожков, — прочел доклад о происхождении театра вообще, где доказал, что театр свойствен даже некоторым птицам и животным, например, лисице, которая «мышкует», то есть поймает мышь и устраивает с ней перед лисенятами настоящее представление: и подпрыгивает, и навзничь опрокидывается, и ходит на лапках, крутит хвостом... Труппа ободрилась, и дело понемногу пошло на лад. В школе сколотили помост, размалевали холсты. Рампу устроили из сальных плошек. Пропавшие в походе фраки и сюртуки, — те, что Иван Ильич еще на хуторе реквизировал у проезжего адвоката, — неожиданно отыскались в обозе.

И наконец настал этот день: только закатиться солнцу, — по станице проехал на артиллерийской сивой лошади красноармеец (выдумка Ивана Ильича), затрубил в медную трубу и начал кричать: «Граждане и то-

варищи, представление «Разбойников» Шиллера начинается...»

К школе сбежалась вся станица. Крыльцо и вход в зал штурмовали так, что туда вваливались люди с выпученными глазами, без шапок, без пуговиц... Те, кто не попал на представление, недолго горевали. Над станицей стоял молодой месяц в глубоком предвесеннем небе. Перед школой залились гармошки. Красноармейцы удивляли недавно замирившихся казачек любимой песней: «По небу полуночи ангел летел...» Знакомились, а там уже пошли и шутки, — «ласки в глазки, а поцелуй в роток...». А то еще и так: «Военному человеку жениться — не чихнуть, можно и подождать».

Публика в зале поначалу грохала хохотом, узнавая в размалеванном старике, с волосами из пакли, в балахоне, перефасоненном из поповской рясы, — красноармейца Ванина... «Он это! — кричали. — Давай, Ванин, жги, не бойся...» Когда особенными, ползучими шагами из-за полога в кулисах появился человек в мешковатой одежде с двумя хвостами, в бабьих чулках, — зубы все на виду, глаза врозь, — и зашипел по-змеиному: «Папаша, здесь я, ваш верный сын, Франц», — публика тоже сразу узнала Кузьму Кузьмича и легла со смеху...

Даша за кулисами, схватившись за виски, повторяла Сапожкову:

— Это конец, это чудовищный провал, я так и ждала...

Но артисты преодолели веселое настроение в зале. Публика всех узнала и начала слушать. Латугин подходил к дымно горящим плошкам, — они озаряли снизу его могучее лицо, с наклеенной из бараньей шерсти бородкой, с бешено изломанными бровями, — стиснув руки на груди так, что трещал черный адвокатский сюртук, он говорил сильным голосом:

— «О, если бы я мог призвать к восстанию всю природу, и воздух, и землю, и океан, и броситься войной на это гнусное племя шакалов...»

Тут уже публика затихла, понимая, к чему клонится пьеса.

Декорации не меняли, перестановок особенных не делали. Перед началом каждой картины сквозь занавес просовывался Сергей Сергеевич, — лицо у него улыбалось, будто он знал что-то особенное:

— Картина третья. Представьте роскошный замок графов Моор. В окно льется аромат из сада. Прекрасная Амалия сидит в своей комнате...

Лицо его, освещенное плошками, пряталось. Занавес раздвигался. Никому и не хотелось признавать в этой гневной красавице в широкой юбке, в пестреньком платке, завязанном косынкою на груди, — румяной, кудрявой, с глазищами во все лицо, — Анисью Назарову из второй роты.

Заговорила она низко, с дрожью, будто запела, кулачишком застучала по столу на Франца: «Прочь от меня, негодяй...» И пошла пьеса, как волшебная сказка, что в детстве, в зимние вечера, бывало, рассказывает дед, а ты слушаешь, свесив голову с печи...

Кузьма Кузьмич боялся за одно место, где Амалия ударяет его по щеке. У нее все же, при ее мечтательности, рука была красноармейская. Кузьма Кузьмич шепнул ей: «Легче...» Она же ото всей души: «О бесстыдный клеветник!» — размахнулась, будто вся тяжесть прошлой жизни легла в ее руку, и ударила,— Кузьма Кузьмич отлетел в кулису. Но никто не засмеялся. Из публики крикнули: «Правильно...» И все захлопали, потому что каждому хотелось так же стукнуть негодяя.

Потом она сорвала с шеи бусы, бросила их, растоптала:

— «Носите вы золото и серебро, богачи! Пресыщайтесь за роскошными столами, покойте члены свои на мягком ложе сладострастия! Карл, Карл! Люблю тебя...»

Сергей Сергеевич, ведя за собой занавес, улыбаясь, многозначительно сказал: «Антракт...» Анисья, подойдя за кулисой к Даше, прижалась к ней, уткнула лицо ей в грудь, мелко дрожа в ознобе:

— Не хвалите меня, не надо, не надо, Дарья Дмитриевна...

Дальше спектакль пошел самокатом. В первом акте актеры вспотели, напряженные мускулы у них обмякли, стиснутые голоса стали человечными, и плевать уж им было, если чего и не расслышали от суфлирующего свистящим шепотом Сергея Сергеевича, — не стесняясь, сочиняли свое, хлеще, чем у Шиллера, во всяком случае — доходчивее.

Публика осталась очень довольна спектаклем. Телегин, сидевший рядом с комиссаром в первом ряду, не-

сколько раз прослезился; Иван Гора, которому полагалось быть сдержанным, шумно сопел носом, будто во время какой-нибудь удачной военной операции. И в особенности довольны были артисты, — не хотелось раздеваться, разгримировываться, впору было начинать второй сеанс, не глядя на то, что уже по всей станице кричали петухи.

Праздник кончился. Затихли песни и гармошки, лишь кое-где хлопала калитка. Отпели и петухи. Станица спала. По улице медленно шла Анисья, рядом — Латугин, в шинели, накинутой на одно плечо, — ему все еще было жарко.

— Да, Анисья, да, чудно́... Идешь ты в этой скорлупе в своей, в шинелишке, а я сквозь нее тебя вижу... Не подходят обыкновенные слова, и не хочется их тебе говорить...

Шли они в конец станицы, туда, где степь вдали сливалась с темнотой. Месяц высоко забрался в почерневшее небо. А перед Анисьиными глазами все еще горели плошки, за ними в горячо надышанной темноте каждое ее слово с силой отзывалось, и оттуда шли к ней взволнованные вздохи, и было в этой ее силе бездонное, небывалое, женское. Ей приятно было слушать Латугина...

— Многих я знал, краля моя... Да ну их всех к черту... Такой не встречал... Зарезался я, — хочешь слушай, хочешь нет...

Он остановился, и она остановилась. Он обнял ее, — шинель с его плеча упала на снег. Долго, сильно поцеловал Анисью в холодноватые губы. Отстранив, глядел в ее будто равнодушное лицо со щеками, подрумяненными свекольным соком. А она — не на него, подведенные глаза ее глядели на месяц.

— Вот она где, мука моя! Ну, ладно...

Он поднял шинель, и они опять пошли...

Этой ночью Даше тоже не спалось. Опираясь локтем о подушку, она говорила:

— Я понимаю — сейчас это неосуществимо... Но, послушай — Анисья у нас есть, Латугин у нас есть. Кузьма Кузьмич — это просто талант. Это Яго... Мы будем ставить «Отелло»... Пополним труппу, завтра же ты дай приказ по полку... Увидишь — в дивизии, в корпусе будем играть... Но необходимо, во-первых, сохранить наши

декорации... Поговори с комиссаром, пусть он выделит нам специальные подводы... А как слушали! У меня было впечатление, что зритель — это губка, впитывающая искусство...

— Ты права, права, — отвечал Иван Ильич. Заложив руки за спину, в рубахе распояской, без сапог, в мягких чоботах, которые ему Даша купила у казачки, он ходил, каждый раз заслоняя большим черным телом огонек на столе, и почему-то Даше это было неприятно. А когда доходил до окошка, оборачивался и огонек освещал его красноватое, крепкое, как из бронзы, улыбающееся лицо, — у Даши тревожно стукало сердце.

— Ты права... Русский человек любит театр... У русского человека особенная такая ноздря к искусству. Потребность какая-то необыкновенная, жадность... Скажи — полтора месяца боев, истрепались люди — одна кожа да кости, ведь так и собака сдохнет... При чем тут еще Шиллер? Сегодня — будто это тебе в Москве премьера в Художественном театре. А возьми Анисью!.. Ничего не понимаю, — настоящий самородок... Какие движения, благородство... Какие страсти! Красавица при этом.

Размахивая руками, он опять заслонил свет, Даша сказала:

— Иван, ты можешь не ходить по комнате?..

В голосе ее было давно, давно им не слышанное раздражение: облокотясь о подушку, она глядела пристально потемневшими глазами. Иван Ильич сразу осекся, подошел к постели, присел на край. Не скрываясь, струсил.

— Иван, — и она села в постели, — Иван, я давно хотела тебе задать один вопрос. — Она быстро провела пальцами по глазам. — Это очень трудно, но я не могу больше...

По его лицу она увидела, что он понял — какой будет этот вопрос, и все же она сказала, потому что тысячу раз повторяла его про себя:

— Иван, ты уже совсем не считаешь меня за женщину?

У него начали подниматься плечи, он пробормотал невнятное, взялся за голову. Даша пронзительно глядела на него, у нее еще была какая-то надежда... Неужели это приговор?

— Даша, Даша, так не понимать... Все-таки нужно быть великодушной.

— Великодушной? (Вот он — приговор!..)

— Я тебя, Даша, так люблю... Ты меня можешь ненавидеть... Хотя, в сущности, не знаю — за что?.. Органически, так сказать, отталкиваться... Это мне очень понятно... Полюбил я тебя на всю жизнь, тяжело ли мне, легко ли, это — честное слово — не важно... Сердце мое со мной, так и ты со мной... Живи покойно, будь счастлива...

Даша, слушая, трясла головой, он, морщась, с усилием говорил:

— Почему-то я всегда представлял твои бедные ножки, — сколько они исходили в поисках счастья, и все напрасно, и все напрасно...

Даша выпростала из-под одеяла голые худенькие ноги, соскочила на земляной пол и, подбежав, погасила огонек на столе.

. . . .

Иван Гора, вернувшись с Агриппиной со спектакля, зажег огарок и просматривал накопившиеся за день разные бумажонки, — такая у него была привычка: прежде чем лечь спать, привести все в порядок. Агриппина, не снимая шинели и шапки, сидела в стороне от него, на лавке около двери.

— Ты тоже ничего себе сыграла, — говорил он, зевая и поскребывая шею. — Не расслышал я, что ты там пропищала, ролишка-то уж очень маленькая... Но — Анисья, Анисья! — Опустив нос к свечке, усмехаясь, он листал бумажки. — Чересчур она, пожалуй, как это говорится по-вашему, юбкой вертела — мужика чувствует, это у нее есть... Поберечь ее нужно, поберечь... А что думаешь — мало таких революция наверх вытянула? В этом все и дело... На этом все и спланировано, народ не серый, нет... Богатый народ... Воюем-то уж больно расточительно... Машин бы нам надо... Вот прочти... — Он разгладил один из листков. — Захватили мы танк голыми руками... Ведь это же варварство... Будь у меня сын, — я бы ему, сопляку, на груди выжег: помни, не забывай, кому обязан счастьем, чьи кости в бурьянах белеются...

Агриппина, прислонившись к стене, закрыв глаза, сжав губы, вспоминала самое жалобное про себя, что

могло припомниться... Как Иван Гора лежал ночью в степи, не шевелясь, не дыша, и ей было все равно тогда — живой он еще или уже мертвый. В винтовке у нее осталась последняя обойма... Агриппина не захотела уйти с другими, уж его-то она не бросила в той степи, ночью... Жалко, что там с той поры не валяются белые косточки Агриппины...

— Ты что спать не ложишься, Гапа?

Иван Гора заслонился ладонью от свечи и всмотрелся, — у Агриппины текли слезы из зажмуренных глаз, часто капали с длинных ресниц, черные брови высоко были подняты... Он собрал в полевую сумку листочки, подошел к Агриппине и присел на корточки перед ней.

— Ты чего, глупая... Устала, что ли?

— Жги, жги ему грудь, учи его, учи про белые косточки...

— Гапа, чего ты несешь?

Она ответила девчоночьим отчаянным голосом:

— На втором месяце я... Не видишь ты ничего... Знаешь одно — Анисья, Анисья...

Иван Гора тут же и сел у ног Агриппины. Рот у него самостоятельно раздвинулся, как у глупого...

— Гапа, а ты не врешь? Гапа, счастье какое, — неужто беременна? Милая ты моя, желанная, Гапушка...

И когда он так сказал, она — уже низким, бабьим голосом:

— Да ну тебя, уйди с глаз долой...

Потянулась к нему, обняла и припала, все еще всхлипывая, с каждым разом короче и слабее...

Третий разгром атамана Краснова под Царицыном вызвал оживление всего Южного фронта, нависшего тремя армиями — Восьмой, Девятой и Тринадцатой — над Доном и Донбассом. Враждовавшее казачество, казалось, готово было махнуть рукой на вражду, повесить седла в сарай, — пускай их пачкают голуби, — завернуть в сальные тряпочки винтовки, зарыть поглубже в землю. Какой черт выдумал, что под большевиками нельзя жить! Земля никуда не делась, вон она дымится на оголенных буграх под весенним солнцем, и руки при себе, и кони просятся в хомут, волы — в ярмо...

Главком из Серпухова торопил с наступлением. Пер-

воначальный порочный план главкома несколько менялся. Армии перестраивались на ходу: вместо движения по Дону, на юго-восток, красным армиям, в распутицу и бездорожье, приходилось поворачиваться на юго-запад, на Донец. Но делать это было уже поздно: столбовая дорога революции — пролетарский Донбасс — была закрыта крепко: за эти два месяца топтанья на месте дивизия Май-Маевского, ворвавшаяся в Донбасс, пополнилась сильными добровольческими частями, снятыми с Северного Кавказа после того, как там, в астраханских песках, была рассеяна Одиннадцатая красная армия. На правом берегу Донца стояло теперь пятьдесят тысяч отборных белых войск под командой Май-Маевского, Покровского и Шкуро.

Весна началась дружно. Под косматым солнцем разом тронулись снега, налились синей водой степные овраги, вздулся Донец, невиданно разлились поймы. Так как железнодорожные линии в этих местах шли по меридианам, перегруппировку приходилось производить грунтом, по бездорожью. Армейские обозы вязли в непролазной грязи, отрываясь от своих частей. Все это тормозило и замедляло перегруппировку. Переправы через широко разлившийся Донец были заняты белыми. Наступление выливалось в затяжные бои. И тогда же в тылу, в замирившейся станице Вешенской, неожиданно вспыхнуло организованное деникинскими агентами упорное и кровавое казачье восстание. Белые аэропланы перебрасывали туда агитаторов, деньги и оружие.

Только одна левофланговая Десятая армия, согласно приказу главкома, продолжала двигаться на юг вдоль железнодорожной магистрали, отбрасывая и уничтожая остатки красновских частей.

Десятая армия шла навстречу своей гибели.

В степь, на полдень, откуда дул сладкий ветер, больно было глядеть, — в лужах, в ручьях, в вешних озерах пылало солнце. В прозрачном кубовом небе махали крыльями косяки птиц, с трубными криками плыли клинья журавлей, — провожай их, запрокинув голову, со ступеньки вагона!.. Куда, вольные? На Украину, в Полесье, на Волынь и — дальше — в Германию за Рейн, на старые гнезда... Эй, журавли, кланяйтесь добрым

людям, расскажите-ка там, постаивая на красной ноге на крыше, как летели вы над Советской Россией и видели, что льды на ней разломаны, вешние воды идут через край, такой весны нигде и никогда не было, — яростной, грозной, беременной...

Даша, Агриппина, Анисья часто собирались теперь на площадке вагона, ошалелые от солнца и ветра. Эшелон шел на юг, а весна летела навстречу. Бойцы уже ходили в одних рубахах, расстегивая ворота. Иногда впереди, за горизонтом, постукивало, погромыхивало, — это передовые части Десятой выбивали из хуторов последние банды станичников. Без большого труда взята была Великокняжеская. Проехав ее, эшелон качалинского полка выгрузился на берегу реки Маныча и стал занимать фронт.

Сальские степи, по которым весной Маныч гонит мутные воды поверх камышей, пустынны и ровны, как застывшая, зазеленевшая пелена моря. Здесь, по Манычу, с незапамятных времен летели стрелы с берега на берег, рубились азиатские кочевники со скифами, аланами и готами; отсюда гунны положили всю землю пустой до Северного Кавказа. Здесь, сидя у войлочных юрт, калмыки слушали древнюю повесть о богатырских подвигах Манаса. Роскошны были эти степи весной, — напившаяся земля торопилась покрыться травами и цветами; влажные вечерние зори румянили край неба в стороне Черного моря, огромные звезды пылали до самого горизонта: из-за Каспия, как персидский щит, выкатывалось яростное солнце.

Штаб качалинского полка расположился в единственном жилом помещении в этой пустыне — за изгородью брошенного конского загона, в землянке, крытой камышом. Противника поблизости не обнаруживалось, армейские разъезды ушли далеко на юг — в сторону Тихорецкой и на запад — к Ростову. Бойцам трудно было растолковать, что пришли они сюда не рыбу глушить в Маныче гранатами, не тратить дорогие патроны по уткам на вечерней заре, — предстоит тяжелая борьба: армия брошена в тылы врагу, и враг этот — не доморощенный и еще не пытанный...

Иван Гора однажды вернулся из штаба дивизии, позвал Иван Ильича,— молча пошли на берег, сели над водой, закурили; красное сплющенное солнце опуска-

лось, застилаясь испарениями земли; кричали лягушки по всему Манычу, — нагло, громко квакали, ухали, стонали, шипели...

— Икру, сволочи, мечут, — сказал Иван Гора.

— Ну, чего же ты узнал?

— Все то же. Тревога, — все понимают, и ничего нельзя сделать: железный приказ главкома — наступать на Тихорецкую. Что ты скажешь на это?

— Рассуждать не мое дело, Иван Степанович, мое дело — выполнить приказ.

— Я тебя спрашиваю, что ты сам-то про себя думаешь?

— Что я думаю?.. А ты не собираешься ли меня расстрелять?

— Тьфу ты, чудак... Все вот так вот отвечают... Трусы вы все...

Иван Гора, сдвинув картуз, поскреб голову, потом у него зачесался бок; с берега под ногами оторвался кусок земли и с мягким всплеском упал в мутные водовороты. Лягушки орали со сладострастной яростью, будто собирались населить всю землю своим скользким племенем...

— Значит, ты считаешь правильной директиву главкома?

— Нет, не считаю, — тихо и твердо ответил Иван Ильич.

— Ага! Нет! Хорошо... Почему же?

— Мы и здесь уже почти оторвались от резервов, от баз снабжения; противник перережет где-нибудь нашу ниточку на Царицын,— тогда снимай сапоги. Не солидно это все.

— Ну, ну?..

— Наступать нам еще дальше на юг, на Тихорецкую, — значит, лезть, как коту головой в голенище. Ничего хорошего из этого не получится. Я еще мог бы понять, если наша армия послана для демонстрации, чтобы любой ценой оттянуть силы белых с Донбасса...

— Так, так, так...

— Но это слишком уж дорогое удовольствие — ради демонстрации угробить армию...

— Вывод какой твой?

Иван Ильич надул щеки, бросил погасшую собачью ножку в воду.

— Вот вывода-то я не делал, Иван Степанович...

— Врешь, брат, врешь... Ну уж — молчи. Без тебя все понятно... Ты мне как-то, Иван, рассказывал про твоего комиссара Гымзу, — помнишь, как он тебя послал... к главкому с секретным донесением на предателя Сорокина... Так вот... (Иван Гора оглянулся и понизил голос.) Я бы, кажется, сам сейчас поехал, и не в Серпухов к главкому, а в Москву, прямо туда... Где-то сидит сволочь, — в главном командовании, что ли, в Высшем военном совете, что ли... Да иначе и быть не может... война... Уж очень мы доверчивы... Если у нашего брата, у какого мысли — высоко, сердце — широко, — ему и кажется, что, кроме буржуев, весь мир хорош: руби честно направо и налево... Я присматривался в Питере к Владимиру Ильичу, — у него такой глазок русский, прищуренный... Энтузиаст, мыслитель, — руки заложит за пиджак, ходит, лоб уставит и вдруг — глазком на человека: всё поймет... Вот как надо... Я за тобой, за каждым движением, за каждым словом твоим слежу... А ты за мной не следишь, ты мне слепо доверяешь... Я тебе дам вредное задание, — ты промолчишь и выполнишь...

— Нет, не выполню...

— Ты же только что сказал: рассуждать не твое дело... Ну, а что ты сделаешь?

— Постараюсь разубедить, уговорить...

— Уговорить! Интеллигент... Стрелять надо!.. Ах, боже мой...

Иван Гора положил большие руки на картуз, на голову, уперся локтями в коленки. Он не рассказал Телегину про главное, про то, что вчера в дивизии на партийном собрании была прочитана телеграмма из Москвы председателя Высшего военного совета республики, — ответ на тревожный запрос командарма Десятой, — телеграмма высокомерная и угрожающая, в которой категорично подтверждались ранее данные директивы...

— А вот тебе и последние сведения: на правом фланге у нас сосредоточиваются четыре дивизии генерала Покровского, переброшенные с Донбасса, в лоб двигается корпус генерала Кутепова, он уже отрезал нам дорогу на Тихорецкую,— разгадал план главкома... На левом фланге накапливается конница генерала Улагая... А позади на четыреста верст — пустота...

— Вот это все и решает, — сказал Иван Ильич. —

Если хочешь мое мнение: немедленно эвакуировать всех больных, все лишнее отправить в тыл и быть налегке. Маныча нам не удержать...

Иван Гора ничего не ответил. Помолчав, с ожесточением плюнул в реку.

— За такие разговоры следовало и меня и тебя — в ревтрибунал... Сказано будет тебе: умереть на Маныче — и умрешь...

— От этого я не отказывался никогда, кажется, и не отказываюсь.

Второго мая за рекой показались разъезды кутеповцев. Сначала это были небольшие, сторожкие кучки всадников. Они сновали по степи, то приостанавливаясь, то во всю прыть под выстрелами мчались по сверкающим лужам. Их накапливалось все больше, они смелее приближались к фронту, спешивались и, кладя коней, обстреливали передовые заставы.

Третьего мая в грохоте орудийной стрельбы подошли главные силы Кутепова. Сосредоточиваясь в районе железной дороги, они уверенно последовательными волнами атаковали берега Маныча. Налетали бипланы-разведчики, непохожие ни на русские, ни на немецкие. Раскидывая воду и грязь, шли грузовики с понтонами. В тот же день ударная часть кутеповцев прорвалась через реку, в расположение морозовской дивизии, но была истреблена в штыковом бою.

К ночи цепи отхлынули и залегли. Нигде не зажигали костров. Стихла перестрелка, и ночь взошла над степью такая же тихая, влажная, пахнущая цветами. Заквакали, будто ничего особенного не случилось, наглые лягушечьи хоры. Некоторым людям, спавшим ухом к земле, чудился мягкий шорох травы, раздвигающей могильную тьму нежными и сильными ростками.

В штабной землянке у Ивана Ильича всю ночь шло совещание. Нетерпеливо ждали приказа из дивизии о наступлении, — для всех было очевидно, что такому врагу нельзя давать ни часу времени безнаказанно маневрировать и наносить удары там, где он хочет, по жидкому фронту Десятой армии, растянутой чуть ли не на полсотни верст, открытой и с флангов, и с тыла. Командиры доносили о настроении своих частей: красноармейцы возбуждены, не спят, шепчутся по окопам, — будь

это восемнадцатый год, весь полк сбежался бы на митинг, грозя разорвать командира, если тут же не будет приказа — вперед! Бывают такие особенные минуты отчаянности и злобы, когда все, кажется, возможно смести на пути своем.

В землянку вошел ротный командир Мошкин, — он только что перебрался по шею в воде через Маныч с того берега, где находился один взвод из его роты. Был он из царицынских металлистов, военное дело любил со страстью охотника.

— Симпатично у вас попахивает, товарищи,— сказал он, жмурясь от табачного дыма, в котором едва мерцала свеча. Прыгая то на одной, то на другой ноге, стащил сапоги, вылил из них воду. — Мои ребята ка́дета подранили, хотел его привести, жалко — кончился... Парнишечка — сопляк, но злой до чего,— «хамы, хамы!» — Ребята диву дались... Снаряжен, — сукнецо, ботиночки, ремешки... Что казаки! Казак — дурак, мужик, свой брат, — ты его тюк, он тебя тюк, и отскочил... А эти — такие белоручки беспощадные, ай-ай! Во взводе — одни офицеры, взводный — полковник. У каждого на руке — часы... Я уж моим ребятам сказал: вы, бродяги, про часы забудьте, к белым постам за часами не ползать, зубы разобью...

Мошкин засмеялся, открывая хорошие зубы, — добротой осветилось некрасивое, рябоватое, умное лицо его.

— Положение такое, товарищи: в степи — шум, давно мы его слышим, как смерклось. Послал разведчика, Степку Щавелева, — дух святой, а не человек... Уполз, приполз... Артиллерия, говорит, у них подошла и вроде как на телегах пехота... Готовьтесь, товарищи...

Иван Ильич, одурев от дыма, на минутку вышел из землянки на воздух. Среди поблекших звезд стоял острый, пронзительно светлый серп месяца. На изгороди из трех жердей сидели три женские фигуры. Иван Ильич подошел.

— Сказано — всем ночевать только в окопах, — я не понимаю!

— Нам не спится, — сказала Даша, сверху, с жерди, наклоняясь к нему.

И Даша, и Анисья, и Агриппина казались большеглазыми, худенькими, необыкновенными... И он не мог

разобрать — улыбаются оии ему или как-то особеиио морщатся.

— Мы здесь подождем, когда у вас коичится, — сказала Агриппииа.

— А я с ними, товарищ комаидир полка, разрешите остаться, — сказала Анисья.

— Слезьте на землю, ну что, как куры, уселись... Пули же летают, — слышите?..

— Виизу иавоз и блохи, а здесь поддувает хорошо, — сказала Даша.

— Это не пули, это — жуки, вы иас не обманывайте, — сказала Агриппина.

Даша, — опять иаклоияясь:

— Лягушки с ума сошли, мы сидим и слушаем...

Иваи Ильич обериулся к реке, только сейчас обратив внимание на эти вздохи, ритмические стоны томления и ожидаиия, и вот ои — победитель, большеротый солист, в три вершка ростом, с выпучеиными зелеиыми глазами — начинает песню и распевает, увереиный, что сами звезды слушают его похвалу жизни...

— Здо́рово, браво, — сказал Иваи Ильич и засмеялся. — Ну уж ладно, сидите, только, если что иачнется, — иемедленно в укрытие... — Он за плечо притяиул к себе Дашу и шепиул на ухо: — Черт знает, как хорошо... Правда?.. Ты очеиь хороша...

Он махнул рукой и пошел к земляике. Когда оии опять остались одни, Анисья сказала тихо:

— Век бы так сидеть...

Агриппина:

— Счастье-то кровью добываешь... Оттого оио и дорого...

Даша:

— Девушки мои, чего я только в жизни ие видела, и все летело мимо, летело, не задевая... Все ждала иебывалого, особеиного... Глупое сердце себя мучило и других мучило... Лучше любить хоть одиу ночь, да вот так... Все понять, всем наполниться, в одну иочь прожить миллион лет...

Она склонилась головой к плечу Анисьи. Агриппина подумала и тоже прислонилась с другой стороны к Анисье. И так они долго еще сидели иа жерди, спиной к звездам.

. . . .

Кутеповскую артиллерию корректировали новенькие бипланы, — покружась над разрывами, сбросив красным парочку бомб, они, как ястребы, планировали в степь к горизонту, к батареям, начавшим на рассвете сильный обстрел Маныча.

Для острастки противника из дивизии прилетела единственная, поднимающаяся на воздух машина — старый тихоходный ньюпор, отбывший службу в империалистической войне и кустарно отремонтированный в Царицыне.

На него страшно было глядеть, когда он, противно всем естественным законам аэродинамики, деревянный, с заплатанными крыльями, треща и — вот-вот — замирая, проносился над головами. Зато летал на нем известный всему Южному фронту и прекрасно известный белым летчикам Валька Чердаков — маленький, как обезьяна, весь перебитый, хромой, кривоплечий, склеенный. Его спрашивали: «Валька, правда, говорят, в шестнадцатом году ты сбил немецкого аса, на другой день слетал в Германию и сбросил ему на могилу розы?» Он отвечал писклявым голосом: «Ну, а что?» Известный прием его был: когда израсходована пулеметная лента,— кинуться сверху на противника и ударить его шасси. «Валька, да как же ты сам-то не разбиваешься?» — «Ну, а что, и угробливаюсь, ничего особенного...»

Когда увидели его машину, летевшую низко над степью, все повеселели, хотя веселого было мало. Бризантные снаряды рвались по обоим берегам Маныча, прижимая красноармейцев в окопы. Против одной нашей грохало без роздыху с их стороны, по крайней мере, шесть батарей. Цепи противника быстрыми перебежками, азартно и неудержимо приближались.

Валька Чердаков подлетел, покачал крыльями, приземлился неподалеку, вылез из самолета и, прихрамывая, ходил около него. К нему подбежали красноармейцы. Все лицо его было залито машинным маслом.

— Чего, ну, чего не видали? — сердито сказал он, вытаскивая из фюзеляжа чемоданчик с инструментами и запасными частями. — Отгоняйте от меня самолеты противника, — я буду работать.

Действительно, белые его заметили, и три их самолета начали кружиться над этим местом, — довольно высоко, так как красноармейцы стреляли по ним. Бомба

за бомбой падали и взметали землю. Валька, не обращая внимания, чинил маслопровод. Одна бомба разорвалась так близко, что самолет его качнуло и по крыльям забарабанили комья земли. Тогда он поглядел на небо и погрозил пальцем. Закончив ремонт, крикнул красноармейцам:

— Давай сюда, берись, крути пропеллер. — Влез в машину, уселся. — Товарищи, как вы крутите, это же не бабий хвост, а ну, не бойся вспотеть!

Мотор зачихал, запукал оглушительно, заревел, красноармейцы отскочили, машина, покачиваясь, подпрыгивая, покатила в степь так далеко, — казалось, сроду ей не оторваться, — и поднялась. Валька набрал высоту и начал кувыркать машину, чтобы хорошенько взболтать в баке дрянную смесь бензина со спиртом. Описав широкую мертвую петлю, с разгона пустился на противника. Но три биплана быстро стали уходить, не принимая боя.

Полетав над фронтом, сколько он нашел нужным, Валька Чердаков опять приземлился и послал Телегину записку:

«Видел восемь новых легковых автомобилей, на фронте — Деникин с иностранцами, это факт, примите во внимание. Два орудия противника подбиты. Обстрелял походную колонну. Лечу на базу за бензином...»

Деникин был на фронте. Прошло немного больше года с тех пор, как он, больной бронхитом, закутанный в тигровое одеяло, трясся в телеге в обозе семи тысяч добровольцев, под командой Корнилова пробивавших себе кровавый путь на Екатеринодар. Теперь генерал Деникин был полновластным диктатором всего Нижнего Дона, всей богатейшей Кубани, Терека и Северного Кавказа.

Деникин взял с собой на эту прогулку на фронт к генералу Кутепову военных агентов — англичанина и француза, чтобы им стало очень неприятно и стыдно за Одессу, Херсон и Николаев, позорно отданные большевикам. Хотя бы регулярная Красная Армия выбила оттуда французов и греков! Мужики, партизаны, на виду у французских эскадренных миноносцев, изрубили шашками в Николаеве целую греческую бригаду. В панике,

что ли, перед русскими мужиками отступили победители в мировой войне — французы, трусливо отдав Херсон, и эвакуировали две дивизии из Одессы... Чушь и дичь! — испугались московской коммунии. Антон Иванович решил наглядно продемонстрировать прославленным европейцам, как увенчанная эмблемой лавра и меча его армия бьет коммунистов.

У него затаилась еще одна обида: на решение Совета десяти в Париже о назначении адмирала Колчака верховным правителем всея России. Дался им Колчак. В семнадцатом году он сорвал с себя золотую саблю и швырнул ее с адмиральского мостика в Черное море. Об этом сообщили газеты чуть не во всем мире. В это время генерал Деникин был посажен в Быховскую тюрьму, — газеты об этом молчали. В восемнадцатом Колчак бежит в Северную Америку и у них, в военном флоте, инструктирует минное дело, — в газетах печатают его портреты рядом с кинозвездами... Генерал Деникин бежит из Быховской тюрьмы, участвует в «ледовом походе», у тела погибшего Корнилова принимает тяжелый крест командования и завоевывает территорию большую, чем Франция... Где-то в парижской револьверной газетчонке помещают три строчки об этом и какую-то фантастическую фотографию с бакенбардами, — «женераль Деникин»! И правителем России назначается мировой рекламист, истерик с манией величия и пристрастием к кокаину — Колчак!

Антон Иванович не верил в успех его оружия. В декабре колчаковский скороиспеченный генерал Пепеляев взял было Пермь, и вся заграничная пресса завопила: «Занесен железный кулак над большевистской Москвой». Даже Антон Иванович на одну минуту поверил этому и болезненно пережил успех Пепеляева. Но туда, на Каму, послали из Москвы (как сообщала контрразведка) комиссара Сталина, — того, кто осенью два раза разбил Краснова под Царицыном, — он крутыми мерами быстро организовал оборону и так дал коленкой прославленному Пепеляеву, что тот вылетел из Перми на Урал. Этим же, несомненно, должно было кончиться и теперешнее наступление Колчака на Волгу — ведется оно без солидной подготовки, на фуфу, с невероятной международной шумихой и под восторженный рев пьяного сибирского купечества...

— Тактика у нас несколько иная, чем вы, и мы, и немцы применяли в мировую войну, цепи — более редкие и со значительно бо́льшими интервалами, каждый взвод выполняет самостоятельное задание, — говорил Деникин, стоя в новеньком открытом щегольском фиате и рукой, в белой замшевой перчатке, указывая на четкое, как на параде, развертывание стрелковой бригады генерал-майора Теплова.

Рядом с главнокомандующим в машине стоял француз в небесно-голубом, тончайшего сукна френче и таких же галифе, на маленькой голове глубоко и ловко надвинуто бархатное кепи с золотым галуном; из-под бинокля, в который он глядел, торчали шелковистые усики; на боку алюминиевая фляжка с коньяком. С ума сойти, до чего комфортабельный француз! На подножке машины стоял, также глядя в бинокль, англичанин, — погрубее и одетый попроще, в хаки с огромными карманами, набитыми фотографическими катушками, табаком, трубками, зажигалками; фуражка его,—блином,— сдвинутая на нос, служила предметом обсуждения у русской свиты, стоявшей в почтительном отдалении. «Что там ни говори,— не умеют англичане носить форму, штафедроны! То ли дело кавалергардская фуражечка! А как носили фуражки царскосельские гусары ее величества, а? Идет такой барбос!»

Около машины на калмыцком жеребчике сидел неприветливый Кутепов — коренастый, полуседой, в расстегнутом бараньем полушубке; ради парада он надел перчатки и нацепил шпоры; маленькие глаза его были воспалены; он пятый день долбил этот проклятый Маныч и прекрасно понимал, что происходящее сейчас на глазах у этих франтов развертывание бригады Теплова — балет, который дорого обойдется бригаде.

— Особенность этой войны — ее большая маневренность, — объяснял Деникин. — Отсюда все значение, которое у нас приобретает конница. Здесь у меня решающее преимущество: Терек, Кубань и Дон дадут мне сто тысяч кадровых сабель...

— О ла-ла-ла-ла, — легкомысленно пропел француз, не отрываясь от бинокля.

— У красных конницы нет, и им не из чего ее создать, исключая бригады Буденного, наделавшей столько хлопот бедному экс-атаману Краснову...

— Сто тысяч седел и уздечек — их надо иметь, — сквозь зубы проговорил англичанин, тоже не отрываясь от бинокля.

— Да, в этом все и дело, — сухо ответил Деникин. Он сдержался, хотя ему очень хотелось сказать всю правду этим союзничкам, именно сейчас — среди своих войск, под грохот орудий (автомобили стояли всего в версте от батарей). Сказать, что они — лавочники, что вся их политика — близорукая, трусливая, копеечная,— на грош наменять пятаков... Доказано же им, как дважды два, что большевизм опаснее для них, чем двести пятьдесят германских дивизий. Так давайте же оружие, сколько мне нужно, господа, если боитесь посылать в Россию ваших солдат... Рассчитаемся после в Москве.

— А не хватит у меня седел — охлюпкой посажу казака на коня,— не удержавшись все же, хотя и не слишком резко, но без излишнего добродушия сказал Деникин и повернулся к переводчику. — Переведите им обоим, что значит — «охлюпкой».

Переводчик, предупредительный до отвращения, южного типа молодой человек, вдруг вместо ответа начал с ужасом тянуть в себя воздух. И сейчас же Кутепов крикнул, задирая лошади голову и шпоря ее:

— Господа, немедленно — под машину!

За шумом боя не заметили, как подлетел прямо на автомобили желтый неуклюжий самолет. Никто даже не успел выстрелить по нему, — он круто взмыл. Перегнувшись с него, маленький, вихрастый Валька Чердаков швырнул две лимонки, — ручные гранаты, — одну прямо в капот великолепного фиата, другую около... Мелькнул оскаленными белыми зубами и ушел высоко.

Генерал Деникин, англичанин и француз успели все же кинуться под автомобиль, — особенно трудно было залезть под него Антону Ивановичу с его животиком и в толстой шинели. Отделались только испугом. Свита, как разбрызганная, кинулась в стороны, успел отскакать и генерал Кутепов.

Добровольцы напирали с невиданной злобой. Много их лежало на ровной степи, ткнувшись носом. Но все новые и новые цепи продвигались к Манычу. Под на-

стильным огнем легких пулеметов они — то там, то там — поднимались, нагибаясь, перебегали и накапливались на той стороне реки. Телегин приказал вынести из землянки полковое знамя и снять чехол с него.

Решительная минута наступала. Артиллерия белых перенесла огонь на качалинские резервы и там подняла сплошной вал земли. С того берега несся ливень свинца. Не ложась, набегали последние цепи добровольцев. Сразу пулеметный огонь прекратился, и сотни людей бросились в Маныч с таким ожесточением, что закипела вода, — потрясая винтовками, шли по грудь, по шею, плыли, вскидывались, пораженные пулями, барахтались, тонули, — по телам их лезли новые и новые... Шириною река была здесь всего саженей в тридцать... Никаким пулеметным огнем нельзя уже было остановить обезумевших людей, орущих без памяти... Но напрасно генерал-майор Теплов, стоя на том берегу в камышах, махая шашкой и крича: «Вперед, вперед!» — рассчитывал, что столь устрашающий порыв атаки заставит красных в панике отхлынуть и побежать.

Качалинцы весь день ждали этой минуты, и те, у кого тоской закатывалось сердце, пережили томность, закостенели в злобном напряжении. Когда атака началась, командиры и коммунары, вцепившись в рубаху ли, в штаны ли, удерживали красноармейцев: «Стреляй, стреляй...» Чудовищная ругань катилась по окопам. Немало здесь было таких, кто парнишкой или уже в возрасте зимою на льду, на мосту или посреди улицы, — туго подтянув кушак, надев кожаные рукавицы, — ломил стена на стену, конец на конец. В крови была старая лихацкая охота кулачных боев. «Ах, гады, ах, гады!..» И злоба дебелила сердце... «Пусти, так твою так!!!» С диким вскриком, уставя штык, первым кинулся из окопа Латугин... За ним с пологого берега навстречу атакующим хлынули красноармейцы: «Ура, ура, ура!..» И в ответ гады: «Ура, ура, ура!...» Штыковой удар качалинцев был неудержимый, бешеный. Опрокинули тех, кто уже добрался до берега, кинулись в воду, дрались уже на середине реки, колотя прикладами, швыряя гранаты, схватываясь врукопашную... Где же было офицерам, хоть и боевым, да нежным телом господским сынкам, выдержать против насадистых, выси-

гивающих из воды, кидающихся на плечи деревенских парней, донбассовских шахтеров, волжских портовых грузчиков, лесокатчиков... Над взволнованным Манычем, покрасневшим от крови, стояли вопли, лязг оружия, грохот рвущихся гранат. Белых ломили, теснили, и они уже стали вылезать на тот берег. Генерал-майор Теплов бросил новые подкрепления. Тогда комиссар Иван Гора взял у знаменосца полковое знамя, — вишневого шелка с золотой звездой, пробитое пулями в прежних боях, — высоко поднял его, и окруженный коммунарами, побежал на тяжелых ногах к Манычу.

Выше по реке, там, где начала спадать вода и на пойме обнажились заросли камыша, Телегин еще до начала атаки расположил резерв под командой Сапожкова. Когда Иван Гора взял знамя, Телегин оставил командный пункт, вскочил на лошадь и поскакал на пойму. Он заехал в камыши и закричал красноармейцам, которые полдня лежали в грязи, как кабаны:

— Товарищи, противник бежит, не давай ему опомниться!

Полтораста бойцов, таща на руках тяжелые пулеметы, оставляя сапоги в вязком иле, — где ползком, где вплавь, — переправились под прикрытием камыша на ту сторону, вышли во фланг кутеповцам и ударили по ним. Исход боя был решен. Белые отхлынули от Маныча и под перекрестным огнем начали отступать и побежали. Далеко с правого их фланга, растянувшись по степи жидкой лавой и загибая наперерез им, мчались кавалеристы подоспевшего в помощь качалинцам эскадрона с соседнего участка.

Остатки бригады Теплова выходили из окружения. Только отдельные отставшие кучки белых падали под штыками красноармейцев. Дальнейшее преследование становилось опасным. Телегин приказал Сапожкову выровнять фронт и окапываться и поскакал туда, где в полуверсте ползло по степи полковое знамя. Он давно следил за ним — как оно переправлялось через реку, двинулось вперед, остановилось и вдруг поникло, и опять поднялось и, колыхаясь, двинулось вперед...

Мглистые тучи закрыли закатывающееся солнце, степь быстро темнела. Блеснули на горизонте кутеповские пушки, ширкнули снаряды, уносясь черт знает куда, и все затихло, — ночь прикрыла поле кровавого боя.

Покуда можно было еще видеть, Телегин ходил, разыскивая комиссара Ивана Гору. Встречные красноармейцы говорили про него разное. Все видели, как он со знаменем перешел Маныч. Но знамя потом нес уже комроты Мошкин. Но и Мошкина ранило. Под конец знамя оказалось в руках у одного здорового парняги. К Ивану Ильичу подошли Латугин и Гагин. Они остались единственными в живых из орудийной прислуги, когда снарядами вконец разбило их орудие, отслужившее свою верную службу.

Латугин сказал, с трудом разжимая зубы:

— Иван Ильич, вот страховище-то было, вспомнить жутко.

— К ребятам и сейчас опасно подойти к иному, — так же тихо сказал обычно молчаливый Гагин. — Дышат — во как, ребрами, того и гляди, штыком пхнет...

— Иван Ильич, вы Ивана Степановича, что ли, ищете?

— Да, да, ты его видел?

— Пойдемте.

Они пошли к реке, обходя трупы. Из темноты косгде слышались стоны, бормотанье. Перекликались санитары, отыскав раненого. Иван Ильич различил захлебывающийся шепот Кузьмы Кузьмича. Идущий впереди Латугин вдруг остановился и присел.

Иван Гора лежал ничком, большой и длинный, — как сразила его пуля в сердце, так и упал он, раскинув руки, будто обхватывая всю землю, не желая и мертвый отдать ее врагу.

Старые качалинцы, из тех, кто знал Ивана Гору еще красноармейцем, а потом ротным командиром, собрались ночью в поле и рассудили похоронить комиссара на видном и памятном месте, на высоком кургане на берегу Маныча.

Курганов было здесь разбросано достаточно, а этот один возвышался, как холм. Может быть, в древние времена его насыпали для ханской юрты, чтобы с высоты далеко были видны бесчисленные табуны на степи. Может быть, в еще более древние времена под ним скифы погребли своего вождя вместе с конем и любимой женой и на вершине уложили рядами срезанные лози-

ны и утвердили — острием к небу — огромный бронзовый меч, который они почитали как божество плодородия и счастья.

Комиссара Ивана Гору на поднятых руках перенесли через реку, положили наверху кургана на весеннюю траву, причесали ему волосы и покрыли его вытянутое тело полковым знаменем.

Ночь была тиха и ясна от лунного света. В ногах комиссара стал с обнаженной шашкой Иван Ильич, в головах — комиссар первой роты Бабушкин — петроградский коммунар. Красноармейцы проходили по очереди мимо, — каждый брал винтовку на караул.

— Прощай, товарищ...

Когда простились все и надо было браться, чтобы опустить комиссара в могилу, на курган опять взбежал Латугин.

— Сегодня, — крикнул он, — сегодня смертельные враги убили нашего лучшего товарища... Он нас учил — для чего мне дадена эта винтовка... Воевать правду! Вот для чего она у меня в руке... И сам он был правдивый человек, коренной наш человек... Нас учил, — уж если мамка тебя родила, запищал ты на свете на этом, — другого дела для тебя нет: воюй правду... Я прошу командира полка и комиссара Бабушкина принять от меня заявление в партию... Говорю это по совести, над этим телом, над знаменем...

. . . .

Комиссара похоронили. Поздно ночью Даша вызвала Иван Ильича из землянки и сказала, хрустя пальцами:

— Поди ты к ней, пожалуйста, уведи ты ее.

Она повела Ивана Ильича к кургану. Ночь потемнела перед рассветом, месяц закатился, степной ветерок посвистывал около уха.

— Мы с Анисьей исстрадались, она ничего не слушает...

На кургане у засыпанной могилы Ивана Горы сидела Агриппина, угрюмо опустив голову, шапка и винтовка лежали около нее. Поодаль сидела Анисья.

— Она, как каменная, главное — оторвать ее, увести, — прошептала Даша и подошла к Агриппине. — Видишь, командир полка тоже просит тебя.

Агриппина не подняла головы. Что людские слова, что ветер над могилой равно для нее летели мимо.

Анисья, продолжавшая сидеть поодаль, склонилась лицом в колени. Иван Ильич покашлял, сказал:

— Не годится так, Агриппина, скоро светать начнет, мы все уйдем на ту сторону, что же — одна останешься... Нехорошо...

Не поднимая головы, Агриппина проворчала глухо:

— Тогда его не покинула, теперь — подавно... Куда я пойду?

Даша опять прошептала, показывая себе на лоб:

— Понимаешь — помутилось у нее...

— Гапа, давай рассудим. — Иван Ильич присел около нее. — Гапа, ты не хочешь от него уходить... Так разве это только и осталось от Ивана Степановича? Он в памяти нашей будет жить, воодушевлять нас... Пойми это, Гапа, ты — его жена... А в тебе еще — плоть его живая зреет...

Агриппина подняла руки, сжала их перед лицом и опустила.

— Ты нам теперь вдвойне дорога... Дитя твое усыновит полк, подумай —какую ты несешь обязанность. — Он погладил ее по волосам. — Подними винтовку, пойдем...

Агриппина горестно покивала головой тому месту, у которого она сидела всю ночь. Встала, подняла винтовку и шапку и пошла с кургана.

Кровавые бои на Маныче продолжались до середины мая и затихли. Генерал Деникин, раздосадованный бесплодными усилиями Кутепова прорвать фронт Десятой армии и чрезвычайно большими потерями, вызвал его в Екатеринодар. У себя в кабинете, в присутствии высокомерного, презрительного Романовского, — несправедливо, с бросанием толстого карандаша на лежащие перед ним бумаги, — Антон Иванович говорил в повышенном тоне:

— В конце концов мы воюем или мы устраиваем цирковые представления для господ союзников? Мы не гладиаторы, ваше превосходительство! К чему все это лихачество? Скандал! Совершенно некультурная операция, партизанщина какая-то!

Кутепов хорошо знал Деникина и понимал, почему он так кипятится. Он молчал, угрюмо — вкось — глядя на маленький букетик цветов рядом с чернильницей.

— Вот прочтите, порадуйтесь. — Деникин взял верхний листочек из пачки бумаг. — Фронт красной Девятой армии прорван с ничтожными потерями для нас, прорван блестяще... Мы вступили в район казачьего восстания. Очевидно, на днях займем станицу Вешенскую... Но операции на Донце могли бы уже вылиться в широкое наступление — не свяжи мы здесь, на Маныче, столько наших сил. Мне стыдно, господа, за нашу стратегию... Весь мир смотрит на нас... Там они очень впечатлительны, будьте уверены... Пожалуйте сюда...

Он отыскал среди бумаг свое пенсне и подошел вместе с Кутеповым и Романовским к дубовому столу, где лежали военные карты.

План заключался в том, чтобы генералам Покровскому и Улагаю, закончившим сосредоточивание крупных конных масс на флангах Десятой, прорваться в тылы, разбить полевую конницу большевиков, захватить станцию Великокняжескую и в четыре-пять дней закончить полное окружение красных на Маныче.

Деникин вынул из бокового кармана тужурки чистый полотняный платок, пахнущий одеколоном, и стал протирать пенсне, — короткие пальцы его с блестящей сухой кожей слегка дрожали.

— Добрармия решает вопросы мировой политики. На западе — после провала Одессы, Херсона и Николаева — это начинают понимать... Мы должны действовать молниеносными и сокрушающими ударами, — аплодисмены в этой войне превращаются в транспорты с оружием... Я всегда предостерегал против авантюр, я не люблю азартных игр. Но я не люблю и проигрывать... Если наши успехи в Донбассе не приобретут размаха общего наступления в глубь страны и не закончатся Москвой, — я пущу себе пулю в висок, господа...

Красавец Романовский со всезнающей надменной улыбочкой постукивал папироской о серебряный портсигар. Косясь на него из-под наморщенного низенького лба, генерал Кутепов понял, откуда у Антона Ивановича вдруг такой размах мыслей. Здорово, значит, ему здесь накручивают хвост. Но Кутепов был не штабной, а полевой генерал: вопросы высшей стратегии казались ему слишком туманными и утомительными, его дело было на месте рвать горло врагу.

— Сделаем все, что можем, ваше высокопревосходительство,— сказал он,— прикажете взять Москву этой осенью — возьмем...

Третьи сутки, без глотка воды, без куска хлеба, качалинцы пробивались к железной дороге. Приказ об отступлении был дан двадцать первого мая. Десятая армия отхлынула от Маныча на север, на Царицын, с огромными усилиями и жертвами разрывая окружение. Дул сухой ветер, пристилая к земле полынь, — серой была степь, мутна даль, где волчьими стаями собирались кавалеристы Улагая.

Обозные лошади падали. Раненых и больных товарищей перетаскивали в телеги, на которых и без того некуда было приткнуться. За телегами, спотыкаясь, шли легко раненные и сестры. От жажды распухли и лопались губы. Воспаленными глазами, щурясь против восточного ветра, искали на горизонте очертания железнодорожной водокачки. Из широких степных оврагов не тянуло даже сыростью, а еще недавно здесь переправлялись по пояс в студеной воде, — хотя бы каплей той влаги смочить черные рты!

В одном из таких оврагов наткнулись на засаду: когда телеги спустились туда по травяному косогору, — близко раздались выстрелы, и, подняв коней, черт их знает, из-за какого укрытия, на смешавшийся обоз налетели казаки в расчете на легкую поживу. С полсотни снохачей-мародеров мчались по косогорам, выставив бороды. Но они так же легко и отскочили, когда из-за каждой телеги начали стрелять по ним,— винтовки были у каждого раненого; даже Даша стреляла, зажмуриваясь изо всей силы.

Казаки повернули коней, только один покатился вместе с лошадью. К нему побежали, надеясь взять на нем флягу с водой. Человек оказался в серебряных погонах. Его вытащили из-под убитой лошади. «Сдаюсь, сдаюсь... — повторял он испуганно, — дам сведения, ведите к командиру...»

С него сорвали флягу с водой да еще две фляги нашли в тороках.

— Давай его сюда живого! — кричал комроты Мошкин, сидевший с перебитой рукой и забинтованной головой в телеге.

Пленный офицер вытянулся перед ним. Такой пас-

кудной физиономии мало приходилось встречать: дряблая, с расшлепанным ртом, с мертвыми глазами. И пахло от него тяжело, едко.

— Вы кто — регулярные или партизаны?

— Иррегулярной вспомогательной части, так точно.

— Восстания в тылу у нас поднимаете?

— Согласно приказу генерала Улагая, производим мобилизацию сверхсрочных...

Обоз опять тронулся, и офицер пошел рядом с телегой. Отвечал он с живейшей готовностью, предупредительно, четко. Знал — как покупать себе жизнь, видимо, был матерый контрразведчик. Кое-кто из красноармейцев, чтобы слушать его, зашагал около телеги. Люди начали переглядываться, когда он, отвечая на вопрос, рассказал об отступлении с Дона Девятой красной армии и о том, как в разрыв между Девятой и Восьмой врезался конный корпус генерала Секретева и пошел гулять рейдом по красным тылам.

— Врешь, врешь, этого не было, — неуверенно сказал комроты Мошкин, не глядя на него.

— Никак нет, это есть, — разрешите: при мне сводка верховного командования...

Анисья Назарова слезла с телеги и тоже пошла с кучкой красноармейцев около пленного, Мошкин читал треплющиеся на ветру листочки сводки. Все ждали, что он скажет. Анисья слабой рукой все отстраняла товарищей, чтобы подойти ближе к пленному, — ей говорили: «Ну, чего ты, чего не видала...» Ноги ее были налиты тяжестью, голова болела, глаза будто запорошило сухим песком. Не пробившись, она обогнала товарищей, споткнувшись, схватилась за вожжи и остановила телегу. Никто сразу не понял, что она хочет делать. Вытянув шею, большими — во все потемневшее, истаявшее лицо — бледными глазами глядела на пленного.

— Я знаю этого человека! — сказала Анисья. — Товарищи, этот человек живыми сжег моих детей... Меня бил в смерть... В нашем селе двадцать девять человек запорол до смерти...

Офицер только усмехнулся, пожал плечом. Красноармейцы, сразу придвинувшись, глядели то на него, то на Анисью. Мошкин сказал:

— Хорошо, хорошо, мы разберемся, — поди ляг на телегу, голубка, поди приляг...

Анисья повторяла, будто в забытьи:

— Товарищи, товарищи, его нельзя оставить живого, лучше вырвите мне сердце... Обыщите его... Зовут его Немешаев, он меня помнит... Смотрите, узнал меня! — радостно крикнула она, указывая на него пальцем.

Десятки рук потянулись, разорвали на офицере пропотевший казачий бешмет, разорвали рубаху, вывернули карманы, — и — правильно — нашли воинский билет на имя ротмистра Николая Николаевича Немешаева...

— Ничего не знаю, не понимаю, — угрюмо повторял он, — женщина врет, бредит, у нее сыпняк...

Красноармейцы знали историю Анисьи и молча расступились, когда она, взяв у кого-то винтовку, подошла к Немешаеву, коснулась рукой его плеча, сказала:

— Пойдем.

Он дико оглянулся на серьезные лица красноармейцев, задохнувшись, хотел сказать что-то Мошкину, который отвернулся от него, продолжая читать листочки сводки; вцепился в обочье телеги, будто в этом было спасение. Но его отодрали, пхнули в спину:

— Иди, иди...

Тогда он изумленно пошел в степь, втягивая голову в плечи, ступая, как слепой. Анисья, идя — в десяти шагах — следом, подняла тяжелую винтовку, вжалась плечом в ложе.

— Обернись ко мне.

Немешаев живо обернулся, готовый к прыжку. Анисья выстрелила ему в лицо и, больше не глядя, не оборачиваясь, вернулась к товарищам, глядевшим неподвижно и сурово, как совершается справедливая казнь.

— Чья винтовочка, возьмите, — сказала Анисья и пошла к задней телеге, влезла в нее, легла и потянула на себя попону.

17

Катя поправляла диктант в школьных тетрадках. Эти тетради, нарезанные и сшитые из разных сортов обоев (писали на них только с обратной стороны), были крупным достижением в ее бедной жизни. За ними она самостоятельно ездила в Киев. До народного комиссара

дойти было легко. Наркомпрос, узнав, кто она и зачем приехала, взял ее за локти и посадил в кресло; из закопченного чайника, стоявшего на великолепном столе, налил морковного чая и предложил ей с половиной леденца; расхаживая в накинутом на плечи меховом пальто и в валенках по ковру, он развивал головокружительную программу народного просвещения.

— За десять — пятнадцать лет мы будем просвещенной страной. Сокровища мировой культуры мы сделаем достоянием народных масс, — говорил он с фанатической улыбкой, теребя бородку. — Предстоит гигантская работа по ликвидации неграмотности. Этот позор должен быть смыт, — это дело чести каждого интеллигентного человека... Все молодое поколение должно быть охвачено воспитанием от яслей и детских садов до университета... Никто и ничто не помешает нам, большевикам, осуществить на деле то, о чем могли только мечтать лучшие представители нашей интеллигенции...

Наркомпрос обещал Кате десять тысяч тетрадей, учебники, литературу, карандаши и грифельные доски. Она уходила от него по мраморной лестнице, как во сне. Но затем начались затруднения и неувязки. Чем ближе Катя придвигалась к тетрадкам и учебникам, тем дальше — в нереальность — отодвигались они и тем двусмысленнее, ироничнее или угрюмее становились люди, от которых зависело выдать ей по ордеру тетради и учебники. В гостинице, в нетопленном номере, где на кровати не было даже тюфяка и под потолком предсмертным накалом едва дышала электрическая лампочка, Катя предавалась отчаянию, сидя в шубе на егозливом диванчике.

Однажды к ней в номер — без стука — вошел рослый человек в косматой шапке, в перепоясанной куртке и — прямо к делу — спросил басовито:

— Вы все еще здесь? Я ваше дело знаю. Покажите, какие у вас там справочки...

Стоя под красноватой лампочкой, он просматривал документы. Катя доверчиво глядела на его насмешливое, сильное, красивое лицо.

— Сволочи, — сказал он, — саботажники, подлецы... Завтра пораньше приходите ко мне в городской комитет, устроим, чего-нибудь придумаем... Ну, будьте здоровы.

Через этого человека Катя получила со складов

обои, карандаши и целиком — реквизированную у одного эстета-сахарозаводчика — библиотеку, наполовину на французском языке. Самым утомительным, пожалуй, был обратный путь с этими сокровищами в товарном вагоне, куда на каждой остановке врывались бородатые, страшноглазые мужики с мешками и взбудораженные бабы, раздутые, как коровы, от всякого съестного добра, припрятанного у них под кацавейками и под юбками.

Оказалось, что у Кати есть кое-какая силешка. Не такой уж она беспомощный котенок, — с нежной спинкой и хорошенькими глазками, — мурлыкающий на чужих постелях.

Силешка у нее нашлась в тот вечер неудачного оглашения ее Алексеевой невестой. Катя заглянула тогда в уготованное ей благополучие деревенской лавочницы и попятилась так же, как остановится и с отвращением содрогнется человек, увидев на пути своем вырытую могилу. Могилой представились ей налитые водкой, жадные Алексеевы глаза — хозяина, мужа! В Кате все возмутилось, взбунтовалось, и было это для нее самой неожиданно и радостно, как ощущение сил после долгой болезни. Так же неожиданно она решила бежать в Москву, — когда станет потеплее. У нее нашлась и хитрость, чтобы все это скрыть. Алексей и Матрена только замечали, что она повеселела, — работает и напевает.

Алексей постоянно теперь за обедом, за ужином (в другое время его дома и не видели) подмигивал: «Невестится наша...» Он тоже ходил веселый, — добился решения сельского схода, ломал флигель на княжеской усадьбе и возил лес и кирпичи к себе на участок.

В начале января, когда Красной Армией был взят Киев, через село Владимирское прошла воинская часть, и Алексей на митинге первый кричал за Советы. Но вскоре дела обернулись по-иному.

В селе появился товарищ Яков. Он реквизировал хороший дом у попа, выселив того с попадьей в баньку. Созвал митинг и поставил вопрос так: «Религия — опиум для народа. Кто против закрытия церкви, тот — против Советской власти...» — и тут же, никому не дав слова, проголосовал и церковь опечатал. После этого начал отслаивать батраков, безлошадных бобылей и бобылок — а их было человек сорок на селе — ото всех остальных крестьян. Из этих сорока организовал ко-

митет бедноты. Собирая в поповском доме, говорил с напористой злобой:

— Русский мужик есть темный зверь. Прожил он тысячу лет в навозе, — ничего у него, кроме тупой злобы и жадности, за душой нет и быть не может. Мужику мы не верим и никогда ему не поверим. Мы щадим его, покуда он наш попутчик, но скоро щадить перестанем. — Вы — деревенский пролетариат — должны крепко взять власть, должны помочь нам подломать крылья у мужика.

Яков напугал все село, даже и членов комитета. На деревне известно каждое сказанное слово, и пошел шепот по дворам:

«Зачем он так говорит? Какие же мы звери? Кажется, русские, у себя на родине живем, — и вдруг нам верить нельзя... Да как это так — огулом всем крылья ломать? Ломай Алешке Красильникову, — он бандит.... Ломай Кондрашенкову, Ничипорову, — известные кровопийцы, правильно... А мне за мою соленую рубашку ломать крылья? Э, нет, тут чего-то не так, ошибка...» А другие говорили: «Батюшки, вот она какая Советская-то власть!..»

Когда Яков выходил со двора по какому-нибудь своему недоброму делу, неумытый, давно не бритый, в драной солдатской шинелишке и в картузе с оторванным козырьком, — но, между прочим, в добрых сапогах да, говорят, и под шинелишкой одетый хорошо, — изо всех окошек следили за ним, — мужики качали головами в большом смущении, ждали: что будет дальше?

В марте, когда вот-вот только начали вывозить навоз в поле, Яков созвал общее собрание и, опять грозя обвинением в контрреволюции, потребовал поголовной переписи всех лошадей, реквизиции лошадиных излишков и немедленного создания в княжеской усадьбе коммунального хозяйства... Сорвал возку навоза и весеннюю пахоту, неумытый черт!

Вскоре за этим в село приехал продотряд. Сразу стало известно, что Яков представил им такие списки хлебных излишков, что продотрядчики, говорят, руками развели. Яков сам с понятыми пошел по дворам, отмечая мелом на воротах — сколько здесь брать зерна...

«Да сроду я этих пудов-то и в глаза не видал!» — кричал мужик, пытаясь стереть рукавом написанное.

Яков говорил продотрядчикам: «Ройте у него в подполье...» Мужику страшно было перед Яковом креститься, — со слезами драл полушубок на себе: «Да нет же там, ей-богу...» Яков приказывал: «Ломай у него печь, под печью спрятано...»

Его стараниями начисто подмели село, вывезли даже семенную пшеницу. Алексея Красильникова он вызвал отдельно к себе в комитет, запер дверь, на которой был приколочен гвоздиками портрет председателя Высшего военного совета республики, на стол около себя положил револьвер и с насмешкой оглядывал хмурого Алексея.

— Ну, как же мы будем разговаривать? Хлеб есть?

— Откуда у меня хлеб? Осень — не пахал, не сеял.

— А куда лошадей угнал?

— По хуторам рассовал, по знакомцам.

— Деньги где спрятаны?

— Какие деньги?

— Награбленные.

Алексей сидел, опустив голову, — только пальцы у него на правой руке разжимались и сжимались, отпускали и брали.

— Некрасиво будто получается, — сказал он, — ну, налог, понятно, — налог... А это что же: хватай за горло, скидавай рубашку...

— В Чека придется отправить...

— Да я не отказываюсь, надо так надо, деньги принесу.

Алексей дома прямо кинулся в подполье и начал выволакивать оттуда дорожные сумы, мешки и свертки с мануфактурой. В одной суме были у него николаевские и донские деньги, — эти он рассовал по карманам и за пазуху. Другую суму, набитую керенками, — дрянью, ничего не стоящей, — дал Матрене:

— Отнеси в комитет, скажешь — других у нас не было. Они не поверят, придут сюда половицы поднимать, так ты не противься. Часы и цепочки брось в колодезь. Мануфактуру положи в тачанку, припороши сеном, ночью возьми у деда Афанасия лошадь, отвезешь на Дементьев хутор, я там буду ждать.

— Алексей, ты куда собрался?

— Не знаю. Скоро не вернусь — тогда по-другому обо мне услышите.

Матрена опустила на брови вязаный платок, концами его прикрыла суму с керенками и пошла в комитет. Алексей накинул крюк на дверь и повернулся к Кате, стоявшей у печи. Глаза у него были весело-злые, ноздри раздуты.

— Одевайтесь теплее, Екатерина Дмитриевна... Шубку меховую да чулочки шерстяные. Да вниз — теплое... Да быстренько, времени у нас в обрез...

Он глядел на Катю, расширяя глаза, вокруг зрачков его точно вспыхивали искорки, жесткие русые усы вздрагивали над открытыми зубами. Катя ответила:

— Я с вами никуда не поеду...

— Это ваш ответ? Другого ответа нет?

— Я не поеду.

Алексей придвинулся, раздутые ноздри его побелели.

— Одну тебя не оставлю, не надейся... Не для этого сладко кормлена, сучка, чтобы тебя другой покрывал... Барынька сахарная... Я еще до твоей кожи не добрался, застонешь, животная, как выверну руки, ноги...

Он взял Катю налитыми железными руками и захрипел, — она уперлась ему локтем в кадык, — в два шага донес до кровати. Катя вся собралась, с силой, непонятно откуда взявшейся, вывертывалась: «Не хочу, не хочу, зверь, зверь...» Вскакивала, и он опять ее ломал. Алексею было тяжело и жарко в полушубке, набитом деньгами. Он вслепую стал бить Катю. Она прятала голову, повторяла с дикой ненавистью сквозь стиснутые зубы: «Убей, убей, зверь, зверь...»

Крючок на двери прыгал, Матрена кричала из сеней: «Отвори, Алексей!..» Он отступил от кровати, схватил себя за лицо. Она сильнее стучала, он отворил. Матрена, — войдя:

— Дурак, уходи скорее. Сюда собираются...

Минуту Алексей глядел на нее, — понял, лицо стало осмысленнее. Захватил в охапку свертки мануфактуры, мешки и вышел. На единственном, оставленном при хозяйстве коне он уехал со двора задами через перелазы в плетнях, рысцой спустился к речке и уже на той стороне поскакал и скрылся за перелеском.

Немного позже Матрена достала из сундука юбку и кофту и бросила их на кровать, где, вся ободранная, лежала Катя.

— Оденься, уйди куда-нибудь, стыдно глядеть на тебя.

Яков с понятыми обыскал Алексеев дом от подполья до чердака, но того, что было припрятано в тачанке, не нашли. Матрена ночью привела лошадь и уехала на хутор. Всю ночь Катя, не снимая шубы, сидела в темной, настуженной хате, ожидая рассвета. Нужно было очень спокойно все обдумать. Как только рассветет, — уйти. Куда? Положив локти на стол, она стискивала голову и начинала всхлипывать. Шла к двери, где стояло ведро, и пила из ковшика. Конечно — в Москву. Но кто там остался из старых знакомых? Все, все растеряно... Тут же у стола она уснула, а когда сильно вздрогнула и проснулась, — было уже светло. Матрена еще не возвращалась. Катя поправила на голове платок, взглянула в зеркальце на стене, — ужасно! И пошла в комитет.

Она долго дожидалась на черном крыльце, когда в поповском доме проснутся. Наконец вышел Яков с помойным ведром, выплеснул его на кучу грязного снега и сказал Кате:

— А я собрался посылать за вами... Пойдемте...

Он повел Катю в дом, предложил Кате сесть и некоторое время рылся в ящике стола.

— Вашего мужа, или как он там вам приходится, мы расстреляем.

— Он мне не муж, никто,— быстро ответила Катя.— Я прошу только — дайте мне возможность уехать отсюда. Я хочу в Москву...

— «Я хочу в Москву», — насмешливо повторил Яков. — А я хочу спасти вас от расстрела.

Катя просидела у него до вечера, — рассказала все про себя, про свои отношения с Алексеем. Время от времени Яков уходил надолго, — возвращаясь, разваливался, закуривал.

— По инструкции Наркомпроса, — сказал он, — в селе нужно восстановить школу. Не очень-то вы подходите, но на худой конец — попробуем... Вторая ваша обязанность — сообщать мне все, что делается на селе. О подробностях этой корреспонденции условимся после. Предупреждаю: если начнете болтать об этом, — будете наказаны жестоко. О Москве покуда советую забыть.

Так, неожиданно, Катя стала учительницей. Ей отвели маленькую пустую хатенку около школы. Бывший здесь старичок учитель умер еще в ноябре от воспаления легких; петлюровцы, занимавшие одно время школу под

воинскую часть, спалили на цыгарки все книжки и тетради, даже географическую карту. Катя не знала, с чего и начать,— и пошла за советом к Якову. Но его на селе уже не было. Внезапно, так же как тогда появился, он уехал, получив какую-то телеграмму с нарочным, — успел сказать только деду Афанасию, который околачивался теперь около комитета бедноты, боясь утратить свое влияние:

— Передай товарищам, — поблажек мужичкам — ни-ни, никаких. Вернусь, — проверю...

С отъездом Якова на селе стало тихо. Мужички, приходя к поповскому дому посидеть на крылечке, говорили комитетчикам:

— Натворили вы делов, товарищи, как уж будете отвечать?.. Ай, ай...

Комитетчики и сами понимали, что — ай, ай, и на селе тихо только снаружи. Яков не возвращался. Прошел слух про Алексея Красильникова, будто он собрал в уезде отряд и перекинулся к атаману Григорьеву. А скоро все село заговорило про этого Григорьева, который выпустил универсал и пошел громить советские города. Опять стали ждать перемен.

В сельсовете Кате обещали кое-чем помочь: поправить печи, вставить стекла. Катя сама вымыла в школе полы и окна, расставила покалеченные парты. Она была добросовестная женщина и по вечерам одна у себя в хатенке плакала, потому что ей было стыдно обманывать детей. Чему она могла научить их — без книг, без тетрадей? Какие могла преподать правила, когда всю себя считала неправильной... И вот, рано утром, около школы раздались веселые голоса мальчиков и девочек. Ей пришлось собрать все самообладание. Волосы она гладко зачесала и завязала тугим узлом, руки чисто-чисто вымыла. Отворила школьную дверь, улыбнулась и сказала маленьким, задравшим к ней курносые носишки мальчикам и девочкам:

— Здравствуйте, дети...

— Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна... — закричали они так чисто, звонко, весело, что у нее вдруг стало молодо на сердце. Она рассадила детей по партам, взошла на кафедру, подняла указательный палец и сказала:

— Дети, пока у нас нет книжек и тетрадей и чем писать, я буду вам рассказывать, а вы, если чего не пойме-

те, то переспрашивайте... Сегодня мы начнем с Рюрика, Синеуса и Трувора...

Хозяйство у Кати было совсем бедное. С Алексеева двора она ничего не захотела брать, да и тяжело ей было встречаться с осунувшейся, мрачной Матреной. В Катиной хатенке лежал веник у порога, на шестке — два глиняных горшка да в сенях старая деревянная бадейка с водой. Утехой был маленький садик, обнесенный плетнем,— две черешни, яблоня, крыжовник. За плетнем начиналось поле.

Когда зацвели вишни, Катя почувствовала, что ей будто семнадцать лет.

В садике она обычно готовилась к урокам, читала французские романы из библиотеки сахарозаводчика и часто вспоминала Париж в голубой дымке прошлых лет. Тогда — в четырнадцатом году — она жила в предместье Парижа, в полумансардной квартирке с балконом, повисшим над тихой узенькой улицей, над крышей небольшого дома, в котором некогда жил Бальзак. Окна его кабинета выходили не на улицу, а в сады, спускающиеся к Сене. В его время здесь была глушь. Когда со стороны улицы появлялись кредиторы, он потихоньку удирал от них через сады на Сену. Теперь сады принадлежали какой-то богатой американке, и там по вечерам, когда Катя выходила на балкон, кричали павлины резкими весенними голосами, и Кате, приехавшей в Париж после разрыва с мужем, — в тоске, в одиночестве, — казалось, что жизнь уже кончена.

Дети полюбили Катю, на уроках очень внимательно слушали ее рассказы из русской истории, похожие на сказки. Конечно, задачи по арифметике, таблица умножения и диктанты были более трудным делом для детей и для самой Кати, но общими усилиями справлялись. На селе теперь к ней относились гораздо лучше, — все знали о том, как Алексей едва не убил ее. Женщины приносили кто молочка, кто яичек, кто хлеба. Что принесут, то Катя и ела.

Сидя под старой, покрытой лишаями яблоней, Катя правила тетрадки. За низеньким, тоже ветхим, плетнем давно уже хныкал маленький мальчик.

— Тетя Катя, я больше не буду.

— Нет, Иван Гавриков, я на тебя сердита, и я с тобой два дня не разговариваю.

Иван Гавриков — с голубыми, невинными глазами — был невероятный шалун. На уроках он тянул девочек за косицы; когда ему за это выговаривали, он будто бы засыпал и сваливался под парту, — нельзя даже описать всех его шалостей.

— Нет, нет, Гавриков, я прекрасно вижу, что ты не раскаиваешься, а пришел сюда от нечего делать...

— Раз-ей-боженьки, больше не буду...

В хату с улицы кто-то вошел, и голос Матрены позвал Катю.

Что ей было нужно? Катя быстро простила Гаврикова и пошла в хату. Матрена встретила ее пристальным, недобрым взглядом.

— Слыхала? Алексей близко... Катерина, не хочу я этого больше, не ко двору ты нам... Все равно — убьет он тебя... Зверем он стал, что крови льет! Ты во всем виновата... Один человек вот только что рассказывал — Алексей идет сюда на тачанках... Катерина, уезжай отсюда... Подводу тебе дам и денег дам...

Покуда Вадим Петрович лежал в харьковском госпитале, времени для всяких размышлений было достаточно. Итак, он оказался по эту сторону огненной границы. Этот новый мир был внешне непривлекателен: нетопленная палата, за окнами падающий мокрый снег, скверная еда — серый супчик с воблой — и будничные разговоры больных о еде, махорке, о температуре, о главном враче. Ни слова о неведомом будущем, куда устремилась Россия, о событиях, потрясающих ее, о нескончаемой кровавой борьбе, участники которой — эти больные и раненые люди с обритыми головами, в байковых несвежих халатах — то спали целыми днями, то тут же, на койке, играли в самодельные шашки, то кто-нибудь вполголоса заводил тоскливую песню.

Вадима Петровича не чурались, но и не считали его за своего. А ему впору было разговаривать с самим собой — столько накопилось у него непродуманного и нерешенного и столько воспоминаний обрывалось, как книга, где вырвана страница в самом захватывающем месте. Вадим Петрович принял без колебаний этот новый мир, потому что *это* совершалось с его родиной. Теперь надо было все понять, все осмыслить.

Однажды главный врач принес ему московские газеты. Вадим Петрович прочел их совсем иными глазами — не так, как бывало, заранее злобно издеваясь... Русская революция перекидывалась в Венгрию, в Германию, в Италию. Газетные строки были насыщены дерзостью, уверенностью, оптимизмом. Россия, раздавленная войной, раздираемая междоусобицей, заранее поделенная между великими державами, берет руководство мировой политикой, становится грозной силой.

Он начинал понимать будничное спокойствие товарищей в серых халатах, — они знали, какое дело сделано, они поработали.... Их спокойствие — вековое, тяжелорукое, тяжелоногое, многодумное — выдержало пять столетий, а уж, господи, чего только не было... Странная и особенная история русского народа, русского государства. Огромные и неоформленные идеи бродят в нем из столетия в столетие, идеи мирового величия и правдивой жизни. Осуществляются небывалые и дерзкие начинания, которые смущают европейский мир, и Европа со страхом и негодованием вглядывается в это восточное чудище, и слабое, и могучее, нищее, и неизмеримо богатое, рождающее из темных недр своих целые зарева всечеловеческих идей и замыслов...

И, наконец, Россия, именно Россия, избирает новый, никем никогда не пробованный путь, и с первых же шагов слышна ее поступь по миру...

Понятно, что с такими мыслями Вадиму Петровичу было все равно — какие там грязные ручьи за окнами гонят по улице мартовский снег и бредет угрюмый и недовольный советский служащий, с мешком для продуктов и жестянкой для керосина за спиной, в раскисших башмаках — заседать в одной из бесчисленных коллегий; было все равно — какой глотать суп, с какими рыбьими глазками. Ему не терпелось — поскорее самому начать подсоблять вокруг этого дела.

Украина очищалась от петлюровцев. Недавно был взят Красной Армией Екатеринослав. Петлюра еще цеплялся за Белую Церковь, но оттуда его наконец выбили, и он с остатками куреней ушел за границу, в Галицию. Впереди наступающих войск Красной Армии катился широкий вал партизанских восстаний. Их размах трудно поддавался учету и руководству. Они вспыхивали, как пожары, по селам и волостям, раздираемым жестокой

борьбой малоземельного крестьянства с крепким кулачеством. И те и другие выставляли отряды, сшибавшиеся со всей яростью — конные и пешие — в кровавых битвах. Повсюду шныряли, маскируясь и провоцируя, тайные агенты — петлюровские, деникинские и польские, и еще более темных и скрытных организаций. Советская власть была по городам да по магистралям железных дорог, а за ними в стороны — на полет снаряда с бронепоезда — бушевала война.

Вадим Петрович получил наконец долго ожидаемое назначение — в штаб курсантской бригады, где комиссаром был Чугай, в середине марта выписался из госпиталя — еще прихрамывающий, с палочкой — и поехал в Киев, в свою часть.

Отколовшаяся от атамана Григорьева банда Зеленого, громя сельсоветы и охотясь за коммунистами, подскакивала на сотнях тачанок к самому Киеву. По следам Зеленого на дорогах находили людей с содранной кожей, иных — посаженными на расщепленный пенек, комитетчиков он жег живыми в амбарах, евреев прибивал гвоздями к воротам, взрезывал животы, зашивал туда кошек. План ликвидации этой банды был разработан с участием Рощина в штабе наркомвоена. Сил было немного. Наркомвоен Украины выехал из Киева на пароходе, чтобы руководить операцией на месте.

Днепр был еще широк. Пароход шлепал колесами по ясной воде, возмущаемой лишь ленивыми водоворотами. Ни плеск колес, ни голоса курсантов не могли заглушить соловьиного пения по берегам, опушенным пахучей и клейкой зеленью, — в сережках, в пуху, в цыплячьей желтизне. На палубе было горячо от солнца, поднявшегося над разливом. Вадим Петрович стоял у борта и глядел на сверкающую воду.

Много было прожито весен, но никогда с такой силой не бродило в нем вино жизни... Да еще в самое неподходящее и непоказанное время... Туманилась голова неясными предчувствиями... Лучше и не лезь в карман за папироской, не хмурь брови, серьезный деловой человек, — не отряхнешься от налетающих очарований... Вон она, весенняя мгла, поднимается над разливом, над островками, над полузатопленными хатами, пронизанная

повисшим в ней огромным солнцем. Свет его мягко ложится на воду, на деревья с бледными и зыбкими отражениями, на спины коров, по колено зашедших в воду, на травянистый бугор, куда взобрался бык, озираясь на невиданное, неиспытанное чудо весны.

Странно, очень странно,— Рощин все это время, начиная с Екатеринослава, мало вспоминал о Кате. Как будто она отошла вместе с его прошлым, — слишком неразрывно была связана с жизнью, страстно им самим осужденной... Возвращаясь мыслью к Кате, — он возвращался к тому самому Рощину, увиденному им когда-то в парикмахерском зеркале: тогда у него не хватило отвращения, чтобы выстрелить, по крайности, хоть плюнуть в свое отражение, — теперь бы он сделал это.

Две весны тому назад его чувство к Кате, казалось, наполняло вселенную, — всю вселенную за его сморщенным лбом смертельно растерянного и обиженного человека. Тогда ему нужна была Катина любовь, особенно нужна была в одинокий час, в екатеринославской гостинице, когда он глядел на дверную ручку, на которой можно повеситься... А теперь — не нужна? Так, что ли? В Ростове предал Катю в первый раз, в Екатеринославе — во второй?

Он глядел на плывущие берега, втягивал всей грудью медовый влажный воздух и не чувствовал ни угрызений, ни раскаяний. Нет, в Екатеринославе предательства не было... Там кончался расчет с прошлым. И была Маруся... Пропела коротенькую, невинную, страстную песню о новой жизни, — вот об этом весеннем половодье, о неизмеримом, неизведанном счастье.

Бык, стоявший на травянистом холме, заревел, и на корме парохода засмеялись курсанты, кто-то из них тоже заревел, передразнивая. Рощин блаженно закрыл глаза. Разве смерть — безнадежность? Марусина смерть была светла. Смерть ее была как вскрик уходящего оставшимся: любите жизнь, возьмите ее со всею страстью, сделайте из нее счастье!..

Он не отложил попыток разыскать Катю. По его просьбе, из военного наркомата в уездные исполкомы Екатеринославщины и Харьковщины был послан запрос об Алексее Красильникове, но сведений о его местонахождении до сих пор не поступало. Большего Вадим Петрович сделать сейчас не мог,— эти несколько часов на па-

лубе парохода были единственным свободным временем за полтора месяца работы по восемнадцать часов в сутки.

К нему подошли Чугай и наркомвоен. Это был худощавый человек, в парусиновой толстовке, с покрасневшим от солнца лицом и глазами, влажными и будто пьяными, хотя он никогда не пил и ненавидел пьяных так, что едва не расстрелял хорошего человека, комбрига, застав его в халупе за баклажкой горилки... Указывая на высокий берег, где белела колокольня, наркомвоен говорил:

— Мое село... Бабушка, бывало, заслышит, гудит пароход, — беспокойная была старуха, — сейчас мне слив в лукошко, груш, орехов и гонит на пристань торговать... Ну — купец из меня не вышел...

— А у меня бабуня до-обренькая была, — сказал Чугай, — все по святым местам ходила, до десяти лет меня с собой брала — побираться...

Наркомвоен, — не слушая его:

— Потом уж отдали меня в кузницу — подмастерьем, она и сейчас, должно быть, стоит, вон — пониже колокольни. До сих пор люблю запах древесного угля, угара. Когда мне затылок отбили хорошо, я и подался в Киев, в паровозное депо, — вот как было... А потом уж — в Харьков, на механический...

Чугай, — не слушая его:

— Мастер я был гнусить на церковной паперти. Расцарапаешь себе чего-нибудь, морду кровью измажешь, глаза завел и — давай «Лазаря»... Потом с бабкой, бывало, драка у нас из-за копеечек.

Чугай повторил, уже рассеянно:

— Значит, драка у нас с бабкой...

Он глядел на берег, выдавшийся мысом, у которого Днепр заворачивал к луговому разливу. Выпуклые глаза Чугая напрягались. Он пришлепнул ладонью шапочку с ленточками и быстро пошел к капитанскому мостику...

— Эй, папаша, — крикнул он капитану — сухонькому старичку с висячими усами, — держи подальше к луговой стороне!

— Нельзя, товарищи, идем фарватером, а там же мели...

— Давай, давай не фарватером! — Чугай хлопнул себя по кобуре. — Давай круче!..

Пароход огибал мыс, и понемногу открывалось на покатом берегу большое село с высокой колокольней,

мельницами, белыми хатами и свежей зеленью низеньких, пышных садов.

— Видите, на отшибе, вон — чуть видна —хатенка, там я и родился, — говорил наркомвоен Рощину.

Чугай крикнул серьезно:

— Давай, зараза, круче лево руля!

На берегу стояло много телег, у берега — много лодок, к ним теснились люди, прыгая в лодки, и на одной уже торопливо гребли. Чугай в развевающемся бушлате бегом по трапу спустился на палубу. И почти одновременно хлестнули выстрелы с берега и лодок по пароходу и — с парохода загрохотали пулеметы. С плывущей лодки в воду посыпались люди. Толпа на берегу заметалась, кидаясь по тачанкам, и они вскачь, поднимая пыль, поскакали вверх по широкой улице. Загудел и набатно забил колокол на колокольне.

Стрельба и бегство длились всего несколько минут. Берег опустел. Чугай, весело поблескивая выпуклыми глазами, поднялся по трапу.

— Зеленый! Ну и сукин же сын, прорвался-таки! Вот, Вадим Петрович, тебе и план окружения! Что же, нарком, десант надо высаживать...

Банда Зеленого металась в окружении, как стая волков, была наконец прижата к железнодорожному полотну под огонь бронепоезда и уничтожена в густом орешнике, куда кинулись на прорыв бандитские тачанки. Все заросшее поле было там заранее перекопано, — четверни вспененных коней, поражаемые пулями и гранатами, взвивались из орешника, задние врезывались в телеги, ломая и опрокидывая их. Бандиты кидались по кустам, где их ждала смерть, — никто из них и не пытался молить о пощаде. Атамана Зеленого взяли под кучей прошлогоднего хвороста; когда его вытащили оттуда за ноги, курсанты удивились — думали: великан какой-нибудь страховитый, оказался — щуплый, корявый, плюнуть не на что, только бегающие глазки — бесцветные, ненавистные — выдавали его волчью породу. Ему скрутили руки, ноги, чтобы живым доставить в Киев.

Один отряд из его банды все же прорвался стороной и ушел на восток. В погоню за ним наркомвоен послал кавалерийский полк в триста сабель с Чугаем и Рощиным. Началась долгая и осторожная погоня. Бандиты

на хуторах сменяли лошадей, красные шли на бессменных, по следу. Выяснилось, что бандиты держат путь на село Владимирское. Об этом рассказали крестьяне в одной деревне, где у них за сутки до того бандиты реквизировали коней и пограбили — что могли взять наспех.

— Да уж кончили бы вы их, товарищи, поскорее, так, признаться, нам — ужас — надоели военные-то действия, — говорили крестьяне Чугаю и Рощину у колодца, где кавалеристы поили коней. — Атамана ихнего мы хорошо знаем: он из села Владимирского, Алешка Красильников, правильный был мужик, спору нет, но избаловался, такой, сатана, стал бешеный...

Так Вадим Петрович напал неожиданно на след Алексея, за которым гнался вторую неделю, на след Кати. Было от чего ему смутиться: от Кати отделял его один дневной переход. Какой найдет ее? Замученной, неузнаваемой? — такой, что лишь молча только прижать ее седую голову к груди... Седую, седую... «Ну, вот, Катя, теперь — отдохнешь, будем жить, надо жить...» Нет, нет, немыслимо, — покорной женой Алексея она не стала!.. А — вернее — в конце дневного перехода конь его остановится у Катиной могилы... И, может быть, так лучше для нее... Катин образ останется нетронутым, неоскверненным...

Полк быстро шел по пыльной дороге. Вадим Петрович покачивался в седле. Образ Кати путался и стирался в его суровой памяти. Какой найдет ее, — такой и примет в свою жизнь.

В селе Владимирском еще дымились сожженные хаты, еще со страхом дети приходили глядеть на лужи крови, не запорошенные золой, еще прятались по чужим дворам дрожащие, распухшие от слез женщины, когда Чугай и Рощин с двух концов двумя лавами ворвались в село. Но Красильникова там уже не было. Кто-то предупредил его, и он, после расправы с комитетчиками, зарубив саблями семнадцать человек и осьмнадцатого деда Афанасия, — этого уж прямо из озорства, — ушел со своими бандитами за какие-то полчаса до появления красных.

Крестьяне так были злы на него, что сбежались чуть не всем селом, окружив кавалеристов, под которыми шатались лошади.

— Догоните его, — кричали, — убейте Алешку, у него сил немного, у него патронов нет. Он далеко не ушел, мы знаем, куда они, сволочи, пошли... Вы их голыми руками возьмете.

— А что, граждане товарищи, — спросил Чугай, — дадите нам свежих коней?

— Дадим... Для этого — дадим.

— Сколько?

— Да полсотни наберем... Своих вы у нас оставите, потом обменяем... Ей-богу, ведь он нам жить не даст.

Покуда бегали за лошадьми да переседлывали, Вадим Петрович, разминая ноги, подошел к женщинам. Они, видя, что человек что-то хочет спросить, придвинулись.

— Красильникова я знавал в германскую войну, — сказал он. — Брат у него был женатый, а сам он, кажется, был не женат... Как он теперь? Семейный?

Женщины, не понимая еще, к чему он клонит, с охотой заговорили:

— Женатый, женатый...

— Да какой он женатый! Не жена она ему...

— Ну, жил просто с ней...

— И не так... Товарищ военный, я тебе расскажу... Выиграл он эту женщину в карты у Махны и привез ее сюда, хотел на ней жениться... Она, конечно, говорит ему, женись, только жить по-мужицки я не привыкла... Сама-то она из господских, красивая, молодая... А двор у Алешки еще в прошлую весну немцы сожгли... Вот он и давай строиться. А тут пошли эти дела с Яковом...

Третья женщина, еще более осведомленная, протискалась к Вадиму Петровичу:

— Слушай, бил он ее, так бил, товарищ командир, да не удалось ему, окаянному черту, ее убить... С марта месяца она у нас учительницей...

— Так, так, — проговорил Вадим Петрович, покашливая, — что же — она и сейчас здесь, в селе?

Женщины стали взглядывать одна на другую. Тогда четвертая, — только что подойдя:

— Увез он ее, в тачанке под сеном, живую, мертвую, — не знаем...

Маленький мальчик, глядевший очарованными глазами на Рощина, — на шашку с медной рукоятью, на пыльные сапоги со шпорами, на большие часы на руке,

на револьвер со шнуром, — совсем запрокинувшись, чтобы увидеть его лицо, сказал грубым голосом:

— Дяденька, врут они. Они про тетю Катю ничего не знают. Я все знаю.

Стоявшая за его спиной худенькая, с болячкой на губе, некрасивая девочка сказала:

— Дяденька, вы ему верьте, этот мальчишка все знает.

— Ну, что ты знаешь?

— Тетю Катю Матрена на станцию увезла. Тетя Катя не хотела ехать, да как заплачет, а Матрена — тоже как заплачет... Потом тетя Катя мне сказала: «Я вернусь, скажи детям...» Алешка на тачанках в село въезжает, а Матрена с тетей Катей с другого конца уехали!.. Как они на горку въехали, так с телеги меня согнали...

— По коням!.. — крикнул Чугай.

Вадиму Петровичу не удалось дослушать. Отряд на свежих лошадях, с пулеметными тачанками, двинулся из села. Рядом с Чугаем и Рощиным скакал, подкидывая локти, низенький черный мужик из тех, кому весь этот день пришлось отсиживаться в колодце по пупок в воде и тине. Он так и взобрался охлюпкой на лошадь, весь заскорузлый, в рваной рубахе, босиком, со взъерошенной бородой. Он повел отряд в обход к дубовому лесу, куда бандитам была одна дорога в этих местах.

Туда поспели еще засветло и начали окружать лес, оставляя один свободный выход бандитам, — в засаду. Низкое солнце из-под глянцевой листвы пробивалось между корявыми стволами. Лошадь под Вадимом Петровичем шла неспокойно — мотала головой, останавливаясь, покусывала себя за коленку, била задней ногой по брюху. Он наконец бросил повод и держал карабин обеими руками наготове. Лучи солнца, с золотящимися в них тучами комаров, пестрели и полосатили лес, — трудно было что-нибудь разглядеть впереди и в стороне от себя, где — справа и слева — редкой цепочкой, осторожно похрустывая валежником, пробирались спешенные курсанты сквозь поросль и высокий папоротник.

Где-то здесь, как предупреждал проводник, должна была попасться лесникова сторожка и дорога, по которой бандиты и могли только проникнуть в лесную чащобу. Мшистая крыша, осевшая седлом, показалась неожиданно в нескольких шагах. Вадим Петрович остановился,

вглядываясь из-за густой поросли. Негромко посвистал. Сильнее и ближе затрещали сучья под ногами курсантов. Он опять тронул лошадь, проехал сквозь кусты и увидел заброшенную сторожку, — на небольшой поляне около нее стояло несколько распряженных тачанок, валялась какая-то ветошь и тряпье. Бандиты отсюда ушли.

Вадим Петрович, держа наготове карабин, осторожно стал объезжать сторожку. Алексей Красильников так же осторожно пятился впереди него от одного угла к другому, намереваясь завладеть лошадью этого всадника. Рощин, оглядываясь, остановился у боковой стены, Алексей — у передней, с выбитым окном и сорванной дверью. Чтобы все сделать без шума, он держал только нож наготове. Когда Рощин выехал из-за угла,— Алексей с ножом кинулся на него, но Рощин успел загородиться карабином. Алексей, отпрянув, сильно ударился спиной о стену сторожки. Нож у него упал, он глядел на Вадима Петровича, на ожившего мертвеца. Завизжал в суеверном ужасе и, нагнувшись, побежал, беспорядочно махая руками.

— Алексей, — крикнул Рощин, рванул повод и поскакал за ним. Алексей вдруг, добежав до дерева, схватился за него в обнимку, прижался лицом к дубовому стволу. Рощин на скаку соскочил с седла и почти в упор стал стрелять в широкую, вздрагивающую спину Алексея.

— Здесь она жила?

— Ага.

Рощин, нагнувшись, перешагнул через порог в покосившуюся избенку об одно окошко, такое низенькое, что лопухи снаружи совсем закрыли его. В зеленоватом свете у окошка, на столе, тоже маленьком и низеньком, лежали тетрадки, сшитые из обоев, и несколько книг. Одна из тетрадей была раскрыта, и около — пузырек с чернилами и перо. Значит, Катя успела только выбежать. Он присел на корточки перед столом. Маленький мальчик, тихонько прикрыв рот рукой, начал давиться смехом и указывать глазами Рощину на печку.

В печном устье, на шестке, сидел галчонок с круглыми, глупыми глазами, — должно быть, вывалившийся из трубы, где было гнездо. Увидев, что на него обратили внимание, галчонок, подсобляя себе крыльями, бочком упрыгал в печку.

— Их там четыре штуки, — сказал мальчик, — ужо их переловлю...

Перебирая то, что лежало на столе, Вадим Петрович нашел Катин школьный дневник, где она записывала уроки и некоторые особенные происшествия. Почти каждая дневная запись кончалась: «Иван Гавриков опять шалил...» Или: «Даю себе честное слово три дня не разговаривать с Иваном Гавриковым...» Или: «Иван Гавриков опять ходил по самому краю крыши, чтобы напугать девочек. Я просто в отчаянии...»

— Кто это Иван Гавриков? — спросил Рощин.

— Я.

— Зачем же ты шалишь, огорчаешь Екатерину Дмитриевну?

Иван Гавриков тяжело вздохнул, голубые глаза его стали совсем невинными.

— Приходится... Я учусь-то хорошо. Ты посмотри у девчонков чистописание: забор — палки. Вот моя тетрадка. То-то, удивишься. Таблицу умножения всю знаю, хочешь, спроси? — Он изо всей силы зажмурился.

— Верю, верю.

Вадим Петрович сел на пол, поджав ноги, продолжал перелистывать дневник. В нем ни слова не было о себе. Но с каждой страницы будто поднималась к нему Катина вечная юность, доверчивая и чистая нежность. И он видел ее руку с голубоватыми жилками, ее теплые, ясные глаза...

— Девятью девять — восемьдесят один, что, не правда? — сказал Иван Гавриков.

— Молодец, молодец... Слушай, она тебе ничего не сказала — куда поехала?

— В Киев.

— Ты не врешь?

— Очень мне нужно врать.

— У нее, — может быть, ты знаешь, — где-нибудь еще спрятаны письма, тетрадки?

— Все тут... Я и эти нынче домой возьму, она наказывала — пуще глаза беречь тетрадки, а то мужики опять раскурят.

На последней страничке дневника он прочел:

«...Я почему-то верю, что ты жива и мы встретимся когда-нибудь... Ты представляешь — я вышла из долгой, долгой ночи... Мне хочется рассказать тебе о ма-

леньком мире, в котором я живу. Птицы за окошком меня будят. Я иду на речку купаться. Потом, по дороге, я пью молоко у тетки Агафьи, — я ей должна уже рубль шестьдесят копеек, но она подождет. Потом приходят дети, и мы учимся. Нам ничто не мешает, у нас нет никаких забот. Оказывается — человеку совсем не то нужно, что нам казалось нужным и без чего мы не могли жить... Прямо стыдно сказать — мне будто опять семнадцать лет, — я знаю, Дашенька, ты поймешь, о чем я хочу сказать... Меня только огорчает мой самый любимый мальчик, Иван Гавриков... Он необычайно...»

На этом письмо обрывалось, потому что не хватило больше места в тетради. Вадим Петрович подтянул Ивана Гаврикова, поставил его у себя между колен.

— Ну? Чего тебе подарить?

— Патрон.

— Пустого-то у меня нет...

— А ты выстрели, пойдем на двор.

Вадим Петрович поднялся с пола, сложил тетрадь и стал засовывать ее за гимнастерку.

— Эту тетрадку, Иван, я возьму.

— Ни, она заругает.

— Я тетю Катю скоро увижу и скажу ей, что взял... Пойдем на двор — стрелять...

13

Солнце в безветрии жгло пустынные улицы Царицына, где у подъездов с настежь распахнутыми дверями лежали груды мусора. Обыватели попрятались. Лишь на спусках к Волге погромыхивали вскачь ломовые телеги с казенным имуществом и учрежденскими архивами. Город доживал последние часы. На подступах к нему Десятая армия, сильно поредевшая после Маныча, едва сдерживала натиск свежей Северокавказской армии генерала Врангеля.

Еще работала телефонная станция, но в городе уже не было ни воды, ни электричества. Заводы остановились. Все, что можно было вывезти с них, было отвинчено, снято, разобрано и увезено на пристани. В рабочих слободах остались лишь малые да старые. Царицынский пролетариат, за эти десять месяцев понесший огромные жертвы на обороне города, не ждал пощады от белых, —

те, кто еще мог, дрались в армии, другие уезжали на крышах вагонов, на палубах и в трюмах пароходов. Люди уходили на север — куда глаза глядят. Догорали на берегу Волги лесные склады. Все явственнее и ближе слышались раскаты пушек.

Вся жизнь города сосредоточилась на вокзалах да на пристанях. Берег Волги был завален мешками, ящиками, частями машин и станков, — сотни людей, обливаясь потом, с криками и руганью ворочали все это и тащили по сходням на суда. Тысячи людей, в ожидании погрузки, стояли в тесных очередях или, молчаливые, голодные, лежали на берегу, глядя сквозь неподвижно висящую пыль на маслянистую воду, сверкающую под солнцем. Широкая Волга в конце июня обмелела так, что невиданно придвинулась с той стороны песчаная мель, где ходили нагишом, купались какие-то люди. Купались и на этой стороне между конторками, среди плавающего мусора в парной воде. Но даже от реки не веяло прохладой.

Один за другим к пристаням подчаливали ободранные и грязные пароходы, с них неслись бредовые крики. Палубы были переполнены беженцами и красноармейцами, — живыми среди трупов и стонущих, бормочущих, беснующихся в бреду сыпнотифозных. Десятки пароходов и буксиров, дожидаясь разгрузки и погрузки, терлись бортами о борта, гудели сипло. Все они прибыли снизу, из Астрахани и Черного Яра.

Осыпанные известью санитары бежали на палубы, шагали через лежащих больных, отбирали трупы и сбрасывали их на берег, чтобы очистить место для живых. Порошили известь и лили карболку. Был приказ — складывать трупы на берегу в лимонадные и квасные киоски. От жары трупы начали вздуваться и распирали эти легко сколоченные балаганы. Тяжелый смрад в особенности торопил людей покинуть царицынский берег. Над городом проплыли — тенями сквозь пыльное марево — врангелевские самолеты. Они сбросили бомбы в реку.

Люди прорывали заставы у пристаней, — цепляясь мешками за штыки красноармейцев, кидались на палубы. С треском туда же летели ящики, мешки. Пароход оседал так, что вода подходила к бортам.

В этой толчее, на берегу у самых сходен, стояла телега, в которой лежали Анисья и Даша. Привез их с

фронта Кузьма Кузьмич — согласно жесткому приказу командира полка: хоть самому сдохнуть, но обеих женщин эвакуировать не по железной дороге, но непременно пароходом. Телегин сказал ему:

— Товарищ Нефедов, вы никогда не выполняли более ответственного поручения. Вы их высадите и устройте там, где это будет возможно. Воруйте, убивайте, но вы должны их хорошо кормить... Отвечаете за их жизнь...

Кое-как прикрытые тряпьем, они лежали в сене на телеге, как два обтянутых кожей скелета. Анисья была уже в сознании, но слаба так, что не могла сама открыть рта. Кузьме Кузьмичу приходилось пальцем раздвигать ей зубы, чтобы дать попить из бутылки теплой воды. Даша, захворавшая сыпняком позже Анисьи, была в бреду и не переставая что-то бормотала тихим, сердитым голосом.

Кузьма Кузьмич пропустил уже много пароходов. Со слезами он умолял и прибегал ко всяким хитростям, прося людей помочь ему перетащить женщин на палубу, — в такой суровой обстановке его и не слушали. Прислонясь к телеге, он глядел воспаленными глазами на этот мираж, — на красноватые сквозь пыль отблески солнца на теплой душной реке и ревущие в нетерпении пароходы, набитые трупами. Снова послышался грозный рев моторов, — бомбы на этот раз взметнули землю где-то неподалеку, и пылью застлало всю набережную. Много людей кинулось в Волгу и поплыло к подходящему теплоходу, крича: «Кидайте концы...» Но концов им не кинули, и долго еще около его бортов крутились головы, как черные арбузы.

Теперь остался едва ли не последний пароход — желтый, низенький буксир с огромными измятыми кожухами колес. Он подваливал не к конторке, а — около нее — прямо к мосткам, где не было людей. Кузьма Кузьмич повернул телегу по глубокому песку и рысью первый подъехал к мосткам, побежал по ним и отчаянно замахал руками.

— Эй, капитан, товарищ, — закричал он серенькому старорежимному старичку на мостике, — я эвакуирую жену и сестру командующего фронтом, дело пахнет для вас расстрелом, давайте-ка мне двоих из команды — перенести женщин на буксир...

Возбужденное лицо его и решительные слова подействовали. Через борт на мостки перелез голый по пояс, мрачный, грязный кочегар в изодранных штанах.

— Где они у вас?
— Товарищ, вам одному не справиться...
— Ну да...
Кочегар подошел к телеге, взглянул на лежащих женщин, указал на Анисью:
— Эта, что ли, жена командующего фронтом?
— Эта, эта самая... Если что с ней не в порядке будет, — ну, прямо, всем расстрел...
— Чего вы мне вкручиваете, это же наш кок Анисья, — спокойно сказал кочегар.
— Вы очумели, товарищ, какой там кок...
— Да ты на меня не кричи, чудак. — Он легко вынул Анисью из телеги, взвалил на плечо, подкинул ловчее.
— Подсоби-ка — и эту, что ли, взять...
Захватил в охапку обеих женщин и пошел к буксиру, — доски гнулись под ним до самой воды.
Кузьма Кузьмич, очень довольный, тащил за ним мешок с хлебом и салом и сумку с медикаментами...

Утром третьего июля Степан Алексеевич, учитель гимназии, вытаскивал из подвальной кузни на дворик матрацы, подушки, кресла, обитые зеленым плюшем, стопки книг и рукописей. Выволок, шатаясь, огромную охапку пыльных штанов и сюртуков, юбок и шерстяных платьев, бросил все это на землю и раскрыл рот, вытирая рукавом ручьи пота. У него все было мокрое — желтые волосы и борода, парусиновые брюки и несвежая рубашка, прилипшая вместе с помочами к сутулым лопаткам.
Его матушка, сырая женщина в черном, сидя здесь же на венском стуле, слабо колотила палочкой ковер. Его параличная сестра, с выпуклым лбом и маленькой сплюснутой остальной частью лица, блаженно лежала в кресле на колесиках, в тени акации. Воробьи и те разинули клювы от жары.
— Мама, кажется, все, — сказал Степан Алексеевич, — я больше не могу! Господи, что бы я сейчас дал за кружку холодного пива!
— Степушка, у нас — ни капли воды, придется тебе, голубчик, взять ведро и сходить.
— Неужели, мама! Нельзя ли обойтись? Ах! Вот уж действительно проклятье!

Степан Алексеевич предался острому отчаянию: принести воды — значило спуститься на берег Волги, где еще лежали кучи пепла и обгорелых трупов, сожженных в квасных и лимонадных киосках, зайти по грудь в реку, где вода почище, зачерпнуть ведро и тащить его по щиколотку в песке в гору по такой адовой жаре...

— Нельзя ли кого-нибудь нанять, я бы, кажется, заплатил десять рублей за ведро. Свое сердце дороже, я думаю...

— Делай, как знаешь.

— Да, но ты, мама, предпочитаешь, чтобы я сам надрывался над этими ведрами...

Матушка не ответила, продолжая слабо ударять по ковру. Степан Алексеевич тяжело задышал, глядя на ее полное лицо со струйками пота.

— Где ведро? — тихс спросил он. — Где ваше ведро? — крикнул он таким неприятным голосом, что больная сестра под акацией проговорила умоляюще:

— Не надо, Степа...

— Нет, надо, надо! Буду вам носить воду, буду носить горшки! До конца жизни буду работать, как водовозная кляча! Черт с моим будущим, с моей карьерой, с моей диссертацией! Все кончено, разрушено!.. Вшивая пустыня, обгорелые трупы, кладбище!.. Никаким Деникиным ничего не восстановить!..

Он стал ломать мокрые от пота пальцы, как тогда, перед Дашей. Так или иначе он намеревался отвертеться от ведра воды. Неожиданно гулко ударил большой колокол на соборной колокольне, молчавший уже больше года. Ударил и поплыл над опустевшим городом торжественный звук, успокаивающий все волнения. Степан Алексеевич оборвал на полуслове, дергающееся худое лицо его вдруг успокоилось и даже стало глуповатым от улыбки.

— Степушка, — сказала мама, — надо тебе все-таки приодеться и сходить к обедне.

— Он неверующий, атеист, мама, — с тихой злобой сказала сестра из-под акации.

— Ну, что ж из этого, — по крайней мере, покажется, и так уж нас считают за каких-то красных...

— Мама, о чем ты говоришь! — болезненно воскликнул Степан Алексеевич. — Только что мы освободились от большевистских прелестей, ты уже торопишься тащить меня в мещанское болото... Именно, именно! —

оскалился он в сторону акации, где его сестра закрыла глаза, чтобы не слушать. — Кто считает меня за красного? Твои Шавердовы, Прейсы... Обыватели, ничтожества... Опуститься до них, — боже мой! Зачеркнуть тогда самого себя! Зачем было учиться, мыслить, мечтать! Я ненавижу большевиков не за то, что они загнали меня в подвал. И не за то, что увезли весь уголь с водопроводной станции... Нет, за то, что растаптывали мою внутреннюю свободу... Я желаю мыслить так, как велят моя совесть, мой гений. Я желаю читать те книги, которые меня вдохновляют... Но не желаю, слышите ли, не желаю читать Карла Маркса, будь он хоть тысячу раз прав... Я есть я!.. И совершенно так же, мамочка и сестрица, я не буду целовать руку вашему Деникину... По совершенно тем же соображениям...

Выговорив все это с сильнейшей жестикуляцией на сорокаградусном солнцепеке, Степан Алексеевич также совершенно непоследовательно вытащил из кучи одежды свой сюртук и брюки и спустился в подвал. Он появился через полчаса — одетый, в крахмальной сорочке, держа в руке форменную фуражку и трость. Никто на дворике больше не произнес ни одного слова. Он вышел на улицу и по теневой стороне зашагал к соборной площади.

Низенькие акации вокруг собора были серые от пыли, под ними сидели несколько оборванцев. Один — снизу вверх, прямо в глаза — с юмором взглянул на проходившего учителя гимназии.

— Ряд волшебных изменений чудного лица, — сказал он внятным баском.

За оградой стояла спешенная сотня казаков в защитных рубахах да взвод юнкеров, в полной парадной форме, с катанками через плечо, с котелками и лопатками, лежал на выжженной траве... Около паперти расположилась кучка граждан. Степан Алексеевич увидел приодевшегося в вышитую косоворотку елейного галантерейщика Шавердова, с женой и двумя детьми; маленького, растрепанного, суетливого типографщика Прейса — выкреста, с женой и шестью детьми. Степан Алексеевич кивнул им небрежно и вошел в прохладный собор, — из-за форменного сюртука его беспрепятственно пропустили, даже кое-кто посторонился.

Хотя собор еще сохранял следы запустения (при большевиках в нем помещался продовольственный

склад), стекла в огромных окнах были выбиты и на облупившихся стенах сохранились надписи: «Картошки 94 меш... Принял (неразборчиво)», но сияющий отсветом множества свечей золотой иконостас и дымок ладана, поднимающийся к куполу, и раскатывающиеся звероподобно под сводами возгласы дьякона, и бесстрастные детские голоса певчих — все это произвело на Степана Алексеевича смешанное впечатление: ему стало привычно торжественно, и так же привычно он испытал чувство приниженности, — торчавший независимо интеллигентский хвостик его сам собою поджался между ног.

Впереди стояло — лицом к алтарю — высокое начальство, диктаторы: десять генералов, низенькие и высокие, плотные и худые, в белоснежных кителях, с мягкими, широкими, золотыми и серебряными погонами. Каждый в согнутой левой руке держал фуражку, правой — при возгласах дьякона: «Господу помолимся...» — помазывал себя щепотью по груди. Впереди, отдельно на коврике, стоял генерал среднего роста, в просторной защитной куртке, в длинных брюках с лампасами; полуседые, зачесанные назад волосы его были как будто вытерты на затылке. Гораздо реже, чем другие генералы, он поднимал небольшую, полную, очень белую руку и крестился медленно, широко, плотно прикладывая щепоть к морщинам слегка откинутого лба.

Степан Алексеевич понял, что это— Деникин. Жадно разглядывая его, он все же не переставал — но уже совершенно бессознательно — усмехаться тонкими губами с едким скептицизмом. Один из офицеров, внимательно наблюдавший за ним, незаметно приблизился и стал рядом. Степан Алексеевич был поглощен противоречивыми переживаниями. Его особенно привлекала эта белая рука генерала Деникина. Кому не знакомы генеральские руки, их особенная медлительная вялость. Сколько ни старайся, руке особой важности не придашь, от этих тщетных попыток генеральская рука всегда смешна,—особенно когда начальник снисходительно свешивает ее вам для рукопожатия или когда он придает своим безмускульным сосискам значительность, сдавая карты или засовывая салфетку за шею. Все это так. Но белая рука Деникина хватала саму историю за горло, от ее движения армии устремлялись в кровавый бой...

Степан Алексеевич так разволновался от этих мыс-

лей, что не заметил, как окончилась обедня, на амвон вышел благочинный — низенький старик в очках — и, глядя на генерала Деникина, начал слово:

— Исторический приказ возлюбленного нашего вождя, главнокомандующего белыми силами Юга России, генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина, выжжен огненными знаками в каждом сердце русского православного человека. Главнокомандующий начинает свой приказ словами: «Имея своей конечной целью захват сердца России, Москвы, сего третьего июля приказываю начать общее наступление...» Господа, не разверзлось ли небо над нами, и глаз архангела Михаила созывает белое, чистое воинство...

Степан Алексеевич почувствовал щипание в носу, грудь его под размокшей крахмальной манишкой часто задышала, восторг охватывал его. Он видел, как Деникин медленно поднес ладонь ко лбу. Степан Алексеевич понял внезапно, что должен, должен поцеловать эту руку... И когда, через несколько минут, Деникин, приложась первый к кресту, пошел по ковровой дорожке, — простенький, с подстриженной седой бородкой, похожий на уютного дядюшку, — Степан Алексеевич в крайнем восторге стремительно шагнул к нему. Деникин отшатнулся, заслонился рукой, лицо его болезненно и жалко исказилось. Его сейчас же заслонили генералы. Степана Алексеевича кто-то схватил сзади за локти и сильно потянул вниз так, что подогнулись колени.

— Слушайте, слушайте, я хотел...

Офицер, схвативший его, бегал зрачками по его лицу.

— Вы как сюда попали?

— Я хотел только руку...

— Где пропуск?

Офицер продолжал оттирать Степана Алексеевича в толпу, не выпуская его. Около бокового выхода он кивком головы подозвал двух мальчишек-юнкеров с винтовками:

— Взять этого. В комендатуру...

«Как изволите убедиться, дорогой и многочтимый Иван Ильич, продрали мы до самой Костромы. Нигде по пути я не отважился высадиться, даже Нижний-Нов-

город не показался мне надежным местом в смысле военных случайностей. В Костроме мы и осели, на окраине города, над Волгой, в деревянном домишке с калиной и рябиной, все — честь честью... Городок привольный, стоит на холмах, как Рим, а уж тишина, а уж дичь!.. — но это нам и нужно.

Дарья Дмитриевна поправляется, хотя и медленно, — еще весьма слаба, я ее, как малого ребенка, беру из кровати и выношу во двор. Аппетит у нее, по всей видимости, волчий, хотя говорить она не может, но глазами показывает: поесть... Кроме глаз, у нее, пожалуй, ничего не осталось — личико с кулачок, — и часто плачет от слабости, просто так — текут слезы по щечкам. В бреду и без сознания она пробыла почти три недели, покуда мы шлепали колесами по Волге. Бред у нее был беспокойный и мучительный, душа ее непрерывно боролась с какими-то видениями прошлого. Значительную роль, как это ни покажется удивительным, играло у нее какое-то сокровище, какие-то бриллианты, доставшиеся ей будто бы после какого-то преступления. И весь бред был в том, что Дарья Дмитриевна разговаривала двумя голосами: один осуждал, другой оправдывался, — тоненький такой хнычущий голосок. Не стал бы я вам писать об этом, кабы не одно случайное и чрезвычайное открытие...

Твердо помня ваш наказ — кормить наших дорогих больных хорошо — и в этом ставя себе главную задачу, не раз я впадал в уныние и даже в панику. Время жесткое. Люди или мыслят большими категориями, чувствуя никак не меньше, как в объеме всего земного шара, либо с обнаженнейшим цинизмом спасают свою шкуру. И в том и в другом случае отсутствует бытовое милосердие: одного человека можно увлечь, другого можно напугать, но разжалобить, попросить фунтиков десять хлеба, ради голодных слез своих, — это обычно не удается.

Лишнее барахлишко, все, что мы захватили, я обменял на хлеб, яйца, рыбку. Сколько раз брало искушение — загнать Дарьи Дмитриевны драповое пальтецо, в котором она бежала осенью из Самары. Но — удерживался, и не столько из благоразумия, — глядя на осень, — сколько из-за того, что это пальтецо неизменно присутствовало, как некий, непонятный мне обличитель, в бреде Дарьи Дмитриевны. Значит, — приходилось прибе-

гать к хитростям, к обману доверчивых душ и прямому воровству. Выручала опять-таки хиромантия. Нацелишься на пристани на деревенскую бабу с мешком и начинаешь ей точить лясы, ища слабого места. А оно всегда находится, — жизненный опыт великая вещь. Заведешь разговор про антихриста, — на Волге сейчас о нем много говорят, особенно выше Казани. Много ли нужно, чтобы напугать глупую бабу? Нужно, чтобы она тебе поверила, и уже половина ее мешка — мое...

Не далее, как вчера, в день воскресный, утречком занимался я приведением в порядок туалетов Дарьи Дмитриевны. В Костроме я один, кажется, владею большой шпулькой ниток — факт немаловажный, к нам даже паломничают: пуговицу пришить к штанам или заплаточку там... Не стесняясь, беру за это разной снедью. Сижу на крылечке, развернул пальтецо Дарьи Дмитриевны: подкладка на нем, как вы, наверно, помните, фланелевая, шотландская, в клетку. Вот, думаю, если подкладку снять и сделать из нее прелестную юбочку? Старая-то у нее — как решето... А на подкладку загнать что-нибудь поплоше. И так меня одолела эта мысль, — спрашиваю Анисью Константиновну, она тоже: «Юбка будет хороша, порите...» Начал я пороть подкладку, — оттуда посыпались бриллианты, большой цены, тридцать четыре камушка... Вот вам и бред наяву! В тот же день показываю камушки Дарье Дмитриевне. И вдруг вижу,—вспомнила! В глазах у нее — мольба и ужас, и губами что-то хочет выразить... Говорить-то разучилась... Я наклоняюсь к ее бледным губкам, и пролепетала она первое слово за время болезни: «Выбросить, выбросить...»

Иван Ильич, без вас ничего не смею. Не знаю — откуда у нее это сокровище и почему оно ей так отвратно, не знаю, как поступить, — держать дома боюсь и выбросить считаю неразумным. Дарье Дмитриевне побожился, что, взяв лодку, уплыл на середину Волги и бросил туда камушки. Она сразу успокоилась, глазки ее просияли, как будто что-то наконец от себя оторвала прилипшее...

Извините, Иван Ильич, что так обо всем пишу подробно, но есмь многословен и болтлив. Исхитритесь — известите нас о вашем здоровье и о том — зимовать ли нам здесь, в Костроме, или подаваться в Москву?.. За всем тем остаюсь преданный до гроба вам и Дарье Дмитриевне Кузьма Нефедов...»

— Я взял с собой почту, — сказал Сапожков, влезая в плетеный тарантас и усаживаясь в сене рядом с Телегиным. — Поздравляю, Иван.

— Грустно это все, Сергей Сергеевич. По своей-то воле я бы так уж и остался командиром наших качалинцев. Новые люди, новые заботы, — не по мне это все.

— Чего стариком-то прикидываешься?

— Да пройдет, — устал немножко...

Лошади шли рысцой по проселочной дороге, плетушку встряхивало, налево темнел дубовый лес, направо на жнивье едва различались в сумерках кучки снопов, уложенные крестами. Пахло пшеничной соломой. Высыпали августовские звезды.

— А кто у тебя в бригаде будет начальником штаба?

— Назначат кого-нибудь.

Дорога свернула ближе к лесу, откуда слабо потянуло сыростью. Лошади начали пофыркивать.

— Мне писем нет, конечно? — спросил Телегин.

— Ой, прости, Иван, тебе письмо.

Иван Ильич сидел — согнувшись, усталый, задремывающий,— вдруг вскинулся:

— Как же ты, ах, Сергей Сергеевич! Где оно?

Сапожков долго рылся в сумке. Остановили лошадей и чиркали спичками, которые шипели и отскакивали. Телегин взял письмо, — оно было от Кузьмы Кузьмича, — и вертел его в пальцах.

— Толстое какое, сколько написал-то, — шепотом сказал Сапожков.

— А что? —так же шепотом спросил Телегин. — Это плохо?

Он выскочил из тарантаса и пошел к лесной опушке. Там торопливо начал ломать сучья, зажег спичку и дул на веточки.

— Да ты возьми сноп, он сразу займется. — Сапожков бегом принес ему пшеничный сноп и отошел. Солома сразу запылала. Телегин опустился на корточки, читая письмо. Сапожков видел, как он прочел, рукавом вытер глаза и опять начал читать. Значит, дело ясное. Сергей Сергеевич шмыгнул носом, влез в тарантас и закурил. Сидевший на козлах старик, которому хотелось поскорее вернуться домой, сказал:

— Как бы на поезд не опоздать, тут дальше дорога — один песок, да еще броду искать... Проканителимся...

Сапожков не стал глядеть на Телегина, когда тот подошел к плетушке, тяжело перегнув ее, влез и опустился в сено. Лошади тронули рысцой. На расстоянии трех миллионов световых лет над головой Сапожкова протянулся раздваивающейся туманностью Млечный Путь. Поскрипывало вихляющееся заднее колесо у плетушки, но старик на козлах не обращал на это внимания,— сломается так сломается, чего же тут поделаешь...

Телегин сказал придушенным голосом:

— Какая сила духа у нее. Вечная борьба за обновление, за чистоту, совершенство... Просто я потрясен...

— Да жива она?

— Ну, а как ты думаешь! В Костроме и поправляется...

Сергей Сергеевич живо обернулся к нему, и оба засмеялись. Сапожков толкнул его кулаком, и Телегин толкнул его. Потом он подробно рассказал содержание письма, опустив только случай с бриллиантами. Это были те самые драгоценности, о которых она прошлым летом писала отцу, так обнаженно борясь за жизнь и вместе уничтожая себя. Видимо, тогда же, в дни ее смятения, Даша зашила камушки в пальто. И она ни разу не упомянула о них Ивану Ильичу. Очевидно, забыла—это так на нее похоже, — забыла и вспомнила только в бреду. И — «выбросить, выбросить»,—у Ивана Ильича схватывало горло восторженным волнением... Конечно, во всей этой истории много было темного, но он никогда и не пытался до конца понимать Дашу.

— Мне одно ясно, Сергей Сергеевич, заслужить любовь женщины, скажем, такой, как Даша, — это большой выигрыш в жизни.

— Да, тебе здорово повезло, я всегда это говорил.

— Ох, как надо постоянно быть на высоте, Сергей Сергеевич! А ведь — срываешься... Ты ведь тоже, наверно, срываешься?

— У меня — совсем другое...

— Неужели у тебя нет вечной тоски — найти такую женщину, как моя Даша?

— Женщины как-то не играют такой роли в моей жизни... Я к этим вещам отношусь гораздо проще... Без хлопот...

— Поехал! Знаю я тебя... Сергей Сергеевич, жизнь у нас приподнятая: победа или смерть, — к этому все

сведено. И — живем! И еще как живем с этим! В отношениях с женщиной всякие мелочи должны быть устранены... Любовь надо беречь. Всегда будь начеку! Пробовал ты заглядеться в любимые глаза? Это чудо жизни...

Сергей Сергеевич не ответил, понемногу фуражка его совсем съехала на затылок, — он опять глядел на Млечный Путь.

— В той стороне где-то есть провал во вселенной, — сказал он, — беззвездное, черное место в виде очертания лошадиной головы... На фотографии это очень страшно. Настанет время, когда мы поймем,—совершенно просто и очевидно, — что ужаса непомерного пространства нет. Каждый атом нашего тела — та же непомерная звездная система. И в ту и в другую сторону — бесконечность. И мы сами — бесконечны, и все в нас бесконечно. И воюем мы с тобой за бесконечность против конечного...

Впереди показались неясные очертания огромных деревьев, но оказалось, что это невысокие прибрежные кусты. Запахло речной сыростью. Плетушка спускалась под гору. Лошади, сторожась, громко зафыркали и зашлепали по мелкой воде.

— Как бы нам в яму не угодить,— сказал старик. Но речку проехали благополучно. На той стороне он легко, как молодой, соскочил с козел и побежал сбоку плетушки, дергая вожжами и покрикивая. Лошади вынесли по песку на подъем и остановились, тяжело дыша. Старик взобрался на козлы. Отсюда до станции было уже недалече. Он обернулся:

— Не выйдет у него ничего из этих делов, только зря народ бьют. На деревне у нас так говорят: землю назад все равно не отдадим, силой с нами не справишься, сегодня не девятьсот шестой год, мужик окреп, ничего не боится. В Колокольцевке, — он указал в темноту кнутовищем, — с аэроплана бросили листок, мужики прочли,— значит, он предлагает выкупать землицу. Вот куда повернул,— уж не надеется, что мы даром отдадим... Ничего, мы подождем: как он прикатился, так и укатится... Ах, Деникин, Деникин!

. . . .

Утром Телегин и Сапожков приехали в штаб Южного фронта, в Козлов, в яблочное царство. Вот уж — матушка-Россия! Домишки с линялыми крышами, ге-

рани в маленьких окошках, да пролетающий клуб пыли вслед за драной извозчичьей пролеткой по горбатой булыжной мостовой мимо унылых телеграфных столбов с обрывками бумажных змеев на проволоках, да кирпичная лавка с навесом и — крест-накрест — досками заколоченной дверью, да босая девочка испуганно перебегает дорогу, таща кривоногого, переваливающегося братишку, да неубранный щебень разрушенной часовни около общественного водопоя на грязной площади, где раньше был базар, а теперь — пусто. За ветхими и наполовину разобранными заборами — тяжелые от румяных и зелено-восковых плодов яблони. И над садами, и над крышами летает веселая стая скворцов, враз показывая изнанку крыльев.

Здесь, кажется, так бы и прожил в безвременье обыватель еще тысячу лет, кабы вот не такая оказия — революция. А впрочем, и терять-то здесь ничего не жалко,— жизнь копеечная. Только что спали много.

— И ведь подумай,— говорил Сапожков, трясясь рядом с Телегиным в извозчичьей пролетке,— за морем секунды переводят на деньги, человека штампуют под чудовищным прессом, чтоб был пригоден для производства, как в бреду, у них валятся из фабрик товары, товары,— десять миллионов человек пришлось убить, чтобы на короткое время расторговаться. Цивилизация! А тут бумажные змеи на проволоках висят... Вон, гляди, дядька в окошке чешет спросонок всклокоченную башку... И прямо отсюда перемахиваем в неведомое,— строить всечеловеческую мечту... Вот, Россия-матушка!.. Весело жить, Ванька... Яблоками здорово пахнет, почти что как молодой бабенкой... Дожить бы! Чувствую — напишу я книжку...

Извозчик подвез их к штабу фронта, откуда изо всех раскрытых окон неслась трескотня пишущих машинок.

Дожидаясь приема, Телегин и Сапожков тут же узнали все военные новости. Общая картина была такова: вооруженные силы главнокомандующего Деникина, после короткой заминки, продолжают наступление на Москву тремя группами. Отрезая от центральной России хлебные края — Заволжье и Сибирь,— вдоль Волги движется Северокавказская армия генерала Врангеля (от которой в июле месяце Десятой армии удалось оторваться, пожертвовав Камышином); походный атаман

Сидорин с донской армией, восстановленной новым донским атаманом Богаевским,—ставленником Деникина,— жмет в направлении на Воронеж, имея во главе два ударных конных корпуса—Мамонтова и Шкуро; Добровольческая армия под командой Май-Маевского, талантливого, но всегда пьяного генерала, развивает наступление широким фронтом, одновременно очищая Украину от красных войск и партизанских отрядов и нацеливаясь своим кулаком,— гвардейским корпусом генерала Кутепова, на Орел — Тулу — Москву.

Военные успехи Деникина — налицо, снабжение у него великолепное, добровольческие полки, хотя и сильно уже разбавленные крестьянскими контингентами, дерутся уверенно, умело. Но в тылах у него настроение с каждым днем все более угрожающее (причем он катастрофически это недооценивает): Кубань хочет отделения, полной самостоятельности, и ему, чтобы навести там великодержавный порядок, пришлось повесить двух виднейших членов кубанской рады; на Тереке — кровавые раздоры; донское казачество, когда был объявлен поход на Москву, заговорило: «Тихий Дон был наш и будет наш, а Москву Деникин пускай сам себе добывает»; крестьянский вопрос в занятых добровольцами областях разрешается с военной простотой — поркой шомполами; сажают губернаторов, уездных начальников и царских жандармов, и мужики опять, как при германцах в прошлом году, пилят винтовки на обрезы и ждут Красную Армию; Махно, после того как ухитрился лично застрелить своего главного соперника — атамана Григорьева, открыто объявил вольный анархический строй по всей Екатеринославщине, собрал тысяч пятьдесят бандитов и грозится отобрать у Деникина Ростов, и Таганрог, и Крым, и Екатеринослав, и Одессу... Появились еще зеленые,— особая разновидность атаманщины,— убежденные дезертиры, и там, где леса и горы,— там и они под боком у Деникина.

Красная Армия, после тяжелых поражений Тринадцатой и Девятой и героического отступления Двенадцатой с Днестра и Буга, выровняла фронт. Настроение улучшается, и боеспособность растет главным образом потому, что идет массовый прилив коммунистов из Петрограда, Москвы, Иванова и других северных городов. Со дня на день ждут приказа главкома о контрнаступлении.

Оформив новые назначения,—Телегин — командиром отдельной бригады, Сапожков — командиром качалинского полка,— они в тот же день выехали обратно, всю дорогу рассуждая о полученных новостях; оба сходились на том, что грандиозный план Деникина повисает в пустоте, и то, что в прошлом году ему удалось на Кубани, повторить в Великороссии не удастся: там он побил Сорокина, а здесь ему придется схватиться с самим Лениным, с коренным, потомственным пролетариатом, да и мужик здесь жилистый,— здешний мужик Наполеона на вилы поднял...

. . . .

— Знамя вперед! Снять чехол!

Знаменосец и стоявшие с ним на карауле — Латугин и Гагин — шагнули вперед. Телегин, передававший полк новому командующему, Сергею Сергеевичу Сапожкову, был серьезен, хмуро сосредоточен, и даже обычный румянец сошел у него с загорелого лица. В руке держал листочек, на котором набросал речь.

— Качалинцы! — сказал он и взглянул на красноармейцев, стоявших под ружьем: он знал каждого, знал, у кого какая была рана и какая была забота, это были родные люди.— Товарищи, мы с вами исколесили не одну тысячу верст, в зимнюю стужу и в летний зной... Вы дважды под Царицыном покрыли себя славой... Отступая,— не по своей вине,— дорого отдавали врагу временную и ненадежную победу. Много было у вас славных дел,— о них не написано громких реляций, рапорты о них потонули в общих сводках... Это ничего... (Телегин покосился на листочек, лежавший у него в согнутой ладони.) Предупреждаю вас — впереди еще много трудов, враг еще не сломлен, и его мало сломить, его нужно уничтожить... Эта война такая, что в ней надо победить, в ней нельзя не победить. Человек схватился со зверем, — должен победить человек... Или вот пример: проросшее зерно своим ростком,— уж, кажется, он и зелен, и хрупок,— пробивает черную землю, пробивает камень. В проросшем семени вся мощь новой жизни, и она будет, ее не остановишь... Ненастным, хмурым утром вышли мы в бой за светлый день, а враги наши хотят темной разбойничьей ночи. А день взойдет, хоть ты тресни с досады... (Он опять озабоченно взглянул на записку и смял ее.) Признаюсь вам, товарищи, мне

не весело, тяжело будет без вас... Много значит — просидеть вместе целый год у походных костров. Покидаю вас, прощаюсь с вашим боевым знаменем. Хочу и требую, чтобы оно всегда вело к победам славный качалинский полк...

Иван Ильич снял фуражку, подошел к знамени и, взяв край полинявшего, простреленного полотнища, поцеловал его. Надел фуражку, отдал честь, закрыл глаза и крепко зажмурился, так, что все лицо его сморщилось.

. . . .

После проводов, устроенных в складчину Сапожковым и всеми командирами, у Ивана Ильича шумело в голове. Сидя в плетушке, придерживая под боком вещевой мешок (где между прочими вещами находились Дашины фарфоровые кошечка и собачка), он с умилением вспоминал горячие речи, сказанные за столом. Казалось — невозможно было сильнее любить друг друга. Обнимались и целовались и трясли руки. Ох, какие хорошие, честные, верные люди! Молодые командиры, вскакивая, пели за всемирную — словами простыми и даже книжными, но уверенно. Батальонный, скромный и тихий человек, вдруг захотел лезть на стол, и влез, и отхватил бешеного трепака среди обглоданных гусячьих костей и арбузных корок. Вспомнив это, Иван Ильич расхохотался во все горло.

Тележка остановилась при выезде из села. Подошли трое — Латугин, Гагин и Задуйвитер. Поздоровались, и Латугин сказал:

— Мы рассчитывали, Иван Ильич, что ты нас не забудешь, а ты забыл все-таки.

— Да, мы ждали,— подтвердил Гагин.

— Постойте, постойте, товарищи, вы о чем?

— Ждали тебя,— сказал Латугин, поставив ногу на колесо.— Год вместе прожили, душу друг другу отдавали... Ну, тогда прощай, если тебе все равно.— Голос у него был злой, дрожащий.

— Постой, постой.— И Телегин вылез из плетушки.

Задуйвитер сказал:

— Что мы здесь, в пехоте? — чужие люди! Что же нам,— век ногами пылить?

— Морские артиллеристы, ты поищи таких-то,— сверкнув глазами, сказал Гагин.

— В Нижнем сели, было нас двенадцать, — сказал Латугин,— осталось трое да ты — четвертый... Ты сел в тарантас — и до свиданьица... А мы — не люди, мы Иваны, серые шинели... Были и прошли. Да чего с тобой, пьяным, разговаривать!

Задуйвитер сказал:

— Теперь у вас, Иван Ильич, бригада, имеется под началом тяжелая артиллерия...

— Да иди ты в штаны со своей артиллерией,— крикнул Латугин. — Я капониры буду чистить, если надо! Мне обидно человека потерять! Поверил я в тебя, Иван Ильич, полюбил... А это знаешь что — полюбить человека? А я для тебя оказался — пятый с правого фланга. Ну, кончим разговор... По дороге остальное поймешь.

— Товарищи! — У Ивана Ильича и хмель прошел от таких разговоров.— Вы раньше времени меня осудили. Я именно так и рассчитывал: по приезде в бригаду — отчислить вас троих к себе в артиллерийский парк.

— Вот за это спасибо,— просветлев, сказал Задуйвитер.

А Латугин зло топнул разбитым сапогом.

— Врет он! Сейчас он это придумал. — И уже несколько помягче, хотя и погрозив Телегину согнутым пальцем: — Совести одной мало, товарищ, на ней одной далеко не ускачешь. Хотя и на том спасибо.

Телегин рассмеялся, хлопнул его по спине:

— Ну и горячка! Ну и несправедливый же ты человек...

— А на кой мне, к лешему, справедливость, — я не собираюсь людей обманывать. Только за то тебя можно простить, что ты прост. За это тебя бабы любят. Ну, ладно, не сердись, садись в тарантас.— И крепко схватил его за локоть: — Знаешь, как за товарища на нож лезут? Не случалось? — И шарил светлыми, широко расставленными, холодно-пылкими глазами по лицу и глазам Ивана Ильича.— Соврал ведь, а? Соврал?

Иван Ильич нахмурился, кивнул:

— Ну, соврал. А вы хорошо сделали, что напомнили, надоумили...

— Теперь правильно разговариваешь...

— Отпусти его, чего ты привязался... Опять — царь природы, царь природы,— прогудел Гагин.

Ни слова более не говоря, Иван Ильич простился с

ними, влез в плетушку и долго еще в пути усмехался про себя и покачивал головой.

До штаба отдельной бригады можно было долететь на самолете за один час, на лошадях — потратить сутки с гаком, Иван Ильич ехал по железной дороге четверо суток, пересаживаясь и до одури томясь на грязных, голодных вокзалах. Отдельного салон-вагона, как ему твердо обещали, разумеется, не было, последний отрезок пути пришлось ехать в теплушке, до половины загруженной мелом, непонятно кому и для чего понадобившимся в такое время. Кроме того, на нарах находился пассажир, с жирным лицом, похожим на кувшин в пенсне. Он все время мурлыкал про себя из Оффенбаха: «...ветчина из Тулузы, ветчина... Без вина эта ветчина будет солона...» А когда стемнело,— начал возиться со своими мешками, что-то в них перекладывая, вынимая, нюхая и опять засовывая.

Иван Ильич, который устал до тошноты и был голоден, начал отчетливо различать запахи разного съестного. Когда же этот мерзавец принялся колоть, посапывая, лупить и есть каленое яичко, Иван Ильич не выдержал:

— Слушайте-ка, гражданин, сейчас будет остановка, немедленно выкатывайтесь с вашими мешками.

Тот, в темноте, сейчас же перестал жевать и не шевелился. Через минуту Иван Ильич почувствовал резкий запах колбасы около своего носа и со злостью оттолкнул протянутую невидимую руку.

— Вы меня не так поняли, товарищ военный,— мягким теноровым голоском сказал этот человек,— просто предлагаю выпить и закусить. Ах! — Он вздохнул, и Телегин опять носом почувствовал, что колбаса тянется к нему. — Все у нас теперь принципы да принципы. Ну какой же в малороссийской колбасе особый принцип? — с чесночком да с жирком. Спирт есть,— по глотку.— Он выжидающе замолчал, и Телегин молчал.— Вы, наверно, принимаете меня за спекулянта или мешочника?.. Извиняюсь! Я артист. Может быть, я — не Качалов, не Юрьев, не Мамонт Дальский, упокой господи его черную душу. Вот был великий трагик! Вообразил, скотина, себя вождем мировой анархии, понравилось ему грабить московские особняки; а уж в карты с ним, бывало, и не садись... Фамилия моя — Башкин-Раздорский, небезыз-

вестная в провинции,— пишусь с красной строчки...— Он ожидал, должно быть, что Телегин воскликнет: «А! Башкин-Раздорский, ну как же, очень приятно...» Но Телегин продолжал молчать. — Два сезона играл в Москве, в Эрмитаже и у Корша... Владимир Иванович Немирович-Данченко начал уже вокруг меня петли делать. «Э, нет, — отвечаю я ему, — дайте мне, Владимир Иванович, еще поиграть досыта, тогда берите...» В восемнадцатом открылись мы у Корша «Смертью Дантона», — я играл Дантона... Рыкающий лев, трибун, вывороченные губы, бык, зверь, гений, обжора, чувственник... Что было! Какой успех! А дров нет, в Москве темнота, сборов никаких, труппа разбежалась. Мы — пять человек — давай халтурку по провинции, эту же «Смерть Дантона». В Москве наркомпрос Луначарский нам запретил, а уж в провинции мы распоясались,— в последнем акте вытаскиваем на сцену гильотину, и мне голову — тюк... Сборы— ну! Публика, не поверите, кричит: «Давай еще раз, руби...» Играли — Харьков, Киев,— это еще при красных, потом — Умань — в пожарном сарае, Николаев, Херсон, Екатеринослав. Черт нас понес в Ростов-на-Дону. Сыграли — успех дикий. Один офицер даже наладил стрелять из ложи в Робеспьера... И на другой день градоначальник вызывает меня и по-старорежимному лезет кулаком в рожу: «Молитесь богу за главнокомандующего Деникина, а я бы вас повесил... Вон из Ростова в два счета...» Да, тяжело сейчас с искусством. Мечемся по медвежьим углам, как цыгане. Декорации истрепали вдрызг, стыдно ставить... Гильотину нам в Козлове не позволили грузить в вагон, как предмет неизвестного назначения... Пожалуйста! — будем рубить мне голову топором! Спички у вас есть? А то бы я вам показал: голова у меня в мешке. В Малом театре в Москве бутафор сделал, — гений... А уж эта цензура! Приносишь экземпляр, товарищ читает, читает... Объясняешь: это исторический факт... Опять он муслит страницы... «А где здесь удостоверено, что это исторический факт?» Показываешь восторженную рецензию Луначарского... Он ее тоже читает... «А нельзя ли вам что-нибудь повеселее изобразить?» Так, знаете ли, дернет когтями по нервам... Не знаю, что сейчас с нами будет... Едем играть в Энск, в штаб отдельной бригады...

Неожиданно для него Телегин спросил:

— А где же ваша труппа?

— Рядом, в теплушке с декорациями. Робеспьер — на паровозе,— артист Тинский, слыхали, конечно, лучший Робеспьер в республике... Это уже будьте покойны: спирт он из-под земли достанет,— гений! — сейчас же садится на паровоз, и мы едем спокойно. Так как же, товарищ военный,— закусим? — не откажите...

— Да уж, пожалуй, не откажусь.

— Очень обяжете. — Башкин-Раздорский шарил по мешкам, кряхтя и шепча: «Куда, ну куда ее засунул...» В руку Телегину попало яичко, кусок колбасы, сухарь.— Отыграем в Энске и — в Москву... Спасибо,— поцыганили! На Неглинном проезде, в доме номер пять, во дворе, один армянин устроил закусочную,— гений! Сосиски, поджарки, все, что хотите. Милиция каждый день — обыск. В чем дело? — ото всех посетителей пахнет спиртом. Обыскивают и спирт найти не могут, и не найдут... У него бидон — на четвертом этаже, на чердаке, и присоединен к пустой водопроводной трубе. А внизу — в закусочной — раковина и обыкновенный кран. Открываете кран, наливаете себе стопочку спирту, и вы дома.

С наслаждением жуя колбасу и чувствуя умиление от глотка спирта, Телегин сказал ему:

— Я вам постараюсь предоставить все удобства, отдохните, прорепетируйте не торопясь,— и уж дайте нам хороший спектакль. В Энске вы будете моими гостями, я командир бригады...

— У-у-у-у, — тихо затянул Башкин-Раздорский, — так вот вы кто... А я-то все время смотрел на вас,— ох, думаю, вот она, моя смерть! Напустили вы страху! — говорю, говорю и сам не понимаю,— почему я еще не под откосом... Голубчик, сыграем мы вам, сыграем от души, для себя, по-актерски.

. . . .

Телегин с вещевым мешком вылез из теплушки. Разбитый керосиновый фонарь едва освещал на перроне несколько человек военных.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Иван Ильич, подходя к ним.— Поджидаете комбрига? Так это я, Телегин. Извините, что в таком виде...

Пожимая им руки, он с удивлением взглянул на одного — седого, небольшого роста, сухого, строгого, с хорошей выправкой... Когда шли через вокзал на темную

площадь, он еще раз покосился на него через плечо, но лица так и не разобрал. Ивана Ильича усадили в пролетку, и он долго ехал по непроглядному полю, где пахло свалками. У какого-то длинного дома, похожего на сарай с высокой крышей, остановились. Здесь Ивану Ильичу была приготовлена комната, только что выбеленная и пустая. На подоконнике горела свеча и стояла тарелка с едой, прикрытая тарелкой. Он бросил мешок на пол, снял гимнастерку, потянулся и, сев на чисто постеленную койку, начал стаскивать запачканные мелом сапоги.

В дверь тихо постучали. «Надо бы сразу задуть свечку, пойдут теперь разговоры, черт, ведь пятый час...» — с досадой подумал он и ответил:

— Да, войдите...

Быстро вошел тот самый, небольшого роста, седой военный, притворил за собой дверь и коротким движением поднял прямую ладонь к виску.

Телегин, наступив каблуком на до половины стянутый сапог, так и остановился, уставился на этого *двойника...*

— Простите, товарищ, — сказал он, — на перроне не совсем ловко вышло, но я уж решил представления, вообще дела отложить до завтра... Если не ошибаюсь, вы мой начальник штаба?

Военный, продолжавший стоять у двери, ответил коротко:

— Так точно...

— Простите, ваша фамилия?

— Рощин, Вадим Петрович.

Телегин начал беспомощно оглядываться. Раскрыл рот и несколько раз заглотал воздуху.

— Ага... Значит...— Лицо его задрожало, и он — уже шепотом: — Вадим?

— Да.

— Понимаю, понимаю... Очень странно... Ты — у нас, мой начальник штаба... Господи помилуй!

Рощин сказал все так же твердо, сухо:

— Иван, я решил теперь же поговорить с тобой, чтобы не создавать для тебя завтра неловкости.

— Ага... Поговорить...

Иван Ильич быстро натянул полуснятый сапог, поднял с пола и начал надевать гимнастерку. Вадим Пет-

рович, опустив лоб, следил за его движениями, как будто наблюдая, без нетерпения, без волнения.

— Боюсь, Вадим, что мы несколько не поймем друг друга.

— Поймем...

— Ты умный человек, да, да... Я горячо тебя любил, Вадим... Я помню прошлогоднюю встречу на ростовском вокзале... Ты проявил большое великодушие... У тебя всегда было горячее сердце... Ах, боже мой, боже мой...

Он подтягивал пояс, вертел пуговицы, шарил в карманах — то ли от величайшей растерянности, то ли чтобы как-нибудь оттянуть неизбежность тяжелого разговора.

— Ты, очевидно, рассчитываешь, что мы поменялись местами, и я, в свою очередь, должен проявить большое чувство... Есть оно у меня к тебе, очень большое чувство... Так мы были связаны, как никто на свете... Ну, вот... Вадим, что ты здесь делаешь? Зачем ты здесь? Расскажи...

— Для этого я и пришел, Иван...

— Очень хорошо... Если ты рассчитываешь, что я могу что-то покрыть... Ты умный человек,— условимся: я ничего не могу для тебя сделать... Тут в корне мы с тобой разойдемся...

Телегин нахмурился и отводил глаза от Рощина. А Вадим Петрович слушал и улыбался.

— Ты что-то затеял... Ну, понятно, что... И слух о твоей смерти, очевидно, входит в этот план... Рассказывай, но предупреждаю — я тебя арестую... Ах, как это все так...

Телегин безнадежно — и на него, и на себя, и на всю теперь сломанную жизнь свою — махнул рукой. Вадим Петрович стремительно подошел, обнял его и крепко поцеловал в губы.

— Иван, хороший ты человек... Простая душа... Рад видеть тебя таким... Люблю. Сядем. — И он потянул упирающегося Телегина к койке.— Да не упирайся ты. Я не контрразведчик, не тайный агент... Успокойся, — я с декабря месяца в Красной Армии.

Иван Ильич, еще не совсем опомнясь от своего решения, которое потрясло его до самых потрохов, и еще сомневаясь и уже веря, глядел в темно-загорелое, жесткое и вместе нежное лицо Вадима Петровича, в черные, умные, сухие глаза его. Сели на койку, не выпуская рук друг друга. Вадим Петрович начал рассказывать о всем том,

что привело его на эту сторону, — домой, на родину.

В самом начале рассказа Телегин перебил его:

— А где Катя,— жива она, здорова, где она сейчас?

— Я надеюсь, что Катя сейчас в Москве... Мы опять разминулись с ней, — в Киев я попал слишком поздно, перед самой эвакуацией... Но я нашел ее след...

— Но она знает, что ты жив и ты у нас?..

— Нет... Это и сводит меня с ума...

19

Прошло два месяца.

Наступление армий генерала Деникина остановить не удалось. Колчак, верховный правитель России, с последним отчаянным усилием нажимал на Урал. В Прибалтике горе-злосчастье взгромоздилось на плечи Седьмой красной армии, отступавшей по непролазной грязи от генерала Юденича, теряя и Псков, и Лугу, и Гатчину, и генерал уже отдал приказ по войскам: «Ворваться в Петроград...»

Советская республика была начисто отрезана от хлеба и топлива. Транспорта едва хватало для перевозки войск и огнеприпасов. Октябрьское небо плакало над русской землей, над голодными и цепенеющими городами, где жизнь тлела в ожиданин еще более безнадежной зимы, над недымившими заводскими трубами и опустевшими цехами, откуда рабочие разбрелись по всем фронтам, над кладбищами паровозов и разбитых вагонов, над стародревней тишиной соломенных деревень, где осталось мало мужиков, и снова, как в дедовские времена, зажигалась лучина и уже постукивал, поскрипывал кое-где домодельный ткацкий станок.

В это ненастное время генерал Мамонтов опять, во второй раз, прорвался через красный фронт и, громя тылы и разрывая все коммуникации, пошел со своим казачьим корпусом в глубокий рейд.

Над потрепанной картой, подклеенной слюнями, сидели Телегин, Рощин и комиссар Чесноков, новый человек (недавно присланный в бригаду на место их комиссара, заболевшего сыпняком), москвич, рабочий, надорвавший здоровье на царской каторге, истощенный

голодом и раньше времени состарившийся. Поглаживая залысый лоб, точно у него болело над бровью, он в десятый раз перечитывал очередной оперативный приказ главкома.

Телегин посасывал трубочку. За последнее время он бросил вертеть собачьи ножки и пристрастился к трубочке,— ее подарил ему Латугин, добыв на разведке у белого офицера. Она оказалась утехой и успокоительным средством в тяжелые минуты,— а их за последнее время было хоть отбавляй, — и, если долго ее не чистить, уютно посвистывала, вроде как самовар на столе в ненастный вечер.

Вадим Петрович, которому с первого взгляда была ясна вся бесперспективная истерика приказа, ждал, когда комиссар кончит свои размышления над этим штабным сочинением; откинувшись к бревенчатой стене, он зло мерцал глазами из-за полуприкрытых век.

Сидели они на хуторе, где расположился полевой штаб бригады, верстах в десяти от фронта. В обоих полках, которые в августе принял Телегин, за два месяца не осталось и трех сотен бойцов,— присылаемые пополнения трудно было назвать бойцами. Главное командование формировало их наспех, преимущественно из дезертиров, вылавливая «зеленых» по городам и деревням, куда они теперь стали подаваться, глядя на осенние дожди. Без обработки и подготовки их кое-как спихивали в маршевые роты и везли на фронт, где они должны были выполнять боевые задания, четко осуществимые только в движении красного карандаша по трехверстной карте в торжественно тихом кабинете главкома.

— Не понимаю,— сказал комиссар Чесноков и посмотрел на листочек с обратной стороны, хотя там ничего не стояло.— Общего смысла не понимаю...

Рощин ответил:

— И понимать нечего: академический приказ по фронту. Главком скушал за завтраком парочку яичек, чашку какао, закурил хорошую папиросу, подошел к карте. Начальник штаба, только того и ожидая, чтобы в одно прекрасное утро, как сон, миновало проклятое наваждение, вытаскивает двумя пальцами красный флажок, изображающий сто двадцать третий полк нашей бригады,— по сводкам отдела кадров в две тысячи семьсот штыков,— и перекалывает его изящно на сто

верст южнее: «Таким образом, заняв деревню Дерьмовку, мы создаем фланговую угрозу противнику...» Берет другой флажок, изображающий тридцать девятый полк нашей бригады,—в две тысячи сто штыков по сводкам отдела кадров,— перекалывает его юго-восточнее на девяносто пять верст: «Таким образом, тридцать девятый лобовой атакой и так далее...» Главком через дымок щурит глаз на карту и соглашается, потому что все равно у начштаба за ночь все продумано, линии и стрелки аккуратно проведены красными и синими чернилами, и потому,— так ли переставляй флажки, эдак ли,— результат получается один: оживленная деятельность на фронте... Что и требуется...

— Ну, знаешь,— перебил Чесноков, качая большой лысой головой. — Это, брат, не критика, это уже злоба...

— Да, злоба... Почему я должен молчать, если я так думаю... И Телегин так думает, и бойцы наши так думают и так говорят.

Телегин, не вынимая трубочки изо рта, тяжело вздохнул. В душе комиссара поднималась горечь, сомнения, растерянность—все, что он старался подавлять в себе. За десять лет царской каторги не то чтобы он отстал от жизни, но уж слишком много в ней появилось сложного,— такие омуты — не приведи бог... Высветлившееся за годы страданий сердце его с трудом воспринимало недоверие к людям, борющимся на стороне революции. Он сразу начинал любить такого человека, а не раз оказывалось— человек-то затаившийся. Рощин потому и нравился ему, что был зол, прям и не боялся ни черта, хоть приставь ему пушку между глаз.

— Ну, а что ж такое особенное говорят бойцы? — спросил комиссар.— Скоро выдадим теплые ватники да валенки — другие пойдут разговоры. Кто болтает? Дезертиры болтают? Пробьет его дождем до костей да в брюхе пусто, вот и стучит зубами...

— Когда мы выдадим валенки и ватники?—спросил Рощин.

— В главном интендантстве мне твердо обещали... Накладную видел... Полторы тысячи гусей колотых обещали, сала полвагона...

— Жареных райских птиц не предлагали?

Комиссар только крякнул, ничего не ответил на это. Действительно, кроме обещаний да бумажонок, он ниче-

го не мог предъявить в бригаду. Он ездил в Серпухов, и бранился по телефону, и перестал спать по ночам, шагая, по старой тюремной привычке, из угла в угол по избе... Что-то происходило непонятное,— всюду, куда толкался его здравый революционный смысл, вырастала загадочная преграда, в которой все путалось и все вязло.

— Ну, а что же все-таки они говорят?.. — спросил комиссар.

Рощин с яростью ткнул пальцем в приказ.

— Здесь сказано: силою двух рот занять деревню Митрофановку и хутор Дальний и удержать их. Деревню Митрофановку и хутор Дальний мы уже занимали однажды, согласно приказу главкома. И вылетели оттуда пулей. Совершенно то же самое повторится послезавтра, когда мы выполним то, что здесь написано.

— Отчего?

— Оттого... Эту позицию нельзя удержать, и мы не должны туда идти.

— Правильно,— кивнул трубкой Телегин.

— А мы пойдем, уложим сотню бойцов на этой операции, вклинимся в белый фронт, не имея никакой связи со своими, и, когда на нас нажмут справа и слева, немедленно выскочим из этого мешка, причем придется три раза переходить речку, где нас будут расстреливать на переправах, затем — ровное поле, где нас атакует конница, и — болото, где мы увязим половину телег.

— Позволь, в общем-то стратегическом плане для чего-нибудь нам нужны эта деревня и хутор...

— Нет... Взгляни на карту... Вот об этом и говорят бойцы — что ни смысла, ни цели, ни плана нет во всех наших операциях за последние два месяца... Топчемся на месте безо всякой перспективы, наносим бессмысленные удары, теряем людей, теряем веру в победу... Увидишь — сегодня ночью несколько десятков бойцов самовольно покинут фронт... А через месяц их привезут нам обратно... Что случилось, я спрашиваю, что происходит? Паралич!..

Похрипев трубочкой, Телегин сказал:

— Сегодня мне сообщили у нас в эскадроне,— откуда они, дьяволы, узнают? — Мамонтов будто бы опять прорвался через Дон и идет по нашим тылам.

Рощин схватил приказ, забегал по нем зрачками, бросил листочек и опять откинулся к стене.

— Очень возможно... Хотя здесь — ни намека...

В избу вошел дневальный, низенький бородатый дядька с грязным холщовым подсумком:

— Товарищ комбриг, вас лично требуют к телефону.

Телегин изумленно взглянул на комиссара, торопливо натянул шинель, вышел. Комиссар сказал, опять потирая лоб:

— Поверить тебе, Рощин, так — всю веру потеряешь. Что же получается? Измена, что ли, у нас?

— Ничего не предполагаю, не утверждаю. Но знаю, что дальше так воевать нельзя.

— Боевой приказ должен быть выполнен?

— Да, должен. Я его завтра и выполню...

Комиссар, подумав, усмехнулся:

— Смерти, что ли, ищешь?

— Это совершенно к делу не относится и меньше всего тебя касается... А кроме того, я не ищу смерти... Если бы ты к нам не вчера приехал, так знал бы, что полк этот приказ не захочет выполнить. А нужно, чтобы они его выполнили. Жизнь армии — в выполнении боевого приказа. Если этого нет, — развал, анархия, смерть... Я сам прочту приказ и поведу их в наступление... Считай эту операцию проверкой дисциплины... И на этом — кончим...

Вернулся Телегин, не вынимая рук из карманов шинели,— сел. Глаза у него были круглые:

— Товарищи, по фронту едет председатель Высшего военного совета. Через час будет у нас...

Прошел и час и другой. Моросил дождь. Эскадрон в полном составе и комендантская команда стояли на линейке, на выгоне, за хутором. Каплями дождя убрались завившиеся конские гривы, расчесанные холки и поседевшие шинели конников. Лошади натоптали грязь под копытами. Лошади все больше походили на падаль, вытащенную из воды,— ребра наружу, мослаки торчат, губы отвисли... Командир эскадрона Иммерман, бывший поручик гусарского гродненского, круглолицый, с мальчишеским вздернутым носом, в отчаянии поглядывал на Телегина. Позор! И еще не хватало, — откуда-то явился большеногий грязный щенок и, полный благодушного любопытства, сел перед эскадроном.

Иммерман зашипел, замахал на него, щенок только

насторожил уши, свернул голову набок. И вот, неподалеку на бугре стоявший конный махальщик, торопливо колотя каблуками, повернул лошадь и тяжелым галопом, кидая грязь, поскакал к Телегину.

Огромный блестящий радиатор, с широко расставленными фарами, дыбом взлетел на бугор, и показалась открытая светло-серая длинная машина.

От мощного ее рева лошади в эскадроне начали переступать и вскидывать головы. Иммерман скомандовал: «Смирно!» Машина остановилась, едва не задавив щенка, который боком отскочил в сторону, как ватный, и опять сел. Телегин подъехал, отсалютовал шашкой наугад кому-то из трех военных, сидевших в машине,— в рыжих чапанах поверх шинелей. Тот, кто сидел рядом с шофером, поднялся и, положив руку на ветровое стекло и не глядя на Телегина, принял рапорт.

Затем он резко повернулся к фронту. Двое военных на заднем сиденье,— один — бледно-бумажный, с мокрой бородой, и другой — полный, надутый, свирепый,— поднялись и взяли под козырек. Он заговорил лающим голосом, вскидывая лицо так, что чернели его ноздри и плясало на переносице запотевшее пенсне:

— Бойцы, именем рабоче-крестьянской власти приказываю вам острее наточить шашки и крепче привинтить штыки. Кто из вас не хочет напоить своего коня в устье тихого Дона? Только трус не хочет этого... Почему вы еще здесь, а уже не там? Республика ждет от вас легендарных подвигов. Вперед! Опрокиньте врага и развейте его прах по степи-матушке...

Он говорил все напористее, в том же роде. Кончил и оглянул фронт. «Ура!» — крикнул он, поднимая над головой стиснутый кулак, и бойцы разноголосо ответили. Смутила их эта речь. Будто человек с луны свалился. Чего-чего, а уж такой обиды, что обозвал их трусами,— они не ждали.

Кивком головы он подозвал Телегина:

— Я недоволен состоянием ваших бойцов, — это сброд на лошадях! Я недоволен состоянием ваших коней,— это клячи! Следуйте за мной...

Он упал на сиденье рядом с шофером. Огромная машина с места рванулась к хутору.

Телегин поскакал вслед, торопливо соображая, — пожалуй, не был бы верный расстрел...

Машина остановилась у избы полевого штаба. Телегин и за ним Чесноков, неумело плюхающийся в седле, подскакали. На крыльце стоял дежурный телефонист с испуганным лицом, у него дрожала рука, поднесенная к виску. Он глазами умолял Телегина о разрешении говорить. Заикаясь от усилия выражаться формально, он сообщил, что минуту тому назад его вызвал штаб бригады (все учреждения, имущество, казна и архивы бригады находились верстах в сорока севернее, в селе Гайвороны). Ему успели передать, что на село Гайвороны наскочили разъезды белых, не иначе как мамонтовцев, и тут же телефонная связь порвалась.

Надутый военный, — начальник штаба главкома, — тяжело сползая на колено, перегнулся к переднему сиденью и начал шептать председателю. Тот кивнул и — через плечо Телегину:

— Мои директивы вы получите полевой почтой.

Телегин и Чесноков долго еще, молча и ошалело, глядели на черную дорогу, по которой, как видение, унеслась и растаяла в дождевой мгле звероподобная машина.

Даша работала в исполкоме. в отделе мелиорации, вторым помощником начальника «стола проектов». Иногда она раскрашивала акварелью пятна на карте Костромской губернии, где предполагалось осушать болота, добывать торф в неисчерпаемом количестве и болотную руду. Иногда переписывала записки, которые сочинял инженер Грибосолов для того, чтобы держать исполком в постоянном нервном возбуждении от грандиозности его замыслов, по существу совершенно бесплодных, так как, кроме ящичка с красками, кисточки и небольшого запаса ватманской бумаги, в мелиоративном отделе не было ничего: ни лопат, ни телег, ни лошадей, ни насосов, ни денег, ни рабочей силы.

Даша получала паек, — четверть фунта остистого хлеба, иногда немного лаврового листа или перца в зернышках. Анисья, работавшая в исполкоме курьершей, получала за боевые заслуги усиленный паек: кроме хлебной осьмушки и перца, еще полторы воблы, иногда ржавую селедку.

По совместительству Анисья работала в драматическом кружке и бегала слушать общедоступные лекции

на историко-филологическом факультете, эвакуированном сюда из Казани. К своим прямым обязанностям — сидеть в коридоре, в продранном вольтеровском кресле, у дверей зампредисполкома — Анисья относилась крайне высокомерно: либо она, обхватив голову, чтобы заткнуть пальцами уши, и нагнувшись к коленям, читала трагедии Шекспира и, когда ее звали, отвечала рассеянно: «Сейчас, сейчас...» — и даже огрызалась на повторные предложения — отнести какой-нибудь пакет в какую-нибудь одну из многочисленных комнат, загроможденных столами и набитых людьми, выдумывавшими себе занятия; либо ее вообще не оказывалось на месте. Однажды, когда по этому поводу одна из сотрудниц, с картофельным лицом, сделала ей замечание, — Анисья так темно взглянула на нее: «Не возвышайте голос, товарищ, казачьей шашки я не боялась...» — что интеллигентная сотрудница, прежде много потрудившаяся на почве женской эмансипации, сочла за лучшее не связываться с этой рабоче-крестьянской нахалкой...

Даша возвращалась домой в шестом часу. Анисья — иногда только поздно ночью. Жили они в деревянном домике над Волгой. Кузьма Кузьмич, крепко помня наказ Ивана Ильича,— кормить Дашу и Анисью досыта,— продолжал, против своей совести, заниматься туманными делами по добыче съестных продуктов и дровишек, — хотя тяжеленько ему иной раз приходилось: и годы сказывались, и осенняя непогода клонила от суеты к тихим философским размышлениям у натопленной печурки, под мягкий шум дождя по крыше.

Обычно, когда утренний полусвет уже синел в окошке, Даша и Анисья кушали морковный чай с чем-нибудь и уходили на работу. Кузьма Кузьмич, вымыв посуду, вынеся помойное ведро и подметя веником пол в обеих комнатушках, начинал не спеша, а часто и со вздохами, обдумывать и прикидывать: у кого бы сегодня можно стрельнуть парочку яичек, кусочек сала, бутылку молока, полшапки картошки... Кузьма Кузьмич не побирался, — боже сохрани! Он лишь производил честный обмен философских и моральных идей на предметы питания. За эти два месяца его знала почти вся Кострома, и он не раз путешествовал даже в пригородные села.

Размышляя, он обычно что-нибудь чинил или пришивал у рассветающего окошка. Жизнь — могучая сила.

Даже во времена глубочайших исторических сдвигов и тяжелых испытаний люди вылезают из материнского чрева головой вперед и со злым криком требуют себе места в этом бытии, по вкусу или не по вкусу оно приходится их родителям; люди влюбляются друг в друга, не глядя на то, что внешних средств для этого у них несравненно меньше, чем, скажем, у тетерева, когда он, приплясывая на весенней проталине, распускает роскошный хвост. Люди ищут утешения и готовы половину каравая отрезать человеку, который прольет неожиданный покой в их душу, истерзанную сомнением: «Куда же мы придем в конце-то концов, — траву будем есть, срам капустным листом прикрывать?» Другие благодарны понятливому слушателю, перед кем, не опасаясь Губчека, можно вывернуть себя наизнанку со всей прикипевшей злобой.

Кузьма Кузьмич отправлялся по дворам. Вытирал в темных сенях ноги и заходил на кухню. Иная хозяйка крикнет ему со злобой:

— Опять, дармоед, приплелся! Нету ничего сегодня, нету, нету...

— О Марье Саввишне пришел справиться, — приветливо тряся красным лицом и морща губы, отвечал Кузьма Кузьмич. — Плоха она.

— Плоха.

— Анна Ивановна, не смерть страшна, — сознание бесплодно прожитой жизни томит нас тоской. Вот где нужно утешение человеку, — положив руку ему на холодеющий лоб, сказать: жизнь твоя была скудная, Марья Саввишна, и нечего жалеть о ней, но ты потрудилась, как самая малая мурашка, — безрадостно и хлопотливо тащила свою соломинку. А труды никогда не пропадают даром, все складывается, — дом человеческий растет и широк и высок, и где-то твоя соломинка чего-то подпирает. Детей, внуков ты выходила, вот и вечер твой настал: закрой глаза, усни тихо. Не жалей ни о чем: не ты в твоем убожестве виновата.

Кузьма Кузьмич журчал, сидя у двери на табурете, а хозяйка, коловшая лучину, вдруг бросала косарь, часто — несколько раз — вздыхала, и ползли у нее слезы по щекам...

— Живи, живи... Сдохнешь, никто спасибо не скажет...

— А потому, что жизнь у нас еще неправильная...

Каждому человеку за его труды памятник надо бы ставить... Впереди так и будет, Анна Ивановна, впереди жизнь будет добрая...

— Это — на том свете, что ли?..

— Зачем, на этом...

— Ты один урод добрый нашелся...

— Это моя профессия, Анна Ивановна, а я не добрый... Я любопытный. Человека не жалеть нужно. Человек любит, когда о нем любопытствуют. Что же, можно пройти к Марье Саввишне?

— Пройди уж...

Из такого дома Кузьма Кузьмич уходил не с пустыми руками. Вечером, распилив и наколов унесенную с чьего-нибудь двора доску, затопив печку на женской половине, обдув пепел с кипящего самовара и поставив его на стол, Кузьма Кузьмич рассказывал Даше и Анисье о своих похождениях.

— Появился у меня конкурент, — говорил он, дуя на блюдечко. — Стал шляться по дворам старичок, в одной рубахе из мешка, босой, с нарочно всклокоченной бородой, с необыкновенно впечатляющим носом — во все лицо. Зовут — отец Ангел. Придумал этот мошенник простой анекдот, — вваливается в дом, садится на пол и начинает раскачиваться, всплеснет руками и раскачивается: «Вот тебе, Ангел, вот тебе и не верил, тьфу, тьфу, тьфу... Своими глазами видел, своими руками трогал, тьфу, тьфу, тьфу...» Слушатели рты разинут, он еще поломается и рассказывает: намедни, в ночь под пяток, у одной женщины, у которой муж в Красной Армии, родился дебелый мальчик с зубами. Помыли его, спеленали, дали матери на руку. Она грудь вынимает, дает ему, а он грудь не взял, да как взглянет на мать и сказал: «Мама, мама, я уже пришел!..» — Хлебнув с блюдечка, Кузьма Кузьмич засмеялся. — Отобьет у меня Ангел клиентуру. Ревнивый! Сегодня встретились на одном дворе, он мне пальцами рога показывает: что, говорит, Кузька, за моими объедками пришел? А будешь ходить за мной по следам, спознаться тебе с моим жезлом...

— Бросайте вы все эти глупости, Кузьма Кузьмич, — сказала Даша строго. — Поступайте на советскую службу. Ничего, ничего, проживем и на одном пайке... А то про вас уже начали поговаривать нехорошее, — мне это очень неприятно...

Анисья, как всегда, — очнувшись от налетающей мечты, сказала:

— Сегодня я с одним поговорила, такая сволочь. — И она показала в лицах и в разных голосах: — Я сижу, читаю, конечно. Подходит наш сотрудник из отдела гражданского снабжения, гнилой такой, дряблый, косоротый.

«Очень бы хотел, говорит, с вашим дядей познакомиться».— «С каким таким дядей?» — «А с которым вы, говорит, живете... Нужно у него духовный совет получить...» — «Он, говорю, никаких советов не дает...» — «А я, говорит, слышал обратно, — многие к нему ходят и получают облегчение...» — «Товарищ, говорю, мне некогда слушать ваши глупости, видите, я занята...»

А он мне — на ухо со слюнями:

«А вы про младенца говорящего не слыхали?..» — «Убирайтесь, — я ему говорю, — к черту...» — «Не далеко ходить, — он говорит, — мы все давно уж у черта... Ан младенец-то не антихрист ли?»

— Очень, очень неприятно, — сказала Даша.

— Да — глушь...— Кузьма Кузьмич задумчиво налил себе еще стаканчик кипятку. — Такая глушь — в ушах звенит. А все-таки русский человек пытлив — и пытлив и впечатлителен. Драгоценная у него голова. Ему бы — знание да путь верный из этой византийской вязи. Давно хочу, да вот все не решаюсь, дорогие мои, бесценные женщины, предложить вам перебраться в Москву.

— В Москву? — переспросила Анисья, расширяя синие глаза.

— К свету, к идеям, поближе к большим делам. Даю честное слово — баловство свое брошу... Мне уж и самому давно стало тошно... А как увидал свой портрет, — отца Ангела, — расстроился, совсем расстроился...

— В Москву, в Москву! — сказала Даша. — У нас там есть даже где приткнуться: у Кати осталась квартира вместе со старушкой — Марьей Кондратьевной... Может быть, этого ничего уже и нет?.. Ах, Кузьма Кузьмич, миленький, давайте не будем откладывать... Ведь мы здесь за ваши пышечки, ватрушечки самое дорогое свое продаем. И вы здесь другой стали, хуже стали... Слушайте, в Москве сейчас же Анисью определим в театральное училище...

Анисья на это ничего не сказала, только залилась краской, приопустила веки.

— Кузьма Кузьмич, завтра же сбегайте узнайте — идут еще какие-нибудь пароходы до Ярославля?..

Даша ужасно взволновалась, замолкла и вздыхала. Кузьма Кузьмич, нахохлившись, прижав ладони к животу, раздумывал над тем, что в Москве, пожалуй, особого риска не будет в смысле питания женщин: на крайний случай оставались — тайно им припрятанные — Дашины драгоценные камушки... Да и с собой из Костромы можно взять ржаной муки пудика два... И как это у него сегодня вырвалось про Москву! Вырвалось — так вырвалось, — эка! Да и к лучшему, конечно... И он мысленно уже сочинял объяснительное письмо Ивану Ильичу, от которого недавно была коротенькая открытка, сообщавшая, что — жив, здоров, любит и целует.

Анисья, облокотясь о стол, глядела на слабый огонек жестяной коптилки, и ей чудилась то лестница (как в исполкоме), по которой она спускается с голыми плечами, волоча шелковый подол, и потирает окровавленные руки, то сосновый — длинным ящиком — гроб, из которого она поднимается и видит Ромео, и видит склянку с ядом...

Так они, втроем, долго еще сидели у поющего самовара. Ночь порывисто хлестала дождем в стекла маленького окошечка. Но что было им до непогоды, до убожества жилища, до всей случайной скудности, — сердца их горячо, уверенно стучали в преддверье жизни, как будто были они вечно юные...

Иван Ильич считал себя человеком уравновешенным: чего-чего, а уж головы он никогда не терял, — так вот надо же было случиться такому, что он, безо всякого раздумья, вдруг точно ослепнув, плохо слушающимися пальцами отстегнул кобуру, вытащил револьвер и, приставив его к голове, щелкнул курком. Выстрела не произошло, потому что кем-то для чего-то патроны из его нагана были вынуты.

К Ивану Ильичу обернулись Рощин и комиссар Чесноков и начали злобно ругать, обзывая соплей, интеллигентом, тряпкой, негодной даже, чтобы вытереть под хвостом у старой кобылы. Кричали они на него в поле, спешившись у стога сена, почерневшего от дождя. Тут же неподалеку стоял эскадрон и комендантская команда, посаженная на коней. Это было все, что осталось от бригады Телегина.

Корпус Мамонтова широким фронтом прошел по его тылам, порвал все связи, разрушил коммуникации, уничтожил в селе Гайвороны склады продовольствия и боеприпасов; за какие-нибудь сутки весь тыл бригады превратился в хаос, где безо всякой связи с какой-либо командной точкой отступали, прятались, бродили разбросанные части и отдельные люди.

Оба стрелковых полка, не успев опомниться, оказались в мешке, — с тыла на них налетели мамонтовцы, с фронта нажали донские пластуны. Красноармейцы оставили фронт и рассеялись.

Размеры катастрофы выяснялись постепенно, понемногу. Телегин с эскадроном и комендантской сотней двинулись на поиски своей бригады. У него еще оставалась надежда собрать какие-нибудь остатки,— паника миновала, и Мамонтов был уже далеко, — но скоро выяснилось, что под свинцовым небом, на взбухающих жнивьях и непролазных пашнях, по оврагам и перелескам, где путается туман, никаких людей собрать невозможно... Одни ушли разыскивать какую-нибудь фронтовую часть, чтобы с ней соединиться, другие разбрелись по хуторам, прося под окошками пустить обогреться, третьи только того и ждали, — задали стрекоча подальше от этих мест — по домам, к бабам, на печки.

Два красноармейца из 39-го полка, отощавшие до того, что без сил сидели под стогом, рассказали наехавшим на них Телегину, Рощину и комиссару Чеснокову очень невеселую историю...

— Напрасно ездите по полю, никого не соберете, — сказал один. — Был полк, нет его.

Другой, продолжая сидеть спиной к стогу, оскалил зубы:

— Продали нас — и весь разговор... Что мы — не понимаем боевых приказов? Мы все понимаем — продали... Командование, мать твою! Картонные подметки ставят! — И пошевелил пальцами, торчавшими из сапога. — Кончили воевать... Кончено... Аминь!

У этого стога Телегин и сплоховал. В памяти его выплыл чудовищный радиатор с двумя, разнесенными в стороны, прожекторами. Ну, где же тут оправдаться! С ленивым благодушием все проворонил, прошляпил, растерял...

— Подождите на меня кричать, — сказал он Рощину и Чеснокову.— Ну, ослабел, ну, струсил, ну, виноват... — И он, отвратительно морщась, начал прятать наган в кобуру. — Всю жизнь мне везло, всю жизнь ждал, что сорвусь когда-нибудь... Ладно, пускай судит ревтрибунал...

— Да черт тебя возьми, не в тебе сейчас дело! — дергая щекой, закричал на него Рощин. — Куда ты ведешь эскадрон? На восток, на запад? Какие у тебя соображения? Какая непосредственная задача? Думай!

— Дай карту...

Телегин сердито взял карту из рук Рощина и, рассматривая ее, бормотал под нос всякие обозные выражения, относящиеся к самому себе. Названия городов, сел, хуторов прыгали у него в глазах. Он и это наконец преодолел. После спора было решено — двинуться на восток, ища встречи с частями Восьмой армии.

Весь остаток дня шли на рысях — где только было возможно. Темной ночью, когда уже не видать конских ушей, выслали разведчиков поискать поблизости затерявшееся в непроглядной тьме село Рождественское. Остановились, не спешиваясь, и долго ожидали. Вадим Петрович придвинул лошадь к лошади Телегина, коснулся коленом его колена.

— Ну? — спросил он. — Может быть, все-таки объяснишь?.. Разговаривать с тобой можно?

— Можно.

— Для чего ты устроил этот спектакль?

— Какой спектакль, Вадим?

— С незаряженным револьвером...

— Ты с ума сошел!.. — Иван Ильич перегнулся в седле к нему, но так ничего и не различил, кроме неясного пятна с черными глазницами. — Вадим, значит не ты вынул патроны?

— Не я вынул патроны из твоего револьвера... Начинаю думать, что ты хитрее, чем кажешься...

— Не понимаю... Смалодушничал... при чем тут хитрость... я бы на твоем месте не вспоминал бы уж...

— Не виляй, не виляй...

Говорили они тихо. Рощин весь дрожал, как на парфорсном ошейнике:

— Весь эскадрон прекрасно видел эту омерзительную сцену у стога... Знаешь, что они говорят? Что ты комедию ломал... Жизнь покупал в ревтрибунале...

— Черт знает что ты говоришь!..

— Нет! Ты уж выслушай! — Лошадь под Рощиным тоже начала горячиться. — Ты должен ответить мне во всю совесть... В такие дни испытывается человек... Выдержал ты испытание? Понимаешь ты, что на тебе пятно?.. Ты не имеешь права быть с пятном...

Лошадь его, ерзая, больно хлестнула хвостом по лицу Телегина. Тогда Иван Ильич прохрипел голосом, упертым в горловую спазму:

— Отъезжай!.. Я тебя зарублю!..

И сейчас же комиссар Чесноков сказал из темноты:

— Ребята, будет вам лаяться, — патроны я вынул.

Ни Рощин, ни Телегин ничего не ответили на это. Не видя друг друга, они тяжело сопели, — один от жестокой обиды, другой — весь еще ощетиненный от ненависти. Из темноты раздались короткие, как выстрелы, голоса: «Стой! Стой!» — «Что за люди?» — «Не хватай...» — «Чьи вы?» — «Мы свои, а вы чьи, туды вашу растуды?»

Это разведка наскочила на разведку, и верхоконные, крутясь друг около друга и боясь в такой чертовой тьме обнажить оружие и от злого задора не желая разъехаться, кричали и ругались, уже чувствуя по крепости выражений, что и те и другие — свои, красные.

«Так чего же ты за узду хватаешь?..» — «Какой части?..» — «Мать твою богородицу не спросили, — мы крупная кавалерийская часть». — «Где ваша часть?» — «Заворачивай с нами...»

Обе разведки наконец угомонились и мирно подъехали к эскадрону. Оказалось, что село Рождественское — неподалеку, за лесом и речкой. На вопрос — какая войсковая часть находится в селе — один из чужих разведчиков ответил не слишком вежливо:

— А вот приедете, узнаете...

В избе за столом сидели Семен Михайлович Буденный и два его начдива и пили чай из большого самовара. Семен Михайлович, увидев входящих Телегина, Рощина и Чеснокова, сказал весело:

— Нашего войску прибыло. Здравствуйте. Садитесь, пейте с нами чай.

Они подошли к столу и поздоровались с Буденным, лукаво поглядывающим на бродячего комбрига и его штаб (ему уже все было известно), поздоровались с начдивом Четвертой, который был небольшого роста,

но с такими устрашающими усами, что их легко можно было заложить за уши, с начдивом Шестой, протянувшим каждому большую руку, сжимая ее так, будто сгибал подкову, — молодое и румяное лицо его выражало глубочайший покой.

Семен Михайлович спросил, хорошо ли они расквартировали на ночь свою часть и нет ли какой жалобы или просьбы? Рощин ответил, что расквартировались, как могли, жалоб никаких нет.

— А нет, так тем лучше, — ответил Буденный, отлично зная, что в селе, где стал на короткую ночную передышку его конный корпус, даже мухе негде приткнуться как следует. — Так что ж вы стоите, берите лавку, присаживайтесь. А ведь я вас хорошо запомнил, товарищ Телегин, баню тогда устроили донским казакам... Эге... — И он, очень довольный, щурясь, оглянул собеседников за столом; начдив Шестой спокойно кивнул, подтверждая, что действительно была тогда баня казакам, и начдив Четвертой гордо, сухо кивнул калмыцким лицом. — Значит, на этот раз Мамонтов вас потрепал маленько. А что с вами — комендантская команда или боевая часть?

— Боевая часть, усиленный эскадрон, — сказал Телегин.

— Кони в каком состоянии?

— Кони в прекрасном состоянии, — быстро ответил Рощин, — кованы на передние ноги.

— Скажи — даже кованы на передние ноги! — удивился Буденный. — Я думаю, зачем вам идти далеко — искать Восьмую армию, может быть, она уже не там, где была...

— Я должен подать рапорт командарму, — сказал Телегин.

— Подай рапорт мне... А что, начдивы, берем комбрига с его усиленным эскадроном?

Оба начдива согласно кивнули. Буденный из жестяной коробочки взял щепоть табаку и начал свертывать.

— Далеко ходить вам некуда, — повторил он. — Присоединяйтесь к нам. Мы так вот с начдивами как-то посидели и подумали, а подумав, решили: кони у нас жиреют, бойцы у нас скучают, — пойдем на север — искать генерала Мамонтова. Вот и бегаем, — он от нас, а мы за ним...

Семен Михайлович шутил, а дела были очень серьез-

ные. Узнав о переходе корпуса Мамонтова через красный фронт, он рискнул своей головой, ослушался личного приказа председателя Высшего военного совета — неуклонно продолжать выполнение явно теперь глупого и давно уже опороченного, если не предательского, военного плана, — и по собственному разумению бросился в погоню за Мамонтовым. И Буденный, и его начдивы хорошо представляли себе, как яростно заскрипели перья в канцелярии главкома и какие, пахнущие могилой, угрозы ожидают их на «морзянке», на конце прямого провода. Но спасение Москвы было им дороже, чем свои головы. А спасение они видели только в немедленной погоне за Мамонтовым, в разгроме этой лучшей конницы белых. А то, что она не выдержит удара семи тысяч буденновских сабель и ляжет, порубленная, где-нибудь на широких полях между Цной и Доном, в этом они не сомневались, — лихое дело было настичь Мамонтова, который перенял у бандитов обычай сменять подбитых и усталых коней по селам и хуторам.

У Мамонтова, в его лихих, но избаловавшихся донских полках, насчитывалось значительно больше сабель. Но он не искал встречи с Буденным, он боялся гнавшегося за ним опытного противника: это была уже не партизанская конница, но самое страшное, с чем — не дай боже — встретиться, сшибиться в чистом поле, — регулярная русская кавалерия. Буденный двигался медленнее, но умнее, — то выбирал короче или удобнее дорогу, то жал Мамонтова в такие места, где трудно было добыть фураж или свежих коней.

День за днем шла эта погоня, смертельная игра двух мощных конниц. Дымами с заревами в осенних туманах отмечался путь Мамонтова. Он набрасывался на тыловые части красных и торопливо отскакивал в сторону. И наконец Буденный обманул и настиг его. Ранним утром, чуть только проступили угольные очертания старых ветел на огородах, Семен Михайлович ворвался с эскадроном в плохонькую деревеньку, где ночевал Мамонтов.

Но тотчас на другом конце деревеньки из ворот вылетела рыжая тройка и стала уходить. В открытой коляске, обернувшись на сиденье, Мамонтов, с непокрытой головой, в незастегнутой шинели, несколько раз выстрелил по скачущему головному усатому всаднику в черной бурке, — он узнал Буденного, но карабин плясал у него

в руках. За тройкой погнались, но рыжие донские кони, как ветер, унесли коляску.

По дворам еще раздавались дикие вскрики, лязг оружия, одиночные выстрелы, — это насмерть дрались казаки личной генеральской охраны. Буденновцы, обшаривая деревню, начали выгонять изо всех углов на улицу каких-то перепуганных людей, — кто был в подштанниках, кто, со страху, об одном сапоге. Оказались — музыканты. Их окружили, стали над ними смеяться. Подъехал Семен Михайлович и, узнав, в чем дело, приказал им принести инструменты.

Видя, что большевики их не рубят шашками, а только смеются, музыканты побежали, живо приоделись и принесли свои фанфары, огромные геликоны, рожки, корнеты, — все трубы у них были чистого серебра. Буденновцы, удивляясь, цыкали языками. Вот это добыча!

— Ну что ж, — сказал Семен Михайлович, — с паршивой собаки хоть шерсти клок... А умеете вы играть Интернационал?

Музыканты могли играть все, что угодно, — среди них были ученики Московской консерватории, вот уже полтора года — в поисках заработка и белых булок — бегавшие из города в город, спасаясь от погромов, заполнения анкет и уличной стрельбы, покуда в Ростове их не мобилизовали. Капельмейстер, с губчатым носом, пропитанным алкоголем, заявил даже, что он — старый убежденный революционер. Глядя на его сизо-лиловый нос, ему поверили, что вредить не станет.

Мамонтов и на этот раз уклонился от встречи. Корпус его быстрым маневром вышел из соприкосновения. Погоня продолжалась. Но уже было очевидно его намерение—проскочить через красный фронт на свою сторону. Этого Буденный опасался больше всего: тогда весь поход — впустую и тогда, пожалуй, не пришлось бы отвечать перед главкомом и, еще хуже, — перед председателем Высшего военного совета.

Плохо было и то, что не удавалось установить никакой связи и узнать, что делается на белом свете в эти дни... Наконец дошли до железной дороги. Буденный со своим начштабом и комиссаром поскакал вперед, на вокзал, и сел на аппараты. По телефонным проводам понеслись на него такие новости, что он срочно вызвал на вокзал начдивов и старших командиров.

Собрались в буфетном зале, где в большие разбитые окна было видно, как в походном строю приближались эскадроны и проходили через полотно. Позади них раскинулся мрачный закат — у самой земли, под гнетом туч. Ряды всадников, со значками на пиках, поднимаясь на изволок, казались чугунными, непомерно сильными на сильных конях. Телегина поразило лицо Вадима Петровича, глядевшего в окно, — в отсвете заката — гордое, застывшее, будто в исступлении.

— Мы должны были знать, что она такая... — глухо проговорил он, и Иван Ильич придвинулся, чтобы яснее расслышать. — Мы забыли это... Нет той казни, чтобы казнить за такую измену... Поцелуй землю за то, что простила тебя...

После ссоры у стога Вадим Петрович в первый раз так заговорил. Телегин понимал, что мучается и молчит он не от гордости, а, вернее, от отчаяния, что нечем — не словами же: «Прости, Иван...» — повиниться перед Телегиным. Сейчас, в длительном напряжении и усталости, настала у него минута переполняющего ощущения им потерянной, забытой и вновь обретенной родины, и это было также его мольбой о прощении...

Иван Ильич, покашляв, тоже захотел сказать доброе Вадиму Петровичу, зачеркнуть к чертям — как будто и не было ее, — дурацкую ссору... В это время из телеграфного отделения вышел Буденный. Его окружили. Он сказал:

— Товарищи, большие новости... Начнем с неприятных. Орел, товарищи, взят Кутеповым. Разведки его уже под Тулой. Этим наступлением он вбил широкий клин в наш фронт. Восьмая и Десятая отброшены на восток. Девятая и Тринадцатая — на запад... Так вот, это было на прошлой неделе.— Буденный помолчал, и глаза его весело блеснули.— С тех пор многое изменилось, товарищи... Во-первых, могу вас порадовать: все главное командование сменено. И председатель Высшего военного совета больше не хозяйничает на Южном фронте... Орел взят нами обратно... Прославленные корниловские, марковские и дроздовские полки вдребезги разбиты между Орлом и Кромами... Чего мы долго ждали, — началось... Подробности пока еще не известны, но против Кутепова удачно действует особая ударная группа...

Семен Михайлович опять остановился, вертя в руках обрывок телеграфной ленты, пошевелил усами и ястребом взглянул на стоящих вокруг него командиров.

— Операции нашего корпуса происходили не согласно приказу главкома, но против приказа... Нам приказано было идти на юг, в Сальские степи, на Маныч, где едва не сложила головы Десятая армия, — мы поднялись на север. Вместо левого берега — оказались на правом берегу Дона. Вместо чем уходить от донской конницы, — вцепились ей в хвост. Нехорошо, не годится!.. А что до нашего простого разумения, так наши головы — мужицкие, казацкие, не должно у нас быть своего разумения, — на то в штабе у главкома имеются просвещенные, светлые головы... Вот мы и шли, а приказы главкома шли за нами, — я их не брал, не читал: прочтешь, и шашка, пожалуй, из руки вывалится... Все-таки хочешь не хочешь, а приказ догнал меня... Приказ без длинных слов... — Он развернул телеграфную ленту так, чтобы она не перекручивалась, и прочел: — «Комкору Конного Буденному... Последние данные разведки указывают на движение неприятельской конницы из района Воронежа на север. Приказываю комкору Конного Буденному разбить эту конницу противника...» Вот и все, коротко и ясно. Значит — правильно разумели наши головы... Приказ подписан председателем реввоенсовета Южного фронта Сталиным в ставке главного командования, в Серпухове.

Катя вернулась в Москву, в тот самый Староконюшенный переулок на Арбате, в особнячок с мезонином (куда в начале войны Николай Иванович Смоковников переехал вместе с Дашей из Петербурга и куда из Парижа вернулась Катя), в ту самую комнату, где в печальный день похорон Николая Ивановича так безнадежно сгустилось уныние над Катиной жизнью. Тогда, прикрывшись на постели шубкой, она не захотела больше жить... Повздыхав, вылезла из-под шубки и пошла в столовую, чтобы принести немножко воды — запить морфий, и в сумерках неожиданно увидела свою вторую жизнь: Вадим Петрович сидел и ждал ее...

И вот и этот — второй круг ее жизни, — напряженный, любовный, мучительный, — завершился. Позади

остался долгий, долгий путь невозвратимых потерь. Особенно остро почувствовала это Катя, когда — в середине июля — шла с узелком с Киевского вокзала... В обмелевшей Москве-реке плескались маленькие дети, и голоса их пронзительно грустно звучали в тишине, да на берегу, на чахлой траве, сидел старый человек с удочкой; выйдя на Садовую, где по всему бульвару исчезли изгороди и решетки, Катя поразилась тишине, — только шелестели огромные липы, важно прикрывая зеленой тенью своей опустевшие особнячки; на когда-то многолюдном Арбате — ни трамваев, ни извозчиков, лишь редкий прохожий, повесив голову, переходил ржавые рельсы. Катя дошла до Староконюшенного, свернула по нему и наконец увидела свой дом, — у нее ослабли ноги. Она долго стояла на противоположной стороне тротуара. В воспоминаниях этот особнячок представлялся ей прекрасным, золотистого цвета, с плоскими белыми колонками, с чистыми окнами, занавешенными шторами... Там жили тени Кати, Вадима Петровича, Даши... Разве может без следа исчезнуть то, что было? Разве жизнь уносится, как сновидение в лежащей на подушке голове, и, поманив бесплодным обманом, истаивает после вздоха пробуждения? Нет, нет, в минувших днях где-то так и застыли в нежданной радости — Катя, уронившая на ковер склянку с морфием и без сил повисшая на закаменевших руках Вадима Петровича, и он, шепчущий ей слова любви, весь точно обуглившийся от волнения. Это не было сном, это не исчезло, это и сейчас там — за черными окнами. И там же их первая ночь, без сна, в молчаливых и глубоких, как страдание, поцелуях и в повторении все тех же и все новых слов изумления оттого, что это — единственное на земле чудо, соединившее так тесно сплетенными смуглыми сильными и белыми хрупкими руками — самое нежное и самое мужественное...

Особнячок стоял кривенький, убогий, весь облупленный, и никаких на нем не было белых полуколоннок. Катя их выдумала. Два крайних окна в первом этаже закрыты изнутри газетными листами, остальные так забрызганы сухими лепешками грязи, что ясно: там никто не живет... В мезонине, где была Дашина спальня, выбиты все стекла.

Катя перешла улицу и постучала в парадную дверь, на которой коричневая краска отлуплялась целыми

стружками. Катя долго постукивала, покуда не заметила, что вместо дверной ручки — дыра, забитая пылью. Тогда она вспомнила, что на черный ход нужно пройти с переулка. Калитка была открыта, и от нее через дворик, заросший травой, вела едва заметная тропинка. Значит, здесь все-таки жили.

Катя постучала в кухонную дверь. Немного спустя дверь открыл маленький человек, бледный, как бумага, блондин, в очках, с большой всклокоченной головой:

— Я же кричу вам, что дверь не заперта. Что вам нужно?

— Простите, я хотела спросить: здесь еще живет Марья Кондратьевна, старушка?

— Да, здесь, — ответил он голосом, каким рассуждают о математических формулах. — Но она умерла...

— Умерла! Когда?

— Как-то недавно, точно не помню...

— Что же я буду делать теперь? — растерянно проговорила Катя. — Моя квартира занята?

— Понятия не имею — ваша или не ваша эта квартира, но она занята...

Он хотел было уже закрыть дверь, но, видя, что у красивой женщины глаза полны слез, помедлил.

— Как это неприятно... Я прямо с вокзала, — куда же теперь деваться? Два года не была в Москве, вернулась домой и — вот...

— Домой вернулись? — переспросил он с изумлением. — В Москву?..

— Да. Я все время жила на юге, потом на Украине...

— Вы что — ненормальная?

— Нет... А почему, — разве вернуться домой так странно?

На истощенном, бумажном лице этого человека тонкие губы приподнялись с одного угла, морща ввалившуюся щеку:

— Вы что же — не знаете, что в Москве умирают с голоду?

— Я слышала, что с едой плохо... Но мне мало нужно... Потом — ведь это же временно... Когда очень трудно — лучше быть дома.

— Вы, собственно, кто же такая?

— Я — учительница, Рощина Екатерина... Да я вам сейчас покажу...

Катя зубами начала развязывать узелок иа холщовом мешке. Достала удостовереиие Наркомпроса.

— Я работала до самой эвакуации в Киеве, в русской школе для самых малеиьких... Нарком потребовал, чтобы я ии за что ие оставалась при белых... Я бы сама ие осталась... И дал еще вот это письмо к иаркому Луиачарскому... Но оио запечатаио...

Человек прочел удостоверение, прочел адрес иа коиверте, — все движения у него были замедленные.

— Собствеиио, комиата старухи иикем ие заията. Если вам иепремеиио хочется жить имеиио здесь, — въезжайте... Хотя здесь все гииль и рухлядь... В Москве можио заиять любой пустой особияк...

Он постороиился и пропустил Катю в полутемную кухию, завалеииую изломаииой мебелью. Он указал на ключ от комнаты старухи, висящий иа гвозде в закопчеином коридорчике, и медлеиио ушел к себе (в бывший кабииет Николая Иваиовича). Катя с трудом отворила дверь в душиую комиату с двумя окиами, залепленными снаружи грязиыми лепешками. Это была ее спальия, и иа том же месте стояла ее кровать, и все так же иа стеие висел резиой шкафчик-аптечка с поблекшим Алкоиостом и Сириом иа дверцах, — из иего она взяла тогда морфий. Покойная Марья Коидратьевиа стащила сюда лучшие вещи со всей квартиры, — диваиы, кресла, этажерочки были иавалены друг на друга, поломаииые и покрытые паутииой и пылью.

Катю охватило отчаяние, — в огромиой, раскалеииой под июльским солнцем, пустыииой и голодиой Москве, в этой загромождеииой ненужиыми вещами, иепроветреииой комиате нужио было начать жить, иачать третий круг своей жизии. Она села на голый матрац и молча заплакала. Оиа очеиь устала и была голодиа. Предстоящие трудности и сложиости показались непреодолимыми для ее силенок. Ей вспомиилась милая, обожаемая, покосившаяся хатенка около школы, палисадиик, холмистое поле за плетнем... Веник у порога, кадка с водой в сеиях, зелеиоватый свет сквозь листву в окошке, падающий иа детские тетрадки... Беспечиые, веселые дети, любимый мальчик — Иван Гавриков...

Почему иельзя было там остаться иавсегда?

Катя слезла с кровати, чтобы принести иемиого воды, — размочить сухую булочку, привезениую из Ки-

ева. Но даже стакана не нашлось, чтобы начать жить! Катя уже сердито вытерла глаза и пошла к бледному человеку.

Тихонько постучав, она сказала тоненьким голосом:

— Простите, пожалуйста, я вам все мешаю...

Он медленно подошел, отворил дверь и, будто с трудом соображая, пристально глядел на Катю.

— Простите, пожалуйста, нет ли у вас стакана, мне хочется пить.

— Меня зовут Маслов, товарищ Маслов, — сказал он. — Какой вам нужен стакан?

— Какой-нибудь лишний...

— Хорошо...

Он пошел в глубь комнаты, оставив дверь открытой, и Катя увидела много книг на прогнувшихся полках из неструганых досок, раскрытые книги и рукописи на письменном столе, жалкую железную койку, на которой тоже валялись книги, мусор на полу и пожелтевшие газеты на окошках. Маслов все так же замедленно вернулся к Кате и подал ей грязный стакан:

— Можете его взять совсем...

В кухне Катя с трудом пробралась к раковине, доверху заваленной мусором, но вода шла. Вымыв стакан, Катя с наслаждением напилась и вернулась к себе. Ей захотелось — раньше, чем съесть булочку, — отворить окна и хотя бы немного помыться. Но отодрать замазанные рамы оказалось нелегко. Катя долго возилась, ковыряла, колотила ножкой от стула по шпингалетам, громко вздыхала. На шум явился Маслов и некоторое время с тихим изумлением глядел на Катю.

— Зачем вам понадобилось отворять окошки?

— Здесь можно задохнуться.

— Вы думаете, уличный воздух будет чище? Пыль и смрад. По всем дворам гниет... Не советую. — Катя выслушала это, стоя на подоконнике, поджала губы и опять принялась стучать ножкой от стула. — Предположим, вы отворите, а на ночь опять придется затворять... Зачем лишние усилия...

Шпингалет наконец поддался, Катя соскочила с подоконника, распахнула окно и высунулась, жадно вдыхая уличный воздух.

— Да, да, — раздумчиво проговорил Маслов, — проблему города мы не решили. — Колени его вдруг, дрыгнув,

подогнулись, он оглянулся — куда бы сесть — и прислонился к косяку, засунул большие пальцы за шнурок, слабо перепоясывавший его холщовую несвежую рубашку. — Стаял снег, и вся грязь, мусор, собачья, кошачья и даже лошадиная падаль осталась на улицах и дворах... Кое-что смыло дождями, но это не решение проблемы...

Катя перебила его:

— Скажите, ванная у вас действует?

— Понятия не имею... Жил здесь одно время водопроводчик... По воскресеньям возился на кухне и в ванной — в порядке личной инициативы, но ушел на фронт...

— Знаете что, вы уйдите, — решительно сказала Катя. — Я хоть немножко приберу комнату, помоюсь и приду к вам... Во-первых, мне необходимо узнать разные адреса... Я же ничего не знаю в Москве... Вы мне поможете, хорошо?

— Да, да, сегодня воскресенье, я весь день буду дома...

Он медленно отделился от косяка и ушел. Катя повернула за ним дверной ключ. Важно было рассердиться, и тогда дело закипит. Она сняла кофточку и юбку, чтобы не запачкать их, и начала борьбу с пылью. Тряпья по разным ящикам было сколько угодно. Роясь, Катя нашла постельное белье со своими метками, потом нашла свои рубашки и штанишки и несколько пар штопаных чулок. Вот золотой человек Марья Кондратьевна, — сохранила такие бесценные вещи!.. Покойная старушка в общем-то была вороватая и жадная... Ну и пусть — земля ей пухом...

. . . .

В этот же вечер Маслов показал Кате свои рукописи и даже прочел кое-что из них, это было историческое исследование о классиках утопистах-социалистах. Он говорил Кате, сидевшей на его неприбранной койке:

— Вам покажется странным, что в такое время можно заниматься утопистами? Утопия — в эпоху пролетарской диктатуры! Где же внутренняя логика? Сознайтесь — вы удивлены?

Катя, у которой слипались глаза, покивала, подтверждая, что удивлена.

— А между тем тут есть логика... Я подробно останавливаюсь на попытках отдельных лиц и небольших групп в середине девятнадцатого века провести в жизнь

утопические идеи. Это одна из самых любопытных страниц истории социального движения...

Он отвернулся от Кати, чтобы скрыть усмешку, обнажившую его мелкие зубы.

— Но писать приходится только по воскресеньям. Я нагружен в районном комитете, и нас мало: в Москве почти не осталось партийцев... Я был освобожден от мобилизации на фронт только по крайне слабому состоянию здоровья... Я истощен физически и морально...

Несмотря на свое болезненное состояние и кажущуюся почти полную невещественность, Маслов оказался довольно расторопен. На другой же день он пошел с Катей в Наркомпрос, познакомил ее с нужными товарищами и помог ей оформиться и получить продовольственные карточки.

Без него Катя совсем бы растерялась в огромном наркомате, со множеством отделов, столов и заведующих, тем более что дух беспокойства и отвращения к рутине гнал сотрудников, по крайней мере, раз в неделю, перетаскиваться, вместе со столами, шкафами и архивами, с места на место, из этажа в этаж, а также менять внутреннюю систему подчинения, связи и ответственности.

Катя сейчас же получила назначение педагогом в начальную школу на Пресне. У другого стола ее мобилизовали в порядке общественной нагрузки на вечерние курсы по ликвидации безграмотности. У третьего стола ее зачалил невероятно худой, оливковый человек, с лихорадочными, огромными глазами, — он повел Катю по коридорам и лестницам в отдел пропаганды искусства. Там ее нагрузили выездными лекциями на заводы.

— Содержание лекций мы уточним после, — сказал ей оливковый человек, — вам будет дана соответствующая литература и план. Не нужно паники, вы — культурный человек, этого достаточно. Наша трагедия в том, что у нас слишком мало культурных людей, — больше половины интеллигенции саботирует. Они горько пожалеют об этом. Остальное поглотил фронт. Ваш приход произвел на всех очень благоприятное впечатление...

И, наконец, в одном из коридоров на Катю наскочил плотный, чрезвычайно суетливый человек с большими губами и в парусиновой толстовке, прозеленевшей под мышками.

— Вы актриса? Мне на вас только что указали, — торопливо заговорил он и, не обращая внимания на ответ Кати, что она учительница, обнял ее за плечи и повел по коридору. — Я вас включаю в летучку, поедете на фронт в отдельном вагоне, по выезде из Москвы — хлеб не ограничен, сахар и лучшее сливочное масло... Репертуар — а! С вашей-то фигуркой — спели, протанцевали, красноармейцы будут хлопать... Я послал на фронт профессора Чебутыкина, ему шестьдесят лет, он химик или астроном, — я знаю? так он называется теперь «король летучки», — поет куплеты из Беранже... Можете меня не благодарить, я чистый энтузиаст...

— Слушайте! — крикнула Катя, освобождаясь из-под его руки. — У меня школа, лекции и ликбез... Я физически не могу...

— Что значит физически? А я могу физически? Шаляпин тоже не может физически, однако я достал ему ящик коньяку, так он теперь сам просится на фронт... Хорошо, вы подумайте... Я вас найду...

Катя шла домой, подавленная ответственностью. Горячий ветер, дуя из пустынных переулков, закручивал вихри пыли и бумажек на булыжной мостовой. Катя свернула на Тверской бульвар. Она высчитывала — хватит ли ей времени, если спать шесть часов? Значит, остается восемнадцать... Мало! Занятия в школе, проверка тетрадей, подготовка к завтрашним урокам... Ликбез — два часа, не меньше... Боже мой, а ходьба туда и обратно? А чтение лекций с ходьбой туда и обратно? Потом — надо же к ним готовиться... Восемнадцати часов мало!

Катя присела на бульваре, кажется, на ту самую скамейку, где они с Дашей в шестнадцатом году встретили Бессонова, он шел — весь пыльный, едва волоча ноги... Какая чушь! Две абсолютно ни к чему не пригодные женщины не знали, что им делать от переизбытка времени, и переживали невесть какую трагедию, когда Бессонов — совсем из стихов Александра Блока: «Как тяжко мертвецу среди людей живым и страстным притворяться...» — поклонился им и медленно прошел мимо, и они глядели ему вслед, и особенно жалким показалось им то, что у него будто сваливались на ходу полувоенные штаны...

Надо спать четыре часа и отсыпаться по воскресеньям. А еще ведь продуктовые очереди! Катя закрыла глаза и застонала... Ветер раздувал у нее завитки волос

на тоненькой шее; залетая в старую липу над Катиной головой, жестоко шумел листьями... И под этот шум Катя в конце концов перестала мучить себя разрешением задачи, как из суток выкроить больше, чем двадцать четыре часа. Ничего, обойдется!.. Мысли ее пошли блуждать вокруг той странной в ней самой перемены, которая не переставала ее изумлять и радовать. В тот час, когда, прижавшись затылком к печи, глядя в разъяренное лицо Алексея, она сказала: «Нет!» — в ней начало расти покойное и уверенное ожидание какого-то нового счастья. Немножко этого счастья она испытала весной: каждый вечер перед сном она вспоминала проведенный день, — в нем ничего не было темного, ничего душного. Катя сама себе нравилась. И вот сейчас она преувеличенно играла в ужас и отчаяние — будто бы от невозможности справиться с общественными нагрузками... Совсем не в этом дело: еще недавно жалкий подобранный котенок вдруг оказался значительным существом, — в Кате, оказывается, даже нуждались, ответственный товарищ с оливковым лицом и очень красивыми глазами говорил с ней с большим уважением... Надо было все это оправдать, — настоящий ужас, если в Наркомпросе скажут: «А мы-то на нее понадеялись...» Здесь, в Москве, было совсем не то, что трястись в степи на возу позади Алексеевой тройки, грызть соломинку и думать: «На что тебе, полонянка, твоя красота?»

Маслов потребовал у Кати подробный отчет. Когда она передала ему разговор с оливковым товарищем, вся правая щека у Маслова собралась концентрическими морщинами кривой усмешки.

— Да, да, — и он отвернул лицо от Кати, — трагедия с интеллигенцией еще половина беды... Есть кое-что гораздо более трагичное.

. . . .

Первого августа Катя открыла школу. Маленькие босые девочки с косичками, завязанными тряпочками или веревочкой, и маленькие, наголо стриженные мальчики в драных рубашонках тихо пришли и тихо расселись на партах. У многих лица были прозрачны и стариковские от худобы.

Катя весь первый день знакомилась с детьми, присаживаясь к ним на парты, расспрашивала и вызывала их на разговоры. У нее уже был небольшой опыт, как

можно сразу заинтересовать детей. Она брала книжку, раскрывала: «Вот книжка, — белые страницы, черные буквы, серые строчки. Глядите на нее хоть с утра до вечера, — ничего в ней больше нет. А если научишься читать, писать да узнаешь историю, географию и арифметику и еще много другого, книжка эта вдруг оживет...»

Она вспоминала — каким любопытством, бывало, начинали блестеть глазенки у девочек и мальчиков у нее в школе в селе Владимирском. Особенно она увлекательно рассказывала про «царя Салтана»:

«Ты начал учить — а, б, в, потом писать буквы на доске, потом по буквам читать слова, а потом — непременно вслух — читать слова подряд от точки к точке... И вдруг, в один прекрасный день, строчки начнут пропадать у тебя в глазах, вместо строчек — увидишь синее море и бегущую на берег волну и услышишь даже, как волна разобьется о берег, и выйдут из морской пены сорок богатырей в железных кольчугах и шлемах, веселые и мокрые, и с ними бородатый дядька Черномор...»

Рассказывая это здесь, на Пресне, она чувствовала, как слова ее будто не попадают в детские уши, слова тускло увядают в классной комнате, где половина звеньев в окнах забита фанерой и на стенках штукатурка облупилась до кирпича. Девочки с такими худыми руками, что их можно пропустить в салфеточное кольцо, и мальчики, с морщинками и болячками, тихо слушали, и в их глазах она замечала лишь снисходительность... Все они думали о другом.

На большой перемене дети пошли на двор, но только несколько девочек стали прыгать на одной ноге, перебрасывая камушек, да двое мальчиков затеяли угрюмую ссору. Большинство уселось в тени забора, где росли лопухи, и так сидели, — никто из них не принес с собой еды.

Все они были сыновьями и дочерьми рабочих, живших в этом районе, у многих из них отцы ушли на фронт. Один из мальчиков, опустив руки на землю, глядел на облако, стоявшее над Пресней, похожее на дым. Катя села около, спросила деловито:

— Петров Митя, правильно я запомнила?

— Ага.

— Папа твой где работает?

— Папаня давно на войне.

— А мама как твоя?

— Мама — дома, больная.
— Папа пишет с фронта?
— Не.
— А что же он не пишет?
— А чего писать-то... Радости мало... Он уходил, сказал маме: я за твою трудовую грыжу десять генералов убью... Он страсть смелый.
— Ты вырастешь, — кем хочешь быть?
— Не знаю... Мама говорит — эту зиму не переживем...

. . . .

На Москву надвигались белые полчища, а еще скорее надвигалась осень. Просияло несколько золотистых грустных дней бабьего лета, и ветер упорно заладил с севера, гоня тучи беспросветными грядами.

В школе нечем было топить железную печку. Катя ходила в Наркомпрос к оливковому человеку жаловаться, он только кивал головой, не отрывая лихорадочных глаз от Катиного милого лица: «Понимаю, Екатерина Дмитриевна, ваше беспокойство и ценю вашу горячность, но с топливом будет ужасно в эту зиму: Наркомпросу обещаны дрова, но они в Вологодской губернии, откуда их нужно везти гужом... В общем, толкайтесь, нажимайте, где только можно...»

Дети приходили в школу посиневшие и мокрые, в таких худых пальтишках, в старых мамкиных кацавейках, которые разве только на огород повесить, что Катя наконец решилась на открытый бандитизм и назначила субботник по снесению забора. Школьный сторож — глухой старик с деревянной ногой, Катя и дети, — а они пришли почти все, — темным вечером, под шум ненастного ветра, разломали забор и все снесли в школьные сени. Сторож напилил дров, и наутро в классной комнате было тепло, влажно, от сырых стен шел пар, дети сидели повеселевшие, и Катя рассказывала им с кафедры о солнечной энергии (об этом она сама узнала только вчера из полезной книжки «Силы природы»).

— Все, что вы видите, дети, — эта кафедра, эти парты и огонь в печи, и вы сами — это солнечная энергия... Овладеть ею — задача человечества... Вот для чего нужно учиться и учиться, бороться и бороться... А теперь мы перейдем к уроку русского языка... Русский язык — это ведь тоже солнечная энергия, поэтому им нужно хорошо овладеть...

Во время перемен дети рассказывали Кате всякие новости. Дети знали все, что делалось на Пресне в Москве, и даже за границей у лордов-мордов. Катя очень многое почерпнула из этих рассказов. Так, раньше чем из газет она узнала о прорыве белых под Орлом, откуда стали прибывать раненые. Две девочки собственными ушами слышали, как у Микулиных — куда они нарочно бегали — Степан Микулин, токарь, только что вернувшийся, бедный, весь простреленный, приподнялся на койке, — а ему докторами строго велено лежать, — и кричал дурным голосом жене и матери:

— Измена у нас на фронте, измена! Дайте мне бумаги, чернил, я напишу Владимиру Ильичу! Лучшие пролетарии кровью умываются, сырой землей укрываются, а Москву не хотят отдавать белому генералу... Не мы виноваты, что Орел сдан, — измена!..

Петров Митя, слушая эти рассказы девочек, сделался бледный, как штукатурка, и глаза у него все расширялись, такие мученические, что Катя села рядом на парту, прижала его голову к груди, но он молча выпростался, — ему было не до утешения, не до ласк.

Несколько дней ливмя лил дождь, и Пресня, казалось, по колено погрузилась в жидкую, оловянную грязь, — дети приходили совсем растерянные от страшных слухов, как чума, распространявшихся по городу. Было трудно заставить детей сосредоточиться на уроках. Рыженькая девочка, Клавдия, не приготовившая сложения и вычитания, громко заплакала посреди урока арифметики. Катя постучала карандашом о кафедру.

— Возьми сейчас же себя в руки, Клавдия.

— Не могу, те-е-е-тя К-а-а-а-тя...

— Что случилось?

Девочка ответила хриповато:

— Мама говорит: все равно, не учись, Клашка, арифметике...

— Что за глупости, мама твоя никогда этого не говорила!

— Нет, она сказала: все равно — вышла из грязи и уйдешь в грязь... Офицеры всех нас конями потопчут...

В сумерках Катя пошла на ликбез, — пробиралась под самыми заборами, чтобы как можно меньше замочить ноги, в отчаянии останавливалась на перекрестках,

не зная, как перебраться через улицу. На квартиру рабочего Чеснокова (не так давно посланного на фронт комиссаром) из десяти женщин, с которыми она занималась, не пришла в этот вечер ни одна. Чесночиха, полгода тому назад вышедшая замуж, беременная, страшно исхудавшая, вся в желтых пятнах, сказала Кате:

— Не ходите вы сейчас к нам, погодите, не до того нам... Да и вам будет лучше.

Она показала Кате записочку от мужа, с фронта: «Люба, если Тулу возьмут, тогда готовьтесь. Москву отдавать не будем, только через последний труп... Пишу наспех с оказией... Может случиться, к тебе зайдет военный товарищ Рощин — ты ему верь. Он расскажет обо всем, — хорошо, если его послушают наши товарищи... Да пусть ему помогут, если ему что будет нужно. За всем тем жив, здоров, научился ездить верхом, о чем никогда не гадал...»

— Ждем этого товарища Рощина, да что-то не едет, — сказала Чесночиха, тоскливо глядя на мокрое окошко. — Приходите тогда, послушайте, я за вами девчонку пришлю... Это кто же Рощин — не ваш ли муж?

— Нет, — ответила Катя, — мой муж давно убит.

Вернувшись домой, она затопила железную печурку с трубой в форточку — «пчелку», окрещенную так потому, что печечки эти попевали, когда их топили лучинками, — ее сделали на Пресне рабочие и сами установили в Катиной комнате, полагая, что их учительнице будет много работоспособнее ночевать в некотором тепле. Катя сняла размокшие башмаки, чулки и юбку, забрызганную грязью, вымыла ноги в ледяной воде, надела все сухое, налила чайник и поставила на пчелку, вынула из кармана пальто кусочек серого колючего хлеба, — нарезав кусочками, положила на чистую салфетку рядом с чашкой и серебряной ложечкой. Все это она делала рассеянно. Когда стукнула кухонная дверь и в коридоре проволоклись невыносимо медленные шаги Маслова, она пошла и постучалась к нему.

— А! Мое почтение, Екатерина Дмитриевна. Присаживайтесь. Сволочь погода... А вы все, я вижу, хорошеете. Хорошеете. Так-с...

Он был почему-то необыкновенно зол в этот вечер. На вопрос Кати: что в конце концов происходит, почему такая повсюду тревога? — он, не отворачиваясь, устроил

тонкими губами одну из своих самых ядовитых усмешечек:

— Вас интересуют партийиые новости или что еще? Фронт? Наших бьют. Что еще я могу вам сказать? Бьют! А в Москве, как всегда, оптимистическое, бодрое настроение... Массовая мобилизация коммунистов против Деникина... В Петрограде массовые обыски в буржуазных кварталах... Вынесено решение о закрытии всех фабрик и заводов из-за недостатка топлива... Последняя, уже окончательно ободряющая, иовость: объявлена перерегистрация партийных билетов, то есть очистка авгиевых конюшен... И вот тут-то мы и победим и Деникина, и Юденича, и Колчака...

Он возил ноги по комнате, забросанной окурками; из-под концов мокрых, грязных брюк его волочились развязавшиеся тесемки подштанников... Расхаживая, он щелкал пальцами, которые от вялости плохо щелкали.

— Вот тут-то и победим, тут-то и победим, — повторял он издевательским голосом. — Вам, разумеется, это все непонятно... И не удивительно, что вам непонятно... Гораздо удивительнее, что и мне, иапример, непонятно... Не понимаю больше ни-че-го... Социализм строится на базе материальной культуры... Социализм — высшая форма производительности труда. Так. Наличие высокоразвитой иидустрии — обязательно? Да. Наличие высокоразвитого многочисленного рабочего класса — обязательно? А как же! Мы Карла Маркса читали, крепко читали... Ну что ж, займемся перерегистрацией... Есть еще у нас порох в пороховницах...

Катя так от него ничего не узиала толком. В Наркомпросе, куда на следующий деиь она пошла за инструкциями, в главном коридоре, где иикогда не замечалось сквозняка, а сегодня (не то где-то вышибли окошко, не то нарочно растворили) дуло пронзительным холодом, и, несмотря на это, повсюду собирались шепчущиеся кучки сотрудников; Катя напрасно ходила из комнаты в комнату, — ей только сообщила одна сотрудница, пряча нос в скунсовый вытертый воротник:

— Да вы что — спросонок, гражданка, ие знаете, что мы, должно быть, эвакуируемся в Вологду...

И вдруг, так же внезапно, произошла крутая перемена. Утром, только забрезжило, Катя побежала в школу. На Садовой ей пришлось остановиться и пережидать.

По закаменевшей грязи, дробя замерзшие лужи, под огромными, воющими уже по-зимнему, голыми липами проходили вооруженные отряды рабочих. За ними ехали телеги. И снова, тесно ряд к ряду, шли колонны, ступая медленно, как зачарованные. То тут, то там суровые неспевшиеся голоса затягивали «Интернационал». На кумачовых полотнищах, которые они несли, наспех, кривыми буквами было написано: «Все на борьбу с белыми бандами Деникина!», «Да здравствует пролетарская революция во всем мире!», «Осиновый кол мировой буржуазии!» Из утренней хмурой мглы приближались и проходили все новые колонны. Катя глядела на эти лица — обросшие, худые, истощенные, темные, и, казалось, у всех у них было единое во взгляде, в плотно сложенных ртах: преодоленное страдание, решимость, неумолимость...

В школе дети сейчас же рассказали Кате новость: вчера на Пресне, на Механическом заводе, был Ленин, и началась партийная неделя...

Неподалеку от Воронежа к Мамонтову присоединился кубанский корпус Шкуро. Теперь у него было шесть кавалерийских дивизий против двух у Буденного. Он остановился и стал поджидать его. Мамонтов был осторожен. Он выделил часть сил для укрепления обороны Воронежа; оба корпуса перестроил в три колонны и выбрал место для боя, где будет окружена и уничтожена красная конница, — огромное поле, упирающееся в полотно железной дороги, по которой крейсировал бронепоезд — стальная черепаха с шестидюймовками.

Буденный был смел, но расчетлив. Он получал подробные сведения о всех приготовлениях и махинациях генерала Мамонтова... Какая-нибудь девчонка, с коряво нацарапанной запиской, запрятанной под платок — под косу, или горемычная бабушка, с мешком для кусков, проходили через заставы белых, — мало кто польстится на вшивую девчонку, а уж от бабуни отплюется всякий казак, — и они находили буденновских разведчиков и передавали им сведения.

Буденный остановился между лесом и болотами, не дойдя до широкого поля, предназначенного ему для гибели. Он приказал вволю кормить коней и хорошо осмотреть подковы (кони были кованы только на передние ноги). Приказал пополнить огнеприпасы и взамен пшена да пшена — приелось пшено — выдать бойцам трофей-

ной солонины с бобами, сладкого консервированного молока да разного рассыпчатого печенья и духовитого табаку, чтобы позабавиться у костров. Все это добывалось из «передвижного арсенала», как назывались богатые обозы белых. Сейчас они день и ночь тянулись из Воронежа к Мамонтову. Особенно наказывал Семен Михайлович — взять новенькие японские карабины, чтобы заменить ими, насколько возможно, старые винтовки, расшлепанные в боях, а также канцелярские принадлежности.

Прикрываясь лесом и болотами, можно было спокойно отоспаться перед серьезной операцией. Но она представлялась бойцам все же столь серьезной, — схватиться врукопашную с шестью донскими дивизиями, — что мало у кого наблюдалось спокойствие. Они чистили коней не как-нибудь, а до белого платочка, чинили седла, точили шашки. Ни песен, ни гармошек не слышалось по эскадронам, — велись глубокомысленные разговоры. Завидят комиссара и машут, — поди сюда, коммунист... «Расскажи нам, товарищ дорогой: кончим Мамонтова — неужто не будем брать Воронеж, ведь эдакая сила у них там всякого добра?..» Комиссар отвечал, что насчет Воронежа Семен Михайлович пока распоряжения не давал. Тогда начинались споры: можно ли кавалерией брать укрепленный район? Одни говорили, что можно при большом одушевлении, другие утверждали, что это противозаконно.

Телегинский эскадрон, назначенный в сторожевое охранение, стоял у края болота. На юг начиналось поле, где время от времени маячили белые разведчики. Было известно, что в той стороне группировалась одна из трех мамонтовских колонн. Там по ночам мерцал в тучах слабый отсвет костров.

В эскадроне также много было разговоров вокруг да около предстоящей битвы, на которую съехались такие небывало крупные и могучие конные массы. Старый кавалерист Горбушин рассказывал, как в четырнадцатом году был один такой бой под Бродами: австрийская гвардейская дивизия —четыре полка — лихо атаковала нашу легкую кавалерийскую дивизию, да после этого боя австрияки уж отвели всю свою конницу в тыл... Атаковали они сверху с полугоры, рассчитывая опрокинуть наших в лощину. А наши вылетели навстречу из лощины в гору, на флангах по четыре казачьих сотни

с пиками, в центре уланы, с пиками же, да ахтырские гусары, с желтыми околышами, желтыми кантами, — лихие были гусары! Наши понимают, что австриякам с горы, с такого разгона, нельзя будет поворачивать, — и как начали они с нами сближаться, не ожидали они такой нашей злости, сдерживают коней, — поздно! Наши их пиками — снизу вверх — очень способно; ткнет, да пику-то бросит, да через строй проскочит, да обернется и — рубит шашкой, да не по плечам, — у них под погонами подложены стальные пластины, — а поперек туловища... Так и остались лежать на полугоре все четыре гвардейских полка, порубленные, приколотые к земле пиками, — страховище!

Латугин, который не особенно любил, когда кто-нибудь при нем занимательно рассказывал, перебил этого старого рубаку:

— Ну да, было, было, мало что было, это игра случая... А ты расскажи-ка про то, как трое наших красноармейцев германский батальон захватили... Не знаешь? А-а!.. То-то, что надо бы тебе знать...

— А ну, рассказывай, Латугин, — раздались голоса.

Он сидел на коленках у костра, у самых углей, озарявших его осунувшееся лицо, на нем остались одни жилы после трех недель мотанья в седле. Он, Гагин и Задуйвитер с самого начала взяты были Телегиным в комендантский батальон и два месяца наедали щеки, а теперь числились кавалеристами в составе эскадрона.

— Был у нас в Десятой Ленька Щур, другого такого головореза едва ли можно найти, если даже хорошо искать, — начал рассказывать Латугин, положив руки на эфес шашки, упертой торчком. — Прошлой осенью, в бытность свою еще в одной украинской бригаде, выехал он в разведку с двумя товарищами. Едут они, ничего не думают и напоролись на немцев, на — без малого — целый батальон. Расположились немцы в глухой местности и варят себе суп...

— Ну, уж это ты врешь, — сказал кто-то из слушателей, — станет германец в глухой местности варить суп...

Латугин тяжело поглядел на этого человека:

— Объяснить тебе — почему они варили суп?.. Хорошо... Немцы пробирались домой, это уж у них была революция... На Украине кругом все села восстали, обгородились пулеметами, никуда не сунешься, германцы

обголодались... Теперь понятно тебе?.. Не успели немцы всполошиться, Ленька выхватывает из сумы чистую портянку, нацепил на шашку и смело едет к ним. «Сдавайтесь, говорит, вы окружены огромной силой кавалерии, мы даже и шашек кровенить не станем, потопчем вас одними конями...» Нашелся переводчик, эти слова его перевел. Командир батальона, унтер-офицер, плотный немец отвечает Леньке: «Сомневаюсь, чтобы в ваших словах была правда...» А Ленька ему: «Это правильно, что вы сомневаетесь, садитесь на коня, едем в наш штаб, там предложат вам приличные условия...» Немцы серьезно посовещались, командир говорит: «Гутморген, — ладно, — мы с вами поедем в тройном против вас количестве, в случае, — если будет коварство с вашей стороны, — по дороге вас шлепнем...» Ленька ему: «Пожалуйста, а коварства никакого не будет, вы имеете дело с бойцами революции...» Поехали. Приезжают в штаб. Начинаются с германцами переговоры. Они требуют пропустить их к железной дороге и хотят, чтобы дали им пшена пудов двадцать пять. А наши требуют, чтобы немцы отдали оружие и две пушки. Немцы уперлись, и наши уперлись. А Ленька тут же все время вертится и говорит: «Товарищ комбриг, они голодные — оттого несговорчивые, я их проагитирую, прикажи выдать доброго сала и пшеничного хлеба». О спирте он, сатана, официально не упомянул, а заведующий хозяйством был ему любезный кум, он у него и спроворил четверть. Сел он с немцами в хате, нарезал сала, хлеба, налил спирту в кружку и давай разговаривать о том и о сем, — как у нас на Украине хорошо едят да хорошо пьют, да и народ, вообще, располагающий к симпатии. Похвалил он и немцев за то, что они Вильгельма скинули. И хотя разговор у них происходил без переводчика на этот раз, — немцы все понимали: он их и кулаком по спине оглаживал дружески и, взяв за уши, целовал. Скоро за столом остались двое, он да командир ихний, унтер-офицер. Ленька надрывается, а немец только смеется, пальцем качает... Прислали от начштаба — узнать, как дела? Ленька отвечает: «Плохо, командир не поддается агитации, надо еще четверть...». Ну, уж когда кончили они эту вторую четверть, у стола остался один Ленька. Немцы переночевали. Утречком унтер-офицер оставил своих товарищей заложниками — все равно они с перепою и на коня

не могли влезть — и вдвоем с Ленькой уехал. А к вечеру привел весь батальон, — человек четыреста, — с красным флагом... Так ему понравилась Ленькина агитация...

Когда Латугин кончил рассказ, — гораздо более выдающийся, чем у Горбушина — про бой под Бродами, — и красноармейцы дружно смеялись: кто ржал, показывал все зубы, кто вытирал слезы, кто только охал, помахивая рукой,— к костру подошел Рощин и, наклонившись к Латугину, сказал:

— Разыщите Гагина и Задуйвитра и с ними приходите к палатке.

. . . .

В утреннем белом тумане, плотно лежащем по всему полю, мчались пятеро всадников, — на гнедой кобыле со стриженой гривой — Рощин, на полкорпуса впереди него, на вороном жеребчике, — маленький Дундич, серб, командир одного из буденновских эскадронов; на своем непримиримом пути Дундич нашел вторую родину и со всем пылом простодушного, жизнерадостного и отчаянно смелого человека полюбил необозримую Россию и ее необозримую революцию; он и Рощин были одеты в светлые офицерские шинели с золотыми погонами; позади, понукая, скакали, в лихо смятых фуражках с кокардами, в полушубках с урядническими погонами, Латугин, Гагин и Задуйвитер.

Им была поставлена задача: проникнуть в Воронеж, высмотреть расположение артиллерии, наличие конных и пеших сил и напоследок вручить командующему обороной — генералу Шкуро — запечатанный пакет, в котором находилось письмо Буденного.

Дундич любил жизнь и любил играть с ней в опасную игру, а в эти бодрящие октябрьские дни, когда мускулы так и потягивались под гимнастеркой, — лишь потяни ядреный воздух утреннего тумана, полный всяких отличных запахов, — ему в особенности не терпелось без дела. Он сам вызвался передать Шкуро запечатанный пакет. Он пошел разыскивать Рощина и сказал ему:

— Вадим Петрович, вы очень подходящий человек для одного небольшого приключения, — вы знаете офицерские обычаи и всякую обходительность. Вы бы не согласились сбегать со мной в Воронеж? Это займет один день. Будет добрая проскачка. Буденный обещал нам личных коней, Петушка и Аврору...

Смешно было — соглашаться или не соглашаться. Вадима Петровича неприятно только кольнуло упоминание об офицерской обходительности. Но и вправду ему пришлось провозиться весь вечер, обучая товарищей — как нужно нижним чинам тянуться, козырять и отвечать и какой должен быть внешний вид у офицера-добровольца: у дроздовцев — в лице ирония, любят носить пенсне — в честь их покойного шефа; у корниловцев — традиционно тухлый взгляд и в лице — презрительное разочарование; марковцы шикарят грязными шинелями и матерщиной.

Было условлено: если остановят и будут спрашивать, — отвечать: «Везем в Воронеж секретный пакет от командира резервного добровольческого полка, прибывшего с юга в район Касторной». Это и туманно и убедительно.

Часа через три хорошего хода, в белесом свете, прорвавшемся ненадолго из-под свинцовых туч, показался Воронеж, — купола, пожарные каланчи, красноватые крыши. За все время пути не привязалась ни одна разведка, — посмотрят в бинокль на пятерых всадников, скачущих в направлении города, и шагом едут дальше. Первая задержка произошла на мосту. Деревянный, на живую нитку построенный мост охранялся. По нему похаживали какие-то солидные люди в бескозырках, в белых нагольных кожанах, какие носят бабы на Украине, и все почему-то с окладистыми бородами. На той стороне около предмостных окопов курила кучка юнкеров.

Дундич остановил коня, спрыгнул и начал подтягивать подпругу.

— Показывать липовые документы не совсем желательно, — сказал он вполголоса. — Река вздулась, переезжать где-нибудь вброд, — замочимся по шею, это еще более нежелательно. Придется ехать через мост.

— Ладно, отругаемся, — мрачно сказал Латугин.

Задуйвитер тут же задавился смехом:

— Ой, товарищи, лопни глаза — так ведь это ж попы на мосту, жеребячья команда...

— Шагом и весело, вперед, — сказал Дундич, как кошка вскакивая в седло. Бородатые люди на мосту разноголосо зашумели: «Стой, стой». Дундич ехал на них, туго держа повод и щекоча шпорами Петушка. Но они подняли такой крик, размахивая винтовками, что конь

под ним начал поджимать зад, зло охлестываться хвостом. Пришлось остановиться. Несколько рук потянулось, чтобы схватить за узду. Латугин закричал, напирая лошадью:

— Очумели: у его высокоблагородия повод трогать! Кто вы такие вообще, — покажи документы!

— Молчать! Осади коня! — спокойно, через плечо, сказал ему Дундич и — с белозубой под торчащими усиками улыбкой — нагнулся с седла к бородачам:

— Вы требуете пропуск через мост? У меня его нет... Я подполковник Дундич, со мною — моя охрана... Вы удовлетворены? Благодарю вас...

И он, засмеявшись, послал Петушка так, что тот храпнул, взвился, показывая серо-замшевое брюхо, и прыгнул мимо бородачей, едва отскочивших в стороны. Но сейчас же Дундич осадил его и перевел на шаг. На том берегу началась тревога. Юнкера побросали папироски и, путаясь в полах длинных до земли шинелей, побежали к глинистым окопам, откуда на всадников повели стволами два пулемета. Командир предмостного укрепления, — высокий офицер с вялым усатым лицом,— крикнул, лениво растягивая слова, таким знакомо наглым голосом, что Рощин от омерзения стиснул зубы:

— Эй, там на мосту, спешиться, приготовить документы... По счету два — открываю огонь...

Дундич, — свернув рот в сторону Рощина:

— Ничего не поделаешь, придется атаковать.

Рука его потянулась к шашке. Рощин быстрым движением остановил его.

— Теплов! — крикнул он высокому офицеру. — Отставь пулеметы... Это я — Вадим Рощин...

И он неторопливо слез с лошади и, ведя ее в поводу, один пошел через мост. Офицер этот был тот самый Васька Теплов — когда-то его однополчанин — пьяница, хвастун и дурак, которого Рощин однажды серьезно предупредил, что набьет ему морду за сплетни и пошлость. Теплов подозрительно глядел на приближающегося Рощина, медленно пряча наган в кобуру.

— Не узнал... С перепою, что ли? Здравствуй, елки точеные...— Рощин, не снимая перчатки, подал ему руку. — Чего ты тут делаешь? Набрал себе команду пузатых бородачей, вот идиотина! Тебе же время полком командовать... Опять разжалован, что ли? За пьянство, конечно?

— Фу-ты, елки точеные! — проговорил Теплов, шепелявя из-за того, что под усами у него чернела дыра вместо передних зубов. — Вадим Рощин!.. — И лиловые под глазами мешочки у него задрожали. — С неба свалился... Мы же считали тебя дезертиром...

— Спасибо!.. — Рощин взглянул упорно и горячо в глаза ему (Теплов, чувствуя неудобство от этого взгляда, счел за лучшее не продолжать разговора о дезертирстве). — Очень вы хорошего мнения обо мне... Я все время был в Одессе у Гришина-Алмазова... А теперь начальник штаба Пятьдесят первого резервного. Может быть, тебе все-таки предъявить мои документы?.. — вызывающе спросил он, обернулся и махнул: — Дундич, подъезжай, можешь не слезать с коня...

Теплов только сердито засопел, он всегда побаивался Рощина:

— Брось, в самом деле, дурака валять... Ты усвоил какую-то особую манеру со мной разговаривать, Рощин... Куда вы едете?

— К генералу Шкуро. Подошли с полком вам на выручку. Говорят, вы тут очень Буденного испугались...

— Да, понимаешь, такой у нас тут бордель... Все гражданское население мобилизовали, отставных генералов, какую-то сволочь чиновников... Попов нарядили, мне прислали...

Рощин вынул портсигар, в нем были иностранные папиросы, захваченные вчера в штабном обозе. Теплов закурил, побросал себе на усы душистый дымок.

— Вот! — удивился. — Елки точеные, настоящие заграничные! Откуда? А нам махру выдают... Адская изжога от нее... Дай, пожалуйста, хоть парочку, про запас...

— Ну, как, в общем, живешь, Васька?

— Живу сволочно, — денег нет... Все надоело... — Он исподлобья покосился на соскочившего с коня Дундича, на трех мрачных кавалеристов позади него. — Если рассчитываете в Воронеже повеселиться — ма́ком, господа... Краснопузая сволочь все вычистила, — ни одного кабака, ни одного заведения с девочками, — прямо отдохнуть негде...

— Познакомься, — сказал Рощин, — подполковник Дундич.

— Штаб-ротмистр Теплов.

Они откозыряли друг другу. Дундич, — морща смехом смуглое быстроглазое лицо:

— Жалко, жалко, — сказал, — а мы на самом деле мечтали повеселиться... Деньжонок захватили...

— Да есть, конечно, по частным квартирам девчонки, и николаевку можно достать, и шампанское припрятано у спекулянтов... Пятьсот рублей бутылка! Ну, что это такое! — Припухшие, с постоянно набегающей слезой, глаза Теплова изобразили негодование. — Комендатура прямо, как со святыми, носится с этими спекулянтами... Спасители отечества! В Тамбове, понимаешь, мы напились... Ну, — счет дикий, ну, — платить же нечем, ну, я в рожу и заехал... И разжаловали... Понимаешь, Вадим, у нас в частях очень подавленное настроение. В конце концов — отдаем жизнь... Уходит молодость... А что — впереди? Разоренная Москва? Безденежье... Тебе хорошо, ты университет кончил, — снял к черту вшивый мундир и читай себе лекции какие-нибудь... А мне — тяни лямку... Да и армии-то настоящей нам не позволят держать...

— Штаб-ротмистр, вам необходимо рассеяться, — сказал Дундич. — Едемте в город. Дéла у нас только — передать пакет командующему и потом — на всю ночь... Я отвечаю шампанским...

— Черт знает что такое! — проговорил Теплов, потянувшись скрести за ухом, — неудобно оставить пост, так — здорово живешь...

— А ты передай команду старшему по взводу, — сказал Рощин. — А коменданту скажешь, что у тебя закралось подозрение — не переодетые ли мы красные разведчики... На худой конец — обругают тебя дураком...

Теплов разинул беззубый рот и захохотал и — вытирая глаза:

— Это идея! И я еще даже хотел вас арестовать...

— Правильно...

— Старший унтер-офицер Гвоздев! — уже раскатисто-бодро крикнул Теплов, обернувшись к окопу, где опять скучали юнкера около пулемета. И когда старший унтер-офицер, лет восемнадцати мальчишка с голубыми наглыми глазами, подошел и отчетливо, держа локоть вровень плеча, взял под козырек, Теплов ему передал командование и приказал подать лошадь.

. . . .

По дороге к городу, ерзая от нетерпения в седле, Теплов рассказал все, что было нужно: какие в Воронеже воинские части и сколько артиллерии, где она расположена...

— Собачья паника, и больше ничего... Извольте видеть — у Кутепова под Орлом какая-то неудача — так наши в штаны валят... Никогда этого прежде не было... А помнишь, Вадим, «ледовый поход»? У нас теперь пошло одно словечко: «сердце потеряли...» Да, да, что-то утеряно, — прежний пыл... Да и мужики здесь сволочи, — волками смотрят... Прав, прав генерал Кутепов, — он, говорят, отрезал главнокомандующему: «Москву можно взять при условии: дать населению земельную реформу и виселицу...» Чтобы ни одного телеграфного столба порожнего не осталось... Вешать, как при Пугачеве, — целыми деревнями... А впрочем, все это скучная материя... Мне дали один адресок: две сестры, обязательнейшие девушки, играют на гитарах, поют романсы, — с ума сойти, елки-палки! Знаете что, — давайте уж прямо сразу к ним...

Теплова, видимо, хорошо знали, — несколько встретившихся патрулей только откозыряли, даже и не покосившись на Дундича и Рощина. На главной улице свернули к чугунному подъезду гостиницы. Теплов слез и, раздвигая ноги, сказал застенчиво:

— Не люблю лишний раз глаза мозолить, я лучше вас здесь подожду... Главный штаб — во втором этаже... Только, господа, скорее. — И строго — рябому, с татарскими усиками, кубанскому казаку, стоящему в подъезде: — Пропусти, болван...

Дундич и Рощин поднялись по чугунной сквозной лестнице. На пакете Буденного стояло: «Генерал-майору Шкуро, лично, секретно...» Решено было — передать пакет через адъютанта. В зале ресторана с ободранными окнами помещалась канцелярия, — Дундич и Рощин вошли туда, и сейчас же перед ними в другие двери вошли два человека: один, длинный и громоздкий, с пышными подусниками на грубо красивом лице, был на костыле, топорщившем под мышкой его светло-серую генеральскую шинель. Рощин узнал Мамонтова. Другой — в коричневой черкеске — с воспаленным, скуластым, хулиганским лицом с разинутыми ноздрями вздернутого носа, был генерал Шкуро. Войдя, они остановились около

стола, где штабной офицерик в широких, как крылья летучей мыши, галифе диктовал что-то хорошенькой блондиночке, которая высоко подбрасывала руки, печатая на ундервуде.

Рощин указал Дундичу на Шкуро, спрашивая: «Что же теперь делать?» Мамонтов в это время обернулся и, увидев двух незнакомых офицеров, басовито приказал:

— Подойдите, господа...

Рощин вытянулся, оставшись у дверей. Дундич подошел к Шкуро:

— Имею передать вашему превосходительству пакет.

Шкуро стоял почти спиной к Дундичу, он не обернулся, только повел крепкой красной шеей, в которую врезался галунный ворот, и, не глядя в лицо, подняв по-волчьи верхнюю губу, спросил:

— От кого пакет?

— От командира Пятьдесят первого резервного, прибывшего на правый берег Дона в ваше распоряжение...

— Это что еще за Пятьдесят первый полк? — теперь уже повернувшись, но все так же неприязненно проговорил Шкуро, взял пакет и вертел его в пальцах. — Кто командир?

Вадим Петрович, стоявший в дверях, почувствовал неприятный холодок и опустил руку в карман шинели на рукоятку нагана. Получалось в высшей степени глупо, и неумело, и напрасно... Дундич сейчас брякнет какую-нибудь несусветную фамилию... Жаль! Могли бы привезти Буденному ценные сведения...

— Командует Пятьдесят первым полком граф Шамбертен, — не задумываясь, ответил Дундич и веселым взглядом поймал косой, налитый желчью, непроспанный взгляд Шкуро. — Разрешите идти, ваше превосходительство?

— Постойте, постойте, подполковник. — Мамонтов неуклюже начал поворачиваться на костыле. — Что-то знакомая фамилия, позвольте-ка... — Мясистое красивое лицо его вдруг болезненно исказилось: неловким движением он разбередил ногу в лубке, раздробленную пулей на прошлой неделе, когда он на тройке уходил от Буденного. — А, черт! — пробормотал он. — А, черт!.. Можете идти, подполковник...

Дундич, откозырнув, сделал четкий полуоборот и по-

шел к двери. Рощин видел, как Шкуро, говоря что-то все еще сморщенному от боли Мамонтову, медленно разрывал пакет; в нем находилось письмо, подписанное Семеном Буденным; содержание было известно Дундичу и Рощину: «24 октября, в шесть часов утра, я прибуду в Воронеж. Приказываю вам, генералу Шкуро, построить все контрреволюционные силы на площади у круглых рядов, где вы вешали рабочих. Командовать парадом приказываю вам лично...»

Они спускались по чугунной лестнице. Навстречу им поднимались — гуськом — юнкера с винтовками. Рощину казалось, что маленький Дундич — впереди него, — задрав нос, отчетливо позвякивая шпорами, — идет слишком медленно... Ненужная и глупая бравада!..

Наверху, на втором этаже, раздался резкий, хриплый крик... Дундич и Рощин вышли в подъезд, где к ним с тротуара кинулся Теплов, — дряблое лицо его с висячими усами жаждало шампанского, романсов и девочек...

— Ну, слава богу, господа... Едем...

Засунув сапог в стремя, он запрыгал на одной ноге около заартачившейся лошади. Рощин был уже в седле. Дундич вынул портсигар, закурил, — смуглые, сухие пальцы его слегка дрожали, — он бросил горящую спичку, взял у Латугина повод и — резко:

— В первый переулок, налево, рысью — марш!

До первого переулка было всего десяток домов; Латугин, Гагин и Задуйвитер, цокая копытами по булыжнику, первые свернули туда; Теплов завопил, сдерживая лошадь и оборачиваясь:

— Господа, господа, следующий — направо...

Но лошадь его занесла вместе со всеми налево. Рощин, сворачивая, на углу обернулся и видел, как из подъезда гостиницы выбегали юнкера, торопливо оглядываясь и щелкая затворами.

— Рощин, что за черт! — едва не плача, кричал Теплов, переходя со всеми в галоп. Дундич на скаку плотно прижал к нему коня, перегнувшись, крепко схватил его за кисть руки и, обрывая шнур, выдернул у него из кобуры револьвер.

— Шампанское за мной! — крикнул он ему, скаля зубы. Теперь уже и он, и Рощин, и трое бойцов мчались по кривому переулку во весь опор мимо домишек, забо-

ров, старых лип, которые цеплялись голыми сучьями за их шапки. Позади слышались выстрелы. Не сбавляя хода, они проскакали поле, близ моста опять перешли на рысь и уже шагом подъехали к предмостным окопам. Дундич позвал, похлопывая коня по дымящейся шее:

— Старший унтер-офицер Гвоздев! — и когда тот, пряча в руках папиросу, подошел: — Штаб-ротмистр Теплов просил меня передать, что вернется через полчаса. Двадцать четвертого утром мы опять будем здесь, так вы нас пулеметами не пугайте...

— Слушаюсь, господин подполковник...

Когда мост остался далеко позади и были уже сумерки и взмыленным коням, начавшим спотыкаться, дали передышку, — Дундич сказал Рощину:

— Мне очень неприятно перед вами и перед товарищами... Много раз я ругал себя за щегольство... Опасность пьянит, ум обостряется, влюблен в самого себя, забываешь о цели и ответственности... И потом всегда раскаиваешься... Если бы сейчас товарищи слезли с коней, стащили меня за ногу и отколотили, — я бы не обиделся, даже почувствовал бы облегчение...

Рощин закинул голову и громко захохотал, — ему тоже нужно было освободить себя от длительного, сдавившего его всего напряжения.

— А и верно, Дундич, стоило вас хорошенько отдубасить — особенно за ту папиросочку в подъезде...

. . . .

Хитрость Буденного удалась. Мамонтов и Шкуро, прочтя его письмо, переданное с таким неслыханным нахальством лично им в руки, пришли в неописуемую ярость. Чтобы так писать, да еще назначить день и час взятия Воронежа,— нужна уверенность. Значит, она была у Буденного. Генералы потеряли чувство равновесия.

Его план поражения белой конницы строился на контратаке всеми своими сосредоточенными силами последовательно против трех колонн донских и кубанских дивизий, стремившихся окружить его. Они медлили с наступлением и ограничивались разведкой. Теперь он был уверен, что они бросятся на него очертя голову.

В ночь на девятнадцатое октября разведка донесла, что началось движение противника. Час кровавой битвы наступил. Семен Михайлович, сидевший со своими нач-

дивами при свече над картой, сказал: «В час добрый», — и отдал приказ по дивизиям, по полкам, по эскадронам: «По коням!»

В темной ли избе, — или в поле, в окопчике, прикрытом ветвями и сеном, или просто под стогом зазвонили полевые телефоны. Связисты услышали в наушники то, что все ждали с часу на час. Вестовые, кинувшись на коней, на скаку заправляя стремя, помчались в темноту. Бойцы, спавшие не раздеваясь в эту черную, как вражья могила, безветренную ночь, пробуждались от протяжного крика: «По коням!» — вскакивали на ноги, стряхивая сон, кидались к коновязям и торопливо седлали, подтягивали подпруги так, что лошади шатались.

Эскадроны съезжались на поле, по крикам команды, перекатывающимся по фронту, находя в темноте свое место. Строились и долго ожидали, поглядывая в сторону, где должна вот-вот забрезжить заря. По-ночному тяжело вздыхали кони. Промозглый холодок пробирался под стеганые куртки, полушубки и тощие солдатские шинелишки. Молчали, не курили.

И вот далеко раздался первый булькающий выстрел. Послышались голоса комиссаров: «Товарищи, Семен Михайлович приказал вам разбить противника... Наемники буржуазии рвутся к Москве, — смерть им! Покройте славой революционное оружие».

Заря не осветила поля. Лежал туман. С тяжелым топотом — стремя к стремени — мчалась развернувшаяся на версты лава восьми буденновских полков. В густом тумане было видно только — товарищ справа, да товарищ слева, да впереди конские зады, прыгающие в зыбком молоке.

Противник был близко — на сближении. Уже слышались его беспорядочные выстрелы. Уже бойцы, все посылая, все посылая коней, вытягивали шеи, силясь увидеть его... И вот по всей лаве прокатился крик, — громче, злее, яростнее. Передние увидели его...

Из тумана стали вырастать тени заворачивающих всадников. Не выдержало сердце у донских казаков. Они такой же лавой мчались навстречу... Да, видно, черт занес их так далеко от родных станиц — рубиться с этими красными дьяволами. Услышали, как гудит и дрожит все поле, поняли — какая страшная сила сшибет вот-вот коней и людей, смешает, закрутит, и повалятся горы

окровавленных тел... Было бы за что! И понадеялись казаки на резвых донских скакунов, — стали осаживать, поворачивать... Разве только несколько самых отчаянных, пьяных от удали, врезались в буденновскую лаву, рубя шашками сплеча и наотмашь...

Не спасли донские скакуны. Те, кто уже повернул, сталкивались с тем, кто еще стремился вперед... Свои сшибали своих... Наскакивающие буденновцы рубили, и топтали, и гнали... Начались дикие крики... В тумане только и видно было — прильнувшего к гриве всадника и другого, настигающего его, завалясь в седле, для удара шашкой... Визжали, хватая зубами, взбесившиеся кони...

Теперь уже все казачьи полки повернули наутек. Но глубоко с фланга им путь преградили пулеметные тачанки и огнем отбросили их в сторону. А там, в смешавшиеся в беспорядке кучки скачущих казаков, врезались свежие буденновские эскадроны.

До белого света продолжалось преследование двух мамонтовских дивизий. Тысячи трупов в синих казачьих бешметах, в шароварах с красными лампасами лежали на поле, и носились испуганные кони без ездоков.

В обед буденновцы огромным табором на ровном поле толпились у хороших, из чистой меди, походных кухонь, отбитых у неприятеля. В них дымился кулеш, как полагается, из пшена с салом, и на этот раз с добавкой макарон, рису, бобов, солонины, и много еще такого для вкуса было намешано туда кашеварами.

Плотно поев, бойцы курили и хвалились друг перед другом: кто оружием, добытым в бою, — кавалерийской шашкой в серебре, японским карабином, — кто донским скакуном, — рыжим, с лысиной, в чулках.

Возбуждение от боя не улеглось, — куда там! Повсюду заиграли гармонии. Гаркнули голоса с подголосками: «Все тучки, тучки понависли, на поле пал туман...» А кое-где под треньканье балалайки пошли стучать каблуками, под присвист — взмахивать руками, как лебедь крыльями, — дробно бить землю вприсядку.

Но вот протяжно заиграли рожки. Снова — в бой, на трудную работу! Вдали шагом проехал Буденный, в бурке и серебристой папахе, и с ним оба начдива. И снова начали строиться полки, и в гуще их поплыли, колыхаясь, восемь красных знамен.

. . . .

Страшный разгром первой колонны заставил белых приостановить окружение Буденного, — первоначальный план был сорван, и он сейчас же воспользовался этим замешательством противника. В ту же ночь на рассвете буденновцы атаковали вторую колонну мамонтовцев, она также не выдержала удара и отступила к железнодорожному полотну, под охрану бронепоезда. Он шел из Воронежа, тяжело громыхая через мосты. Под стальными башнями его у шестидюймовок и пулеметов артиллеристы-офицеры всматривались в медленно редеющий туман. Время от времени впереди на полотне появлялся машущий флажком связист. На минуту бронепоезд приостанавливался, принимая сведения. Так стало известно о тяжелом состоянии второй колонны, которую буденновцы гнали к полотну.

Бронепоезд развил скорость. Не умолкая, ревел хриплый гудок на его паровозе, давая знать своим о близкой помощи.

Артиллеристы, глядевшие в башенные щели, различили неясную в тумане тень, — она неслась по полотну навстречу бронепоезду. Он застопорил и дал задний ход. По быстро вырастающей тени ударили из пушки. Но было уже поздно. Большой товарный паровоз, пущенный без людей, на полных парах налетел на передний стальной вагон бронепоезда. Паровоз был весь — спереди и с боков — обложен динамитом. Раздался взрыв. Тотчас от детонации рванулись снаряды в броневагоне. В вихре земли, песка, огня, дыма, пара броневагон стал торчком и опрокинулся, раздавливая и увлекая под откос всю великолепную стальную черепаху.

Вторая колонна мамонтовцев бежала на Воронеж. Туда же — без боя — начала отступать и третья колонна. Но ее заставили принять бой — на четвертые сутки этого неслыханного побоища — и наголову разбили ее, устилая на версты поля и холмы порубленными станичниками.

Растрепанные, потерявшие в иных полках до половины состава, все донские и кубанские дивизии ушли за реку. Туда же, — рано утром двадцать четвертого, — подступили главные силы буденновцев. Деревянный мост, охранявшийся поповской командой и тепловскими юнкерами, был брошен невзорванным. Со стороны города стреляло несколько батарей, взметая столбы грязи

и воды... Буденный подъехал к мосту и увидел, что он построен на живую нитку. Он вызвал музыкантов с серебряными трубами и приказал им перейти на ту сторону реки и там играть самое веселое-забористое — марши и польки. Ученики консерватории, — как были тогда взяты: в куцых шинелишках, с желто-красными нашивками на плечах, — побежали через мост, и — едва только успели перебраться — в него ударил снаряд, и он рухнул. Под грохот взрывов, полуживые от страха, музыканты задудели и заревели в серебряные трубы...

Каждому конному бойцу был дан в руки артиллерийский снаряд. «Вперед, вперед!» — закричали комиссары и командиры и впереди эскадрона кинулись в ледяную воду, кипящую и взбаламученную от рвущихся снарядов. На глубине люди соскальзывали с седел и плыли, держась одной рукой за гриву, другой придерживая снаряд. Поскакали в сердитую реку артиллерийские запряжки, волоча пушки по дну. Переправившиеся буденновцы, злые и мокрые, на мокрых конях, горячо атаковали Воронеж. Но и здесь дивизии Мамонтова и Шкуро не приняли боя и поспешно ушли за Дон, в сторону Касторной.

. . . .

Разгром лучшей конницы белых и занятие Воронежа входило одной из начальных операций в грандиозный военный план, созданный новым руководством Южного фронта.

Листки этого плана, на синеватой бумаге, подписанные Сталиным, были получены командармами, комкорами, начдивами, комбригами и командирами полков. В нем предусматривались в подробностях — понятные каждому красноармейцу и на деле осуществимые — операции всех частей Южного фронта, начиная от района Орла и Кром, откуда, под ударами особой группы, руководимой Серго Орджоникидзе, отступала растрепанная деникинская гвардия с генералом Кутеповым, поклявшимся первым ворваться в Москву, — от операций в районе Воронежа и Касторной, где корпусу Буденного была поставлена задача — рассечь белый фронт на стыке донской и Добровольческой армий, кончая занятием Ростова-на-Дону, путь на который лежал в образовавшийся прорыв через пролетарский шахтерский Донбасс.

Неожиданно для всех, — кто в проплеванных гостиницах сидел уже налегке, с уложенными чемоданами, уверенный, что к Новому году в Москву французы привезут шампанское, устрицы и даже пармские фиалки, и для тех, кто в Париже, бывало, часами дожидался в приемной у властителя Европы, а теперь с поднятым челом и почти, вот-вот уже, с конституционной Россией за плечами, не задерживаясь, входил в кабинет Жоржа Клемансо, где трещал камин и маленький, сгорбленный, с седыми бровями, нависшими над проектом мировой могильной тишины сидел диктатор, и француз вставал, а русский в восторге сжимал его узловатые пальцы; наконец, неожиданно для самого Антона Ивановича Деникина, который давно уже бросил играть по пятницам в винт и, будучи слабым, как все люди, начал верить в свое избрание свыше, — большевики, дышавшие на ладан, что-то такое сделали непонятное: в разгар сыпного тифа, острейшего голода и окончательной хозяйственной разрухи организовали мощное контрнаступление, — и пошла трещать вся мировая политика удушения и расчленения красной России, этой необъятной страны, представлявшейся — по правде говоря — загадкой для западноевропейских умов.

Загадкой казались источники воодушевления русского народа. Идеи всеобщего счастья и справедливого общественного порядка, — казалось бы, навсегда погребенные под грудами тел мировой войны, — перекинулись, как будто вихрем взнесенные семена райского дерева, в нищую, разоренную Россию, где неграмотные мужики все еще рассказывали друг другу сказки про Ивана-дурака, бабу-ягу и ковры-самолеты, и слепые старики и старухи пели тягуче-эпические поэмы о битвах, пирах и свадьбах богатырей.

Эти идеи приобрели у народов России упругость и силу стального клинка. Мужики, рассказывающие сказки, и рабочие с давно уже переставших дымить, полуразвалившихся фабрик, преодолевая голод, сыпной тиф и полнейшее хозяйственное разорение, бьют и гонят первоклассную армию Деникина, остановили у самых ворот Петрограда и погнали назад в Эстонию ударную армию Юденича, разгромили и рассеяли в сибирских снегах многочисленную армию Колчака и самого правителя

всея России схватили и расстреляли, бьют и теснят японцев иа Дальнем Востоке и, одушевленные идеями Лениниа, — одиими только идеями, потому что в России нечего кушать и не во что одеваться, — верят, что они сильиее всех на свете и что на развалинах иищего их государства они устроят в самом ближайшем времени справедливое коммунистическое общество.

20

Кате казалось, что желудок у нее теперь, иаверное, ие больше маленького кошелечка для мелочи. Туда помещалась как раз осьмушка хлеба, кусочек вареной воблы и несколько ложек супа. Беда была с юбками, они сваливались, перешивать было иечем и иекогда. Зато Катины глаза стали вдвое больше, чем прошлой осенью, когда Матрена нарочно откармливала ее жириыми лепешками.

Девочки в школе, умиленно морща голодные рты, иногда говорили ей:

«Тетя Катя, какая вы хорошенькая...»

Это Кате доставляло удовольствие, потому что вся жизнь была в будущем. Единственная память — изумрудное колечко, зелененький огонек, подарок Вадима, затерялось еще в селе Владимирском. Дорогие тени, иаселявшие этот ветхий дом в Староконюшеином, ей больше не вспомииались. А будущее, куда устремлены все иадежды, все помыслы людей, измученных голодом, стужей, разорением, войной, — представлялось Кате широкой дорогой, сверкающей, как стекло под солнцем, среди зеленых лугов и дымиых озер с томящимися кущами деревьев, — дорога уводила к очертаниям голубоватого города, сложиого, пышного, прекрасного, где все найдут счастье.

Однажды Катя рассказала об этом на уроке. Дети слушали, затихнув. Сентиментальным девочкам особеиио понравилось, что дорога в будущее вьется мимо зеленых лугов, где можно побегать за бабочками и собрать букетики крошечных цветов — в виде звездочек. Мальчики нашли рассказ неудовлетворительным: Катя иичего не сказала о поездах, мчащихся повсюду по этим лугам, мимо семафоров, через решетчатые мосты и туниели, не упомянула о громадных трубах, из которых ве-

село валит дым. Все согласились на том, что город будущего, — конечно, голубой, с такими домами, за которые задевают облака, со страшно быстрыми трамваями, с качелями на всех бульварах и лотками, где раздают булки и колбасу. Катя спросила: «А мороженое?» Но, оказывается, никто из детей никогда мороженого не пробовал, — может быть, и пробовали, когда были маленькими, но забыли.

Кате приходилось очень беречь силы. Недавно она несла на двор полное ведро и почувствовала, что не может его удержать, поставила на пол, — пришлось прислониться к стене, преодолевая темноту в глазах. К счастью, чтения лекций об искусстве так и не состоялись: Москва совсем опустела, — можно было пройти от Арбата до Страстной, не встретив прохожего. Но зато каждый день теперь в «Известиях» печатались победные военные сводки. Красные армии через разрыв фронта под Касторной широким потоком вливались на Донбасс, и в тылу у белых полыхали крестьянские восстания. Теперь-то уже виделся конец войне и бедствиям.

Часов около восьми вечера Катя сидела дома, не зажигая коптилки. Топившаяся пчелка давала достаточно света через полураскрытую дверцу. Сидя на низенькой скамеечке, Катя осторожно подкладывала лучинки, они ярко загорались и весело потрескивали, потому что были из той самой солнечной энергии, про которую Катя рассказывала в школе.

Катя читала «Преступление и наказание». Боже мой, до чего безысходна была та жизнь! Положив руку на книгу, Катя смотрела на огонь. До чего страшна ночь, проведенная Свидригайловым в деревянном трактире, на Большом проспекте. Это был тот самый ресторан, где Катя всего один, всего один только раз за свою жизнь, была вдвоем с Бессоновым, и, может быть, в той самой комнате, где Свидригайлов оттягивал время, час за часом, уже зная, что не преодолеет ужаса и отвращения к жизни.

Это проклятие разбито, сожжено, развеяно. И можно — вот так сидеть, спокойно читать о прошлом, подкладывать лучинки и верить в счастье.

По коридору вразнобой затопали шаги, — должно быть, опять к Маслову пришли совещаться: за последнее время к нему постоянно в сумерки приходили какие-то люди, и злые голоса их слышались даже в Кати-

ной комнате. Когда бы ни кончалось совещание, Маслов, проводив до кухни людей, осторожно стучался к Кате:

«Неужели спать легли? Стыдно, стыдно рано заваливаться... А еще современная женщина... Ай, ай, ай...»

Он настойчиво вертел дверную ручку, и Катю трясло от негодования: Маслов был упрям и чудовищно самонадеян, он мог до утра стоять за дверью.

«Екатерина Дмитриевна, да хочу всего-навсего тихо посидеть около вашей печурочки... Расходились нервы... Пустите по-товарищески...»

Было глупо отмалчиваться, и Катя в конце концов отворяла дверь. Он садился перед пчелкой, подкладывал чурбашки, — а каждый такой чурбашек был дороже золота, — и, загадочно усмехаясь и протягивая узенькие ладошки над раскаленным железом, пускался в рассуждения о грозном, как космос, влечении полов... В послушании этому влечению — красота! Все остальное — гнусное пуританство. К тому же Катя — красива, одинока и «свободна от постоя», как он выражался. Он был непоколебимо уверен, что она не сегодня-завтра пустит его под свое одеяло...

Сегодня, начитавшись Достоевского, Катя с тоской прислушивалась к голосам в комнате Маслова. Там раздавались яростные восклицания и падали — время от времени — какие-то предметы, будто на пол швыряли книги. Уж сегодня-то он непременно явится за успокоением...

В дверь поскреблись, в дверную скважину прошептал голосок: «Тетя Катя, вы дома?» Это была Клавдия, в огромных, обвязанных бечевками, валенках.

— Чесночиха за вами прислала, у нее сидит Рощин с фронта.

— А что, — холодно на улице?

— Ужас, тетя Катя, ветрило так и порошит в глаза, хоть бы — снег, да вот нет и нет снегу... Что за зима скаженная. А у вас тепло, тетя Катя...

Кате очень не хотелось выходить на холод и тащиться к Чесночихе на Пресню, но еще более утомительным представился неизбежный ночной разговор. Она надела пальто и поверх на голову накинула теплую шаль. Осторожно, чтобы не услышал Маслов, они с Клавдией вышли на улицу. Ночной ветер рванулся на них из темного переулка с такой силой, что Катя прикрыла девочку концами платка. Пыль колола лицо, громыхали железные

крыши. Ветер выл и свистал так, будто Катя и Клавдия последние люди на земле, — все умерло, и солнце больше никогда не взойдет над миром...

Около тускло освещенного окошка деревянного домика Катя повернулась к ветру спиной, чтобы передохнуть. В щель между неплотно задвинутыми занавесками она увидела комнату, заставленную вещами, черную трубу, протянутую коленом в камин, посреди комнаты — огонек пчелки и в креслах — несколько человек. Все они, подперев головы, слушали юношу, стоявшего перед ними, — гордо приподняв вздернутый нос, он читал что-то по тетради. На нем было ветхое пальто, раскрытое на голой груди, и обмотанные бечевками валенки, такие же, как у Клавдии. По движению его руки и по тому, как он героически встряхивал нечесаными густыми волосами, Катя поняла, что юноша читает стихи. Ей стало тепло на сердце, улыбаясь, она повернулась к ветру и, не выпуская Клавдию из-под платка, побежала к Арбату.

У Чесночихи было много народу, — все жены рабочих, ушедших на фронт, и несколько стариков, сидевших в почете около стола, где приезжий рассказывал о военных делах. Сейчас его спрашивали, перебивая друг друга, о том — скоро ли полегчает с хлебом, можно ли рассчитывать к рождеству на подвоз в Москву топлива, о том — выдают ли в частях валенки и полушубки. Называли фамилии мужей и братьев, — живы ли, здоровы ли они? — как будто этот военный мог знать по именам все тысячи рабочих, дравшихся на всех фронтах.

Катя не могла протискаться в комнату и осталась в дверях. Поднимаясь на цыпочки, она мельком увидела, что приезжий что-то записывает на бумажке, опустив голову, забинтованную марлей.

— Все вопросы, товарищи? — спросил он, и Катя задрожала так, будто этот негромкий, строгий голос вошел в нее, разрывая сердце. Она сейчас же повернулась, чтобы уйти. Ничто, оказывается, не забылось... Звук голоса, похожий на тот, родной, навсегда замолкший, встревожил в ней прежнюю тоску, прежнюю боль, ненужную, напрасную... Так одинокому человеку придет во сне давно изжитое воспоминание, — увидит он никогда им не виданный домик в лесу, освещенный пепельным светом, и около домика — свою покойную мать, — она сидит и улыбается, как в далеком детстве: он хотел бы к ней по-

тянуться, вызвать ее из сна в жизнь, и не может ее коснуться, она молчит и улыбается, и он понимает, что это только сон, и глубокие слезы поднимают грудь спящего.

Должно быть, у Кати было такое лицо, что одна из женщин в дверях сказала:

— Гражданки, пропустите учительницу-то вперед, затолкали ее совсем...

Катю пропустили вперед, в комнату. Она вошла, и тот человек у стола поднял голову, обвязанную марлей, — она увидела его суровое лицо. Прежде чем радость осветила, расширила его темные глаза, Катя покачнулась, у нее закружилась голова, в ее сознании все сдвинулось, поднявшийся гул голосов ушел вдаль, свет начал темнеть, так же как тогда в сенях, когда едва не уронила ведро... Катя, виновато улыбаясь, часто задышала, бледнея — стала опускаться...

— Катя! — крикнул этот человек, расталкивая людей. — Катя!

Несколько рук подхватило ее, — не дали ей упасть на пол. Вадим Петрович взял в ладони ее поникшее, милое, очаровательное лицо, с похолодевшим полуоткрытым ртом, с глазами, закаченными под веки.

— Это моя жена, товарищи, это моя жена, — повторял он трясущимися губами...

Они шли, ветер дул им в спину. Вадим Петрович прижимал к себе Катю за слабые плечи. Она всю дорогу плакала, останавливалась и целовала Вадима. Он начал было ей рассказывать, — почему его все считают мертвым, тогда как он целый год по всей России ищет Катю. Но это вышло путано, длинно, да и совсем сейчас было не нужно. Катя иногда говорила: «Постой, мы совсем не туда зашли...» Они поворачивали и блуждали по темным и пустынным переулкам, где скрипели ржавые флюгера на трубах, скрежетали полуоторванные листы железа или с надрывающим воем размахивала из-за разрушенного забора черными ветвями липа, помнившая, как здесь, быть может, в такую же ночь, боясь чертей, во взвивающейся шинели пробегал Николай Васильевич Гоголь.

На Староконюшенном Катя сказала:

— Вот наш дом, ты вспоминаешь? Но только ты приходил с парадного. Я живу в той же комнате, Вадим.

Они пробежали через дворик. Дверь на кухне была заперта.

— Ах, неприятно... Придется стучать... Стучи как можно громче...

Катя засмеялась, потом немножко заплакала, поцеловала Вадима и опять засмеялась. Вадим Петрович громыхнул в дверь обоими кулаками.

— Кто там? Кто там? — встревоженно спросил Маслов за дверью.

— Отворите, это я, Катя.

Маслов отворил, в его руке дрожала жестяная коптилка со стеклянным пузырем. Увидев позади Кати военного, — он отшатнулся, щеки его собрались продольными морщинами, глаза ненавистно сузились...

— Спасибо, — сказала Катя и побежала к себе, не выпуская руки Вадима. Они вошли в комнату, где еще не остыло тепло. Катя шепотом спросила:

— Спички у тебя есть?

Он был так взволнован, что ответил тоже шепотом:

— Есть...

Она зажгла свет, маленький огонек в баночке, которого было вполне достаточно, чтобы всю ночь глядеть друг на друга. Разматывая шаль, она не сводила глаз с Вадима: он был совсем седой, даже в бровях — несколько седых волосков; его лицо возмужало, в нем было незнакомое ей выражение суровости и спокойствия. Это очаровывало ее, — он был моложе, и мужественнее, и красивее, чем тот, кого она помнила в Ростове. Она увидела его повязку, приоткрыла рот и вздохнула:

— Ты ранен?

— Царапина... Но из-за нее получил двухнедельный отпуск в Москву... Я знал, что ты здесь... Но как бы я тебя нашел? (Она радостно и лукаво улыбнулась, приподняв уголки рта.) Ты знаешь — я едва ведь не застал тебя в том селе... Я гнался за Красильниковым... (У Кати дрогнул подбородок, она сердито затрясла головой.) Катя, я его убил... (Она опустила веки и наклонила голову.) Катя, я начал тебе рассказывать — как это вышло, что ты получила известие о моей смерти... В сущности, моя смерть была... (Катя с тревогой начала глядеть на него, и опять ее большие глаза налились слезами.) Я ехал ночью в вагоне, — мне больше незачем было жить, я ошибся в главном, мне было ясно, что подлежу

уничтожению или самоуничтожению... Катя, прости, это — тяжело, трудно, но я хочу рассказать... Только мысль о тебе, не любовь, нет, — любить уже нечем было,— но напряженная мысль о тебе, как о том, чего нельзя разорвать, отбросить, забыть, нельзя предать, — только это связывало меня. Эта ночь в вагоне была крушением всего себя... Сейчас, когда на конце мушки я узнаю знакомые лица, я понимаю — в какую черную, опустошенную душу я посылаю пулю...

Катя положила руки ему на плечи и щекой прижалась к его сильно и часто бьющемуся сердцу. Они продолжали стоять посреди комнаты, — он в расстегнутой шинели, она в шубке. Она понимала, что он говорит сейчас о самом главном... Дорогой, прекрасный человек... Он хочет поскорее оправдаться, чтобы она любила в нем его новое, честное, суровое, страстное... Когда он в Ростове сходил с ума и бросил ее, она знала, что он будет жестоко страдать и все поймет... Прижавшись к нему, она слушала его слова, неясные и отрывистые, будто он наспех чертил иероглифы своих огромных переживаний... Но и без слов Катя все понимала...

— Катя, задача непомерная... Нам не снилось, что мы будем ее осуществлять... Ты помнишь — мы много говорили, — какой утомительной бессмыслицей казался нам круговорот истории, гибель великих цивилизаций, идеи, превращенные в жалкую пародию... Под фрачной сорочкой — та же волосатая грудь питекантропа... Ложь! Пелена содрана с глаз... Вся наша прошлая жизнь — преступление и ложь! Россией рожден человек... Человек потребовал права людям стать людьми. Это — не мечта, это — идея, она на конце наших штыков, она осуществима... Ослепительный свет озарил полуразрушенные своды всех минувших тысячелетий... Все стройно, все закономерно... Цель найдена... Ее знает каждый красноармеец... Катя, теперь ты немножко понимаешь меня?.. Я бы хотел передать тебе всего себя... Моя радость, мое сердце, возлюбленная моя, звезда моя...

Он внезапно так стиснул ее в объятиях, что у Кати хрустнули все косточки, и она лишь крепче прижалась к его сердцу. В дверь постучали, и — голос Маслова:

— Екатерина Дмитриевна, можно вас на минуточку... — И, так как никто ему не ответил, он принялся, как всегда, вертеть ручку двери. — Дело в том, что вам из-

вестно чрезвычайное положение в городе. У вас мужчина после десяти часов... Так как я ответственен...

— Подожди, — я с ним сейчас поговорю, — сказал Рощин, снимая с плеч Катины руки.

— Вадим, не сходи с ума, я сама поговорю... Умоляю тебя, пожалуйста...

Она сейчас же вышла за дверь, притворив ее за собой. Маслов стоял, усмехаясь, все так же с коптилкой в руке.

— Ко мне нельзя, товарищ Маслов, — сказала она твердо, как никогда с ним не говорила. Он начал, поманивая ее, пятиться от двери, глядя на Катю истерически пристально. Она, идя за ним, спросила:

— Ну? Что вам нужно? — не понимаю...

— Хочу предупредить, Екатерина Дмитриевна: чтобы вы не придавали особого значения моей катастрофе... Ее нет... Вам уже сообщили, конечно... По всему району — ликование и торжество... Рано, рано торжествовать и ликовать...

— Ничего не понимаю, — сердито ответила Катя. — Одним словом, прошу не стучать ко мне...

— Не врите! Все понимаете... Ах, как я вас проверил! Так вот, первое: продолжайте разговаривать со мной так, будто партийный билет у меня не отобран... Так будет дальновиднее... (У Маслова клокотало в горле, хотя говорил он тихо и даже вяло.) Ничего не изменилось, Екатерина Дмитриевна!.. Второе: ваш ночной гость сейчас уйдет... Вы хотите спросить — почему я настаиваю на этом? Вот мой ответ... (Он запустил руку в боковой карман засаленного, с оборванными пуговицами пиджака, вытащил плоский парабеллум и, держа его на ладони, показал Кате.) Затем, будем продолжать наши прежние отношения...

Катя была так потрясена, что только медленно моргала. Толкнув дверь, вышел Рощин:

— Что вам нужно от моей жены?

Лицо Маслова сморщилось до самых ушей, он присел, чтобы поставить коптилку на пол, револьвер вертелся у него в руке.

— Э, бросьте, — сказал Рощин, подходя к нему, дернув, вытащил у него из руки револьвер и положил в карман шинели. — Завтра я сдам его в районную Чека, там его можете получить. Если еще раз подойдете к нашей двери, я вам сломаю хребет...

Они вернулись в комнату. Катя молча хрустела пальцами. Рощин снял с нее шубку.

— Катя, все понятно, и он больше сюда не сунется. Должно быть, про этого Маслова я слыхал на фронте. Это из тех, кто разваливал армию...

Он снял шинель и опустился около Кати, растерянно сидевшей в кресле, — положил голову ей на колени. Ее руки стали скользить по его волосам, щеке, шее. Оба они сейчас же забыли глупую историю с Масловым. Они молчали. Новое волнение, — могущественное, всегда неизведанное, с девственной силой поднималось в них, — в нем радость желания ее, в ней — радость ощущения его радости...

— В миллион раз сильнее, Катя, — сказал он.

— Я тоже... Хотя я — всегда, всегда, Вадим...

— Тебе холодно?..

— Нет, нет... Просто слишком тебя люблю...

Он сел рядом с ней в старое широкое кресло и целовал ее глаза, ее рот, уголки ее губ. Он поцеловал ее в грудь, и Катя вспомнила, что на левой груди у нее — родимое пятнышко, которым он почему-то восхищался. Она расстегнула шерстяную кофточку, чтобы он поцеловал пятнышко.

Печурка действительно остывала, и в комнате становилось холодно. Вадим, все время поглядывая на Катю и открывая улыбкой ровные зубы, присел над пчелкой, раздувая угли и подкладывая чурбашки, напиленные из ножек и спинок кресел красного дерева. Снова стало тепло. Раздеваясь, Катя покраснела, и он засмеялся и, взяв в ладони ее лицо, целовал его.

Всю ночь ветер выл в трубе и громыхал железом. Катя несколько раз вставала, как Психея, поправляла огонек в коптилке и не отрываясь глядела на лицо спящего Вадима. Она была переполнена счастьем и знала, что и он полон счастьем, и поэтому лицо его так спокойно и серьезно.

— Катя! Катя! — закричала Даша, врываясь в кухню. — Катя, моя Катя! — кричала она, топая обмерзшими валенками по коридору. Она налетела на Катю, схватила ее, целовала, отстраняя, — глядела неистово и опять прижимала и гладила. От Даши пахло снегом,

овчиной, черным хлебом. Она была в нагольном полушубке, в деревенском платке, за спиной ее висел узел.

— Катя, голубка, милая, сестра моя... До чего я тосковала, мечтала о тебе... Нет, ты только представь, — мы идем пешком с Ярославского вокзала. Москва — как деревня: тишина, галки, снег, по улицам протоптаны тропинки... Далища, ноги подкашиваются... А у Кузьмы Кузьмича два пуда муки... Добрались до Староконюшенного... Не могу найти дома! Три раза из конца в конец проходили весь переулок... Кузьма Кузьмич говорит, не тот переулок... Я просто в ярости, — забыла дом!.. И вдруг... Нет, ты представь! Из-за угла появляется человек, военный... Я — к нему: «Послушайте, товарищ...» А он на меня во все глаза уставился... А я только разинула рот и села в снег... Вадим! Думаю, — с ума спятила, покойники в Москве по переулкам стали ходить... Он как захохочет, да — целовать... А я встать не могу... Катя, красивая, умная моя... Ведь нам рассказывать друг другу нужно десять ночей... Господи, узнаю комнату... И кровать, и Сирин с Алконостом... Вадим рассказал мне про Ивана. Я решила: на днях отправляется в их часть санитарный поезд, — еду санитаркой, и Анисья, и Кузьма Кузьмич со мной... Одного его мы здесь не оставим, избалуется... Катя, во-первых, хотим есть... Ставь чайник... Потом — мыться... Мы от Ярославля ехали в теплушке неделю... Все это с нас надо снять, осмотреть. Мы пока в комнату к тебе заходить не будем, мы на кухне... Идем, я тебя познакомлю с моими друзьями... Это такие люди, Катя! Я им обязана жизнью и всем... Мы сами и плиту затопим, и воды накипятим, там куча всякой мебели... Катя, да неужели у тебя нет седых волос? Боже мой, ты моложе меня на десять лет... Я верю — скоро, скоро настанет день, когда мы все будем вместе...

В Москве по карточкам выдавали овес. Никогда еще столица республики не переживала такого трудного времени, как в зиму двадцатого года. Наступление красных армий поглощало все жизненные силы. Захваченные у белых запасы хлеба и угля быстро растаяли. Богатые губернии, по которым прошлись казаки и добровольцы, были разорены. Продовольственные рабочие отряды находили там лишь жалкие излишки хлеба.

В годовщину «ледового похода» Добрармия бежала на Новороссийск, устилая непролазные кубанские грязи брошенными обозами, экипажами с имуществом, завязшими пушками и конской падалью. Все было кончено. Антон Иванович Деникин, поседевший, ссутулившийся, отплыл на французском миноносце в эмиграцию — писать свои мемуары. Жалкие остатки добровольческих полков на транспортах переправлялись в Крым. Донское и кубанское казачество поняло наконец, что его жестоко одурачили, и они своими безвестными могилами,— от Воронежа до Новороссийска, — заплатили за свое упрямство.

В Москве все еще стояла зима. Мартовские бури завалили снегами город. В печлках уже были сожжены все заборы и лишняя мебель. Фабрики и заводы стояли. В учреждениях служащие, сидя в шубах, дули на распухшие пальцы, чтобы как-нибудь удержать в руке карандаш, — чернила в чернильницах наотказ замерзли до теплых дней. Люди ходили медленно, не расставаясь с заплечными мешками, и мало кто мог пройти от своего дома до места службы, не отдохнув в сугробе или — за ветром — прислонясь в воротах. Голод был ужасен,— люди видели во сне отварного поросенка на блюде, с петрушкой в смеющейся морде, во сне пустыми зубами жевали жирную ветчину и крутые яйца. Но мысли у всех были возбуждены: упорная, кровавая, удушающая злоба контрреволюции была сломлена, жизнь шла на подъем, еще немного месяцев лишений и страданий, и будет новый хлеб, и демобилизованные красные армии займутся мирным трудом, — восстановлением всего разрушенного и строительством того нового, в чем забудутся все страдания, вся горечь вековых обид...

Дашино желание сбылось, — они все были снова вместе. Иван Ильич и Рощин, получив короткий отпуск, приехали в Дашином санитарном поезде в Москву — хмурым мартовским утром, когда над городом клубились сырые тучи, снег съезжал с крыш, падали огромные сосульки и тяжелый воздух был пахуч и тревожен.

Катя встречала их. Вадим Петрович первый увидел ее с площадки вагона и спрыгнул на ходу. Катя, светясь радостью, — глазами, улыбкой, — бежала к нему сквозь паровозный дым, путающийся между железными колон-

нами. Она показалась ему еще милее, чем в ту встречу в декабре. Вся их любовная жизнь была в таких коротких встречах. Они сейчас же отошли в сторону, под часы. Но ревнивая Даша подтащила к ним своего Телегина. Ей было необходимо, чтобы сестра громко восхищалась Иваном Ильичом.

— Катя, гляди же на него... Ты замечаешь, как он переменился? В Петербурге у него в лице было что-то недоделанное... У него и глаза другие... Прости, Иван, но когда мы ехали в Самару на пароходе — у тебя были светло-голубые глаза, даже глуповатые, и меня это даже смущало... Теперь — как сталь...

Иван Ильич стоял перед Катей и сдержанно вздыхал от полноты чувств. Кате он тоже показался очень привлекательным, — родственный, спокойный, тяжеловесный...

— И вот тебе весь его портрет, Катя... Во время походов, — нет, ты вдумайся! — даже когда он верхом преследовал Мамонтова, он возил с собой в заседельном мешке, — угадай, что? — вот такие маленькие фарфоровые кошечку и собачку, которые он мне подарил в день нашей второй свадьбы в Царицыне... Потому что, видишь ли, они мне очень нравились...

Подбежал к Кате Кузьма Кузьмич, на минутку выскочивший из вагона. Обеими руками он долго тряс Катину руку, наголо обритое, красное лицо его лоснилось от удовольствия и преданности; в белом халате он казался до того раздобревшим, что проходившие по перрону худые люди враждебно оглядывали его...

— Полюбил вас за короткие дни тогда, Екатерина Дмитриевна, не меньше, чем Дарью Дмитриевну... Всегда говорю, нет прекраснее женщин, чем русские женщины... Честны в чувствах, и самоотверженны, и любят любовь, и мужественны, когда нужно... Всегда к вашим услугам, Екатерина Дмитриевна... Вот — только управлюсь, — в обед забегу, занесу кое-какие приношения из Ростова... У нас там весна... А все-таки на севере — слаще сердцу... Ну, извините...

Подошла Анисья, тоже в халате. Большеглазое лицо ее было разочарованное: ей хотелось с этим рейсом остаться в Москве, но старший врач, — прямо уже не по-советски, — даже не захотел ее слушать: «Какие там еще театральные училища! Скоро опять большие бои, подсыпят раненых... Не пущу!»

— Что ж, подожду до осени, — сказала она Даше и концом косынки вытерла носик. — Года идут, года теряю, вот что обидно... Латугин здесь, пришел меня встречать, — тоже чертушка... Приехал делегатом на съезд. Гордый стал, серьезный... Третий день, говорит, бегаю на вокзал — встречаю ваш санитарный... Пошел уламывать старшего врача, чтобы отпустил меня на сутки... Дарья Дмитриевна, он про Агриппину рассказал: она в Саратове, родила, мальчика ли, девочку, — не знает. Долго хворала... Вернулась с ребенком в полк... Жалко ее, тяжелый характер у нее, — однолюбка...

С вокзала пошли пешком через всю Москву на Староконюшенный, — там для Даши и Телегина была приготовлена комната, где раньше жил Маслов. Вот уже два месяца его больше не было, — сначала он увез книги, потом исчез сам... Шли медленно из-за Кати. Вадиму Петровичу хотелось бы взять ее на руки и нести под этими весенними лохматыми тучами, клубившимися над Москвой. Телегин и Даша немного отставали, чтобы не мешать им. Даша говорила:

— Я боюсь за Катю. Москва и эта школа ее доконают. Она ничего не ест... За три месяца стала совсем прозрачная... Ее нужно к нам в поезд... Я бы ее подкормила... А то — живет одним духом, на что это похоже...

Телегин, — тихо и значительно:

— Да и Вадим без нее тает, вот что...

Их скоро догнали Латугин и Анисья. Она была уже без халата, и щеки ее розовели. Латугин, нахмуренный, серьезный, сдержанно поздоровался и вынул из-за обшлага шинели четыре билета для гостей в Большой театр, на самый верхний ярус.

— Да, на фронте легче, чем у вас в Москве, — сказал он, раздавая билетики, — крупный бой пришлось выдержать из-за этой петрушки... Хорошо — комендант попался наш морячок, с крейсера «Аврора»... Так что, не опаздывайте, заседание важное сегодня. Ну, Анисья, пойдемте...

В пятиярусном зале Большого театра, в тумане, надышанном людьми, едва светились сотни лампочек красноватым накалом. Было холодно, как в погребе. На огромной сцене, с полотняными арками в кулисах, сбоку, близ тусклой рампы, сидел за столом президиум. Все они, по-

вернув головы, глядели в глубь сцены, где с колосников свешивалась карта Европейской России, покрытая разноцветными кружками и окружностями,— они почти сплошь заполняли все пространство. Перед картой стоял маленький человек, в меховом пальто, без шапки; откинутые с большого лба волосы его бросали тень на карту. В руке он держал длинный кий и, двигая густыми бровями, указывал время от времени концом кия на тот или иной цветной кружок, загоравшийся тотчас столь ярким светом, что тусклое золото ярусов в зале начинало мерцать и становились видны напряженные, худые лица, с глазами, расширенными вниманием.

Он говорил высоким голосом в напряженной тишине:

— У нас в одной Европейской России — десятки триллионов пудов воздушно-сухого торфа. Запасами его мы обеспечены на столетия. Торф есть топливо на местах. С одной десятины торфяного болота получается в двадцать пять раз больше энергии, чем с десятины леса. Торф — в первую голову, за ним — белый уголь и черный уголь решают стоящую перед нами проблему революционного строительства. Ибо революция, которая победила только на поле брани и не перешла к реальному осуществлению своих идей, утихает, как налетевшая буря. Сидящий здесь, среди нас, Владимир Ильич Ленин, вдохновитель моего сегодняшнего доклада, указал генеральную линию созидающей революции: коммунизм это— Советская власть плюс электрификация...

— Где Ленин? — спросила Катя, вглядываясь с высоты пятого яруса. Рощин, державший, не отпуская, ее худенькую руку, ответил также шепотом:

— Тот, в черном пальто, видишь — он быстро пишет, поднял голову, бросает через стол записку... Это он... А с краю — худощавый, с черными усами — Сталин, тот, кто разгромил Деникина...

Докладчик говорил:

— Там, где в вековой тишине России таятся миллиарды пудов торфа, там, где низвергается водопад или несет свои воды могучая река, — мы сооружаем электростанции — подлинные маяки обобществленного труда. Россия освободилась навсегда от ига эксплуататоров, наша задача — озарить ее немеркнущим заревом электрического костра. Былое проклятие труда должно стать счастьем труда.

Поднимая кий, он указывал на будущие энергетические центры и описывал по карте окружности, в которых располагалась будущая новая цивилизация, и кружки, как звезды, ярко вспыхивали в сумраке огромной сцены. Чтобы так освещать на коротенькие мгновения карту, — понадобилось сосредоточить всю энергию московской электростанции, — даже в Кремле, в кабинетах народных комиссаров, были вывинчены все лампочки, кроме одной — в шестнадцать свечей.

Люди в зрительном зале, у кого в карманах военных шинелей и простреленных бекеш было по горсти овса, выданного сегодня вместо хлеба, не дыша, слушали о головокружительных, но вещественно осуществимых перспективах революции, вступающей на путь творчества...

Телегин тихонько говорил Даше:

— Дельный доклад. Я этого инженера Кржижановского хорошо знаю. Вот кончим войну, — вернусь на завод, у меня тоже кое-какие соображения... Ужасно хочется, Дашенька, работать... Если они такую электрическую базу подведут, — ужас что можно развернуть... Черт знает — какие у нас богатства! Поднять на настоящую работу такую махину, — что тебе Америка! — Мы богаче... Поедем с тобой на Урал...

Даша — ему:

— Будем жить в бревенчатом доме, чистом, чистом, с капельками смолы, с большими окнами... В зимнее утро будет пылать камин...

Рощин — Кате на ухо шепотом:

— Ты понимаешь — какой смысл приобретают все наши усилия, пролитая кровь, все безвестные и молчаливые муки... Мир будет нами перестраиваться для добра... Все в этом зале готовы отдать за это жизнь... Это не вымысел, — они тебе покажут шрамы и синеватые пятна от пуль... И это — на моей родине, и это — Россия...

— Жребий брошен! — говорил человек у карты, опираясь на кий, как на копье. — Мы за баррикадами боремся за наше и за мировое право — раз и навсегда покончить с эксплуатацией человека человеком.

22 июня 1941 г.

Алексей Николаевич Толстой

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

том второй

Редактор А. Бабореко
Художественный редактор
А. Виноградов
Технический редактор Л. Фейлер
Корректоры Т. Кибардина
и Н. Шкарбанова

Сдано в набор 8/XII 1968 г. Подписано в печать 24/III 1969 г. Бумага типогр. № 1_ 84×108$^1/_{32}$. 12 печ. л. 20,16 усл. печ. л. 20,48 уч.-изд. л. Тираж 200 000 экз. Цена 81 коп. Заказ № 236.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного
Знамени Ленинградская
типография № 1 «Печатный Двор»
имени А. М. Горького
Главполиграфпрома Комитета по
печати при Совете Министров СССР,
г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.

